



ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

Большие буквы

Александр Дюма
Граф Монте-Кристо

«ЭКСМО»

1844-1845

УДК 821.133.1-311.3
ББК 84(4Фра)-44

Дюма А.

Граф Монте-Кристо / А. Дюма — «Эксмо»,
1844-1845 — (Большие буквы)

ISBN 978-5-04-117008-0

«Граф Монте-Кристо», один из самых популярных романов Александра Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей. Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской полиции. Подлинная жизнь сапожника Франсуа Пико, ставшего прототипом Эдмона Дантеса, под пером настоящего художника превратилась в захватывающую книгу о мученике замка Иф и о парижском ангеле мщения.

УДК 821.133.1-311.3

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-117008-0

© Дюма А., 1844-1845

© Эксмо, 1844-1845

Содержание

Том 1	6
Часть I	6
I. Марсель. Прибытие	6
II. Отец и сын	11
III. Каталанцы	15
IV. Заговор	21
V. Обручение	25
VI. Помощник королевского прокурора	32
VII. Допрос	37
VIII. Замок Иф	44
IX. Вечер дня обручения	50
X. Малый покой в Тюильри	54
XI. Корсиканский людоед	59
XII. Отец и сын	63
XIII. Сто дней	67
XIV. Арестант помешанный и арестант неистовый	73
XV. Номер 34 и номер 27	79
XVI. Итальянский ученый	89
XVII. Камера аббата	94
XVIII. Сокровища аббата Фариа	106
XIX. Третий припадок	113
XX. Кладбище замка Иф	119
XXI. Остров Тибулен	122
Часть II	129
I. Контрабандисты	129
II. Остров Монте-Кристо	133
III. Волшебный блеск	137
IV. Незнакомец	143
V. Трактир «Гарский мост»	146
VI. Рассказ Кадрусса	154
VII. Тюремные списки	162
VIII. Торговый дом «Моррель»	166
IX. Пятое сентября	174
X. Италия. Синдбад-Мореход	183
Конец ознакомительного фрагмента.	190

Александр Дюма Граф Монте-Кристо

Alexandre Dumas

LE COMTE DE MONTE CRISTO

Перевод с французского Л. Олавской и В. Строева

Сопроводительная статья подготовлена SMART-библиотекой имени Анны Ахматовой

© SMART-библиотека имени Анны Ахматовой, сопроводительная статья, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Том 1

Часть I

I. Марсель. Прибытие

Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя. Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавани, миновал замок Иф и пристал к кораблю между мысом Моржион и островом Рион.

Тотчас же, по обыкновению, площадка форта Св. Иоанна наполнилась любопытными, ибо в Марселе прибытие корабля всегда большое событие, особенно если этот корабль, как «Фараон», выстроен, оснащен, гружен на верфях древней Фокеи и принадлежит местному арматору.

Между тем корабль приближался; он благополучно прошел пролив, который вулканическое сотрясение некогда образовало между островами Каласарень и Жарос, обогнул Помег и приближался под тремя марселями, кливером и контрбизанью, но так медленно и скорбно, что любопытные, невольно почуяв несчастье, спрашивали себя, что бы такое могло с ним случиться. Однако знатоки дела видели ясно, что если что и случилось, то не с самим кораблем, ибо он шел, как полагается хорошо управляемому судну: якорь был готов к отдаче, ватербакштаги отданы, а рядом с лоцманом, который готовился ввести «Фараон» узким входом в марсельскую гавань, стоял молодой человек, проворный и зоркий, наблюдавший за каждым движением корабля и повторявший каждую команду лоцмана.

Безотчетная тревога, витавшая над толпой, с особой силой охватила одного из зрителей, так что он не стал дожидаться, пока корабль войдет в порт; он бросился в лодку и приказал грести навстречу «Фараону», с которым и поравнялся напротив бухты Резерв.

Завидев этого человека, молодой моряк отошел от лоцмана и, сняв шляпу, стал у борта.

Это был юноша лет восемнадцати-двадцати, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными, как смоль, волосами; весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, какие свойственны людям, с детства привыкшим бороться с опасностью.

– А! Это вы, Дантес! – крикнул человек в лодке. – Что случилось? Почему все так уныло у вас на корабле?

– Большое несчастье, господин Моррель, – отвечал юноша, – большое несчастье, особенно для меня: у Чивита-Веккии мы лишились нашего славного капитана Леклера.

– А груз? – живо спросил арматор.

– Прибыл в целости, господин Моррель, и, я думаю, в этом отношении вы будете довольны... Но бедный капитан Леклер...

– Что же с ним случилось? – спросил арматор с видом явного облегчения. – Что случилось с нашим славным капитаном?

– Он скончался.

– Упал за борт?

– Нет, умер от нервной горячки, в страшных мучениях, – сказал Дантес.

Затем, обернувшись к экипажу, он крикнул:

– Эй! По местам стоять! На якорь становиться!

Экипаж повиновался. Тотчас же восемь или десять матросов, из которых он состоял, бросились кто к шкотам, кто к брасам, кто к фалам, кто к кливер-ниралам, кто к гитовам.

Молодой моряк окинул их беглым взглядом и, видя, что команда выполняется, опять повернулся к своему собеседнику.

– А как же случилось это несчастье? – спросил арматор, возобновляя прерванный разговор.

– Да самым неожиданным образом. После продолжительного разговора с комендантом порта капитан Леклер в сильном возбуждении покинул Неаполь; через сутки у него началась горячка; через три дня он был мертв... Мы похоронили его как полагается, и теперь он покоится, завернутый в холст, с ядром в ногах и ядром в головах, у острова Дель-Джилло. Мы привезли вдове его крест и шпагу. Стоило, – прибавил юноша с печальной улыбкой, – стоило десять лет воевать с англичанами, чтобы умереть, как все, в постели!

– Что поделаешь, Эдмон! – сказал арматор, который, по-видимому, все более и более успокаивался. – Все мы смертны, и надо, чтобы старые уступали место молодым, – иначе все бы остановилось. И так как вы говорите, что груз...

– В полной сохранности, господин Моррель, я вам ручаюсь. И я думаю, что вы продешевите, если удовольствуетесь барышом в двадцать пять тысяч франков.

И видя, что «Фараон» уже миновал круглую башню, он крикнул:

– На марса-гитовы! Кливер-нирал! На бизань-шкот! Якорь к отдаче изготовить!

Приказание было исполнено почти с такой же быстротой, как на военном судне.

– Шкоты отдать! Паруса на гитовы!

При последней команде все паруса упали, и корабль продолжал скользить еле заметно, двигаясь только по инерции.

– А теперь не угодно ли вам подняться, господин Моррель, – сказал Дантес, видя нетерпение арматора. – Вот и господин Данглар, ваш бухгалтер, выходит из каюты. Он сообщит вам все сведения, какие вы только пожелаете. А мне надобно стать на якорь и позаботиться о знаках траура.

Вторичного приглашения не понадобилось. Арматор схватился за канат, брошенный Дантесом, и с ловкостью, которая сделала бы честь любому моряку, взобрался по скобам, вбитым в выпуклый борт корабля, а Дантес вернулся на свое прежнее место, уступая разговор тому, кого он называл Дангларом, который, выйдя из каюты, действительно шел навстречу Моррелю.

Это был человек лет двадцати пяти, довольно мрачного вида, угодливый с начальниками, нетерпимый с подчиненными. За это, еще более чем за титул бухгалтера, всегда ненавистный матросам, экипаж настолько же его недолюбливал, насколько любил Дантеса.

– Итак, господин Моррель, – сказал Данглар, – вы уже знаете о нашем несчастье?

– Да! Да! Бедный капитан Леклер! Это был славный и честный человек!

– А главное – превосходный моряк, состарившийся между небом и водой, каким и должен быть человек, которому доверены интересы такой крупной фирмы, как «Моррель и Сын», – отвечал Данглар.

– Мне кажется, – сказал арматор, следя глазами за Дантесом, который выбирал место для стоянки, – что вовсе не нужно быть таким старым моряком, как вы говорите, чтобы знать свое дело. Вот наш друг Эдмон так хорошо справляется, что ему, по-моему, не требуется ничьих советов.

– Да, – отвечал Данглар, бросив на Дантеса косой взгляд, в котором блеснула ненависть, – да, молодость и самонадеянность. Не успел умереть капитан, как он принял команду, не посоветовавшись ни с кем, и заставил нас потерять полтора дня у острова Эльба, вместо того чтобы идти прямо на Марсель.

– Приняв команду, – сказал арматор, – он исполнил свой долг как помощник капитана, но терять полтора дня у острова Эльба было неправильно, если только корабль не нуждался в починке.

– Корабль был цел и невредим, господин Моррель, а эти полтора дня потеряны из чистого каприза, ради удовольствия сойти на берег, только и всего.

– Дантес! – сказал арматор, обращаясь к юноше. – Подите-ка сюда.

– Простите, сударь, – отвечал Дантес, – через минуту я к вашим услугам.

Потом, обращаясь к экипажу, скомандовал:

– Отдать якорь!

Тотчас же якорь отдали, и цепь с грохотом побежала. Дантес оставался на своем посту, несмотря на присутствие лоцмана, до тех пор пока не был выполнен и этот последний маневр.

Потом он крикнул:

– Вымпел приспустить до половины, флаг завязать узлом, реи скрестить!

– Вот видите, – сказал Данглар, – он уже воображает себя капитаном, даю вам слово.

– Да он и есть капитан, – отвечал арматор.

– Да, только не утвержден еще ни вами, ни вашим компаньоном, господин Моррель.

– Отчего же нам не оставить его капитаном? – сказал арматор. – Правда, он молод, но, кажется, предан делу и очень опытен.

Лицо Данглара омрачилось.

– Извините, господин Моррель, – сказал Дантес, подходя, – якорь отдан, и я к вашим услугам. Вы, кажется, звали меня?

Данглар отступил на шаг.

– Я хотел вас спросить, зачем вы заходили на остров Эльба?

– Сам не знаю. Я исполнял последнее распоряжение капитана Леклера. Умирая, он велел мне доставить пакет маршалу Бертрону.

– Так вы его видели, Эдмон?

– Кого?

– Маршала.

– Да.

Моррель оглянулся и отвел Дантеса в сторону.

– А что император? – спросил он с живостью.

– Здоров, насколько я мог судить.

– Так вы и самого императора видели?

– Он вошел к маршалу, когда я у него был.

– И вы говорили с ним?

– То есть он со мной говорил, – отвечал Дантес с улыбкой.

– Что же он вам сказал?

– Спрашивал о корабле, о времени отбытия в Марсель, о нашем курсе, о грузе. Думаю, что, если бы корабль был пустой и принадлежал мне, он готов был бы купить его; но я сказал ему, что я только заступаю место капитана и что корабль принадлежит торговому дому «Моррель и Сын». «А, знаю, – сказал он, – Моррели – арматоры из рода в род, и один Моррель служил в нашем полку, когда я стоял в Валансе».

– Верно! – вскричал радостно арматор. – Это был Поликар Моррель, мой дядя, который дослужился до капитана. Дантес, вы скажете моему дяде, что император вспомнил о нем, и вы увидите, как старый ворчун заплачет. Ну, ну, – продолжал арматор, дружески хлопая молодого моряка по плечу, – вы хорошо сделали, Дантес, что исполнили приказ капитана Леклера и остановились у Эльбы; хотя, если узнают, что вы доставили пакет маршалу и говорили с императором, то это может вам повредить.

– Чем же это может мне повредить? – отвечал Дантес. – Я даже не знаю, что было в пакете, а император задавал мне вопросы, какие задал бы первому встречному. Но разрешите: вот едут карантинные и таможенные чиновники.

– Ступайте, ступайте, дорогой мой.

Молодой человек удалился, и в ту же минуту подошел Данглар.

– Ну что? – спросил он. – Он, по-видимому, объяснил вам, зачем он заходил в Порто-Феррайо?

– Вполне, дорогой Данглар.

– А! Тем лучше, – отвечал тот. – Тяжело видеть, когда товарищ не исполняет своего долга.

– Дантес свой долг исполнил, и тут ничего не скажешь, – возразил арматор. – Это капитан Леклер приказал ему остановиться у Эльбы.

– Кстати, о капитане Леклере; он отдал вам его письмо?

– Кто?

– Дантес.

– Мне? Нет. Разве у него было письмо?

– Мне казалось, что, кроме пакета, капитан дал ему еще и письмо.

– О каком пакете вы говорите, Данглар?

– О том, который Дантес отвез в Порто-Феррайо.

– А откуда вы знаете, что Дантес отвозил пакет в Порто-Феррайо?

Данглар покраснел.

– Я проходил мимо каюты капитана и видел, как он отдавал Дантесу пакет и письмо.

– Он мне ничего не говорил, но если у него есть письмо, то он мне его передаст.

Данглар задумался.

– Если так, господин Моррель, то прошу вас, не говорите об этом Дантесу. Я, верно, ошибся.

В эту минуту молодой моряк возвратился. Данглар опять отошел.

– Ну что, дорогой Дантес, вы свободны? – спросил арматор.

– Да, господин Моррель.

– Как вы скоро покончили!

– Да, я вручил таможенникам списки наших товаров, а из порта прислали с лоцманом человека, которому я и передал наши бумаги.

– Так вам здесь нечего больше делать?

Дантес быстро осмотрелся.

– Нечего, все в порядке, – сказал он.

– Так поедem обедать к нам.

– Прошу прощенья, господин Моррель, но прежде всего я должен повидаться с отцом. Благодарю вас за честь...

– Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, что вы хороший сын.

– А мой отец, – спросил Дантес нерешительно, – он здоров, вы не знаете?

– Думаю, что здоров, дорогой Эдмон, хотя я его не видал.

– Да, он все сидит в своей комнатухе.

– Это доказывает по крайней мере, что он без вас не нуждался ни в чем.

Дантес улыбнулся.

– Отец мой горд, и если бы он даже нуждался во всем, то ни у кого на свете, кроме бога, не попросил бы помощи.

– Итак, навестив отца, вы, надеюсь, придете к нам?

– Еще раз извините, господин Моррель, но у меня есть другой долг, который для меня так же драгоценен.

– Да! Я и забыл, что в Каталанах кто-то ждет вас с таким же нетерпением, как и ваш отец, – прекрасная Мерседес.

Дантес улыбнулся.

– Вот оно что! – продолжал арматор. – Теперь я понимаю, почему она три раза приходила справляться, скоро ли прибудет «Фараон». Черт возьми, Эдмон, вы счастливец, подружка хоть куда!

– Она мне не подружка, – серьезно сказал моряк, – она моя невеста.

– Иногда это одно и то же, – засмеялся арматор.

– Не для нас, – отвечал Дантес.

– Хорошо, Эдмон, я вас не удерживаю. Вы так хорошо устроили мои дела, что я должен дать вам время на устройство ваших. Не нужно ли вам денег?

– Нет, не нужно. У меня осталось все жалованье, полученное за время плавания, то есть почти за три месяца.

– Вы аккуратный человек, Эдмон.

– Не забудьте, господин Моррель, что мой отец беден.

– Да, да, я знаю, что вы хороший сын. Ступайте к отцу. У меня тоже есть сын, и я бы очень рассердился на того, кто после трехмесячной разлуки помешал бы ему повидаться со мной.

– Так вы разрешите? – сказал молодой человек, кланаясь.

– Идите, если вам больше нечего мне сказать.

– Больше нечего.

– Капитан Леклер, умирая, не давал вам письма ко мне?

– Он не мог писать; но ваш вопрос напомнил мне, что я должен буду попроситься у вас в двухнедельный отпуск.

– Для свадьбы?

– И для свадьбы, и для поездки в Париж.

– Пожалуйста. Мы будем разгружаться недель шесть и выйдем в море не раньше как месяца через три. Но через три месяца вы должны быть здесь, – продолжал арматор, хлопая молодого моряка по плечу. – «Фараон» не может идти в плавание без своего капитана.

– Без своего капитана! – вскричал Дантес, и глаза его радостно заблестели. – Говорите осторожнее, господин Моррель, потому что вы сейчас ответили на самые тайные надежды моей души. Вы хотите назначить меня капитаном «Фараона»?

– Будь я один, дорогой мой, я бы протянул вам руку и сказал: «Готово дело!» Но у меня есть компаньон, а вы знаете итальянскую пословицу: «Chi ha compagno ha padrone»¹. Но половина дела сделана, потому что из двух голосов один уже принадлежит вам. А добыть для вас второй – предоставьте мне.

– О господин Моррель! – вскричал юноша со слезами на глазах, сжимая ему руки. – Благодарю вас от имени отца и Мерседес.

– Ладно, ладно, Эдмон, есть же для честных людей бог на небе, черт возьми! Повидайтесь с отцом, повидайтесь с Мерседес, а потом приходите ко мне.

– Вы не хотите, чтобы я отвез вас на берег?

– Нет, благодарю. Я останусь здесь и просмотрю счета с Дангларом. Вы были довольны им во время плавания?

– И доволен и нет. Как товарищем – нет. Мне кажется, он меня невзлюбил с тех пор, как однажды, повздорив с ним, я имел глупость предложить ему остановиться минут на десять у острова Монте-Кристо, чтобы разрешить наш спор; конечно, мне не следовало этого говорить, и он очень умно сделал, что отказался. Как о бухгалтере о нем ничего нельзя сказать дурного, и вы, вероятно, будете довольны им.

– Но скажите, Дантес, – спросил арматор, – если бы вы были капитаном «Фараона», вы бы по собственной воле оставили у себя Данглара?

¹ У кого компаньон, у того хозяин (*итал.*).

– Буду ли я капитаном или помощником, господин Моррель, я всегда буду относиться с полным уважением к тем лицам, которые пользуются доверием моих хозяев.

– Правильно, Дантес. Вы во всех отношениях славный малый. А теперь ступайте; я вижу, вы как на иголках.

– Так я в отпуск?

– Ступайте, говорят вам.

– Вы мне позволите взять вашу лодку?

– Возьмите.

– До свидания, господин Моррель. Тысячу раз благодарю вас.

– До свидания, Эдмон. Желаю удачи!

Молодой моряк прыгнул в лодку, сел у руля и велел грести к улице Каннебьер. Два матроса налегли на весла, и лодка понеслась так быстро, как только позволяло множество других лодок, которые загромождали узкий проход, ведущий между двумя рядами кораблей от входа в порт к Орлеанской набережной.

Арматор с улыбкой следил за ним до самого берега, видел, как он выпрыгнул на мостовую и исчез в пестрой толпе, наполняющей с пяти часов утра до девяти часов вечера знаменитую улицу Каннебьер, которой современные фокейцы так гордятся, что говорят самым серьезным образом, с своим характерным акцентом: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем».

Оглянувшись, арматор увидел за своей спиной Данглара, который, казалось, ожидал его приказаний, а на самом деле, как и он, провожал взглядом молодого моряка. Но была огромная разница в выражении этих двух взглядов, следивших за одним и тем же человеком.

II. Отец и сын

Пока Данглар, вдохновляемый ненавистью, старается очернить своего товарища в глазах арматора, последуем за Дантесом, который, пройдя всю улицу Каннебьер, миновал улицу Ноайль, вошел в небольшой дом по левой стороне Мельянских аллей, быстро поднялся по темной лестнице на пятый этаж и, держась одной рукой за перила, а другую прижимая к сильно бьющемуся сердцу, остановился перед полуотворенной дверью, через которую можно было видеть всю каморку.

В этой каморке жил его отец.

Известие о прибытии «Фараона» не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой поправлял настурции и ломоносы, обвивавшие его окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади, и он услышал знакомый голос:

– Отец!

Старик вскрикнул и обернулся. Увидав сына, он бросился в его объятия, весь бледный и дрожащий.

– Что с тобой, отец? – спросил юноша с беспокойством. – Ты болен?

– Нет, нет, милый Эдмон, сын мой, дитя мое, нет! Но я не ждал тебя... Ты застал меня врасплох... это от радости. Боже мой! Мне кажется, что я умру!

– Успокойся, отец, это же я. Все говорят, что радость не может повредить, вот почему я так прямо и вошел к тебе. Улыбнись, не смотри на меня безумными глазами. Я вернулся домой, и все будет хорошо.

– Тем лучше, дитя мое, – отвечал старик, – но как же все будет хорошо? Разве мы больше не расстанемся? Расскажи же мне о твоём счастье!

– Да простит мне господь, что я радуюсь счастью, построенному на горе целой семьи, но, видит бог, я не желал этого счастья. Оно пришло само собой, и у меня нет сил печалиться. Капитан Леклер скончался, и весьма вероятно, что благодаря покровительству Мор-

реля я получу его место. Понимаете, отец? В двадцать лет я буду капитаном! Сто луидоров жалованья и доля в прибылях! Разве мог я, бедный матрос, ожидать этого?

– Да, сын мой, ты прав, – сказал старик, – это большое счастье.

– И я хочу, чтобы на первые же деньги вы завели себе домик с садом для ваших ломоносов, настурций и жимолости... Но что с тобой, отец? Тебе дурно?

– Ничего, ничего... сейчас пройдет!

Силы изменили старику, и он откинулся назад.

– Сейчас, отец! Выпей стакан вина, это тебя подкрепит. Где у тебя вино?

– Нет, спасибо, не ищи, не надо, – сказал старик, стараясь удержать сына.

– Как не надо!.. Скажите, где вино? – Он начал шарить в шкафу.

– Не ищи... – сказал старик. – Вина нет...

– Как нет? – вскричал Дантес. Он с испугом глядел то на впалые бледные щеки старика, то на пустые полки. – Как нет вина? Вам не хватило денег, отец?

– У меня всего вдоволь, раз ты со мною, – отвечал старик.

– Однако же, – прошептал Дантес, отирая пот с лица, – я вам оставил двести франков назад тому три месяца, когда уезжал.

– Да, да, Эдмон, но ты, уезжая, забыл вернуть должок соседу Кадруссу; он мне об этом напомнил и сказал, что если я не заплачу за тебя, то он пойдет к господину Моррелю. Я боялся, что это повредит тебе...

– И что же?

– Я и заплатил.

– Но ведь я был должен Кадруссу сто сорок франков! – вскричал Дантес.

– Да, – пролепетал старик.

– И вы их заплатили из двухсот франков, которые я вам оставил?

Старик кивнул головой.

– И жили целых три месяца на шестьдесят франков?

– Много ли мне надо, – отвечал старик.

– Господи! – простонал Эдмон, бросаясь на колени перед отцом.

– Что с тобой?

– Никогда себе этого не прощу.

– Брось, – сказал старик с улыбкой, – ты вернулся, и все забыто. Ведь теперь все хорошо.

– Да, я вернулся, – сказал юноша, – вернулся с наилучшими надеждами и с кое-какими деньгами... Вот, отец, берите, берите и сейчас же пошлите купить что-нибудь.

И он высыпал на стол дюжину золотых, пять или шесть пятифранковых монет и мелочь.

Лицо старого Дантеса просияло.

– Чье это? – спросил он.

– Да мое... твоё... наше! Бери, накупи провизии, не жалея денег, завтра я еще принесу.

– Постой, постой, – сказал старик, улыбаясь. – С твоего позволения я буду тратить деньги потихоньку; если я сразу много накуплю, то еще, пожалуй, люди подумают, что мне пришлось для этого ждать твоего возвращения.

– Делай, как тебе угодно, но прежде всего найми служанку. Я не хочу, чтобы ты жил один. У меня в трюме припрятан контрабандный кофе и чудесный табак; завтра же ты их получишь. Тише! Кто-то идет.

– Это, должно быть, Кадрусс. Узнал о твоём приезде и идет поздравить тебя с счастливым возвращением.

– Вот еще уста, которые говорят одно, между тем как сердце думает другое, – прошептал Эдмон. – Но все равно, он наш сосед и оказал нам когда-то услугу! Примем его ласково.

Не успел Эдмон договорить, как в дверях показалась черная бородатая голова Кадрусса. Это был человек лет двадцати пяти – двадцати шести; в руках он держал кусок сукна, который он согласно своему ремеслу портного намеревался превратить в одежду.

– А! Приехал, Эдмон! – сказал он с сильным марсельским акцентом, широко улыбаясь, так что видны были все его зубы, белые, как слоновою кость.

– Как видите, сосед Кадрусс, я к вашим услугам, если вам угодно, – отвечал Дантес, с трудом скрывая холодность под любезным тоном.

– Покорно благодарю. К счастью, мне ничего не нужно, и даже иной раз другие во мне нуждаются. (Дантес вздрогнул.) Я не про тебя говорю, Эдмон. Я дал тебе денег взаймы, ты мне их отдал; так водится между добрыми соседями, и мы в расчете.

– Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам помог, – сказал Дантес. – Когда денежный долг возвращен, остается долг благодарности.

– К чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоём счастливом возвращении. Я пошел в порт поискать коричневого сукна и встретил своего приятеля Данглара.

«Как, ты в Марселе?» – говорю ему.

«Да, как видишь».

«А я думал, ты в Смирне».

«Мог бы быть и там, потому что прямо оттуда».

«А где же наш Эдмон?»

«Да, верно, у отца», – отвечал мне Данглар. Вот я и пришел, – продолжал Кадрусс, – чтобы приветствовать друга.

– Славный Кадрусс, как он нас любит! – сказал старик.

– Разумеется, люблю и притом еще уважаю, потому что честные люди редки... Но ты никак разбогател, приятель? – продолжал портной, искоса взглянув на кучку золота и серебра, выложенную на стол Дантесом.

Юноша заметил искру жадности, блеснувшую в черных глазах соседа.

– Это не мои деньги, – отвечал он небрежно. – Я сказал отцу, что боялся найти его в нужде, а он, чтобы успокоить меня, высыпал на стол все, что было у него в кошельке. Спрячьте деньги, отец, если только соседу они не нужны.

– Нет, друг мой, – сказал Кадрусс, – мне ничего не нужно; слава богу, ремесло мастера кормит. Береги денежки, лишних никогда не бывает. При всем том я тебе благодарен за твоё предложение не меньше, чем если бы я им воспользовался.

– Я предложил от сердца, – сказал Дантес.

– Не сомневаюсь. Итак, ты в большой дружбе с Моррелем, хитрец ты этакий?

– Господин Моррель всегда был очень добр ко мне, – отвечал Дантес.

– В таком случае ты напрасно отказался от обеда.

– Как отказался от обеда? – спросил старый Дантес. – Разве он звал тебя обедать?

– Да, отец, – отвечал Дантес и улыбнулся, заметив, как пора-зила старика необычайная честь, оказанная его сыну.

– А почему же ты отказался, сын? – спросил старик.

– Чтобы пораньше прийти к вам, отец, – ответил молодой человек. – Мне не терпелось увидеться с вами.

– Моррель, должно быть, обиделся, – продолжал Кадрусс, – а когда метишь в капитаны, не следует перечить арматору.

– Я объяснил ему причину отказа, и он понял меня, надеюсь.

– Чтобы стать капитаном, надобно немножко подольститься к хозяевам.

– Я надеюсь быть капитаном и без этого, – отвечал Дантес.

– Тем лучше, тем лучше! Это порадует всех старых твоих друзей. А там, за фортом Святого Николая, я знаю кое-кого, кто будет особенно доволен.

– Мерседес? – спросил старик.

– Да, отец, – сказал Дантес. – И теперь, когда я вас повидал, когда я знаю, что вы здоровы и что у вас есть все, что вам нужно, я попрошу у вас позволения отправиться в Каталаны.

– Ступай, дитя мое, ступай, – отвечал старый Дантес, – и да благословит тебя господь женой, как благословил меня сыном.

– Женой! – сказал Кадрусс. – Как вы, однако, спешите; она еще не жена ему как будто!

– Нет еще, но, по всем вероятностям, скоро будет, – отвечал Эдмон.

– Как бы то ни было, – сказал Кадрусс, – ты хорошо сделал, что поспешил с приездом.

– Почему?

– Потому что Мерседес – красавица, а у красавиц нет недостатка в поклонниках; у этой – особенно: они дюжинами ходят за ней.

– В самом деле? – сказал Дантес с улыбкой, в которой заметна была легкая тень беспокойства.

– Да, да, – продолжал Кадрусс, – и притом завидные женихи; но, сам понимаешь, ты скоро будешь капитаном, и тебе едва ли откажут.

– Это значит, – подхватил Дантес с улыбкой, которая едва прикрывала его беспокойство, – это значит, что если бы я не стал капитаном...

– Гм! Гм! – пробормотал Кадрусс.

– Ну, – сказал молодой человек, – я лучшего мнения, чем вы, о женщинах вообще и о Мерседес в особенности, и я убежден, что, буду я капитаном или нет, она останется мне верна.

– Тем лучше, – сказал Кадрусс, – тем лучше! Когда женишься, нужно уметь верить; но все равно, приятель, я тебе говорю: не теряй времени, ступай, объяви ей о своем приезде и поделись своими надеждами.

– Иду, – отвечал Эдмон.

Он поцеловал отца, кивнул Кадруссу и вышел.

Кадрусс посидел у старика еще немного, потом, простившись с ним, тоже вышел и вернулся к Данглару, который ждал его на углу улицы Сенак.

– Ну, что? – спросил Данглар. – Ты его видел?

– Видел, – ответил Кадрусс.

– И он говорил тебе о своих надеждах на капитанство?

– Он говорит об этом так, как будто он уже капитан.

– Вот как! – сказал Данглар. – Уж больно он торопится!

– Но Моррель ему, как видно, обещал...

– Так он очень весел?

– Даже до дерзости; он уже предлагал мне свои услуги, как какая-нибудь важная особа; предлагал мне денег, как банкир.

– И ты отказался?

– Отказался. А мог бы взять у него займы, потому что не кто другой, как я, одолжил ему первые деньги, которые он видел в своей жизни. Но теперь господин Дантес ни в ком не нуждается: он скоро будет капитаном!

– Ну, он еще не капитан!

– Правду сказать, хорошо было бы, если бы он им и не стал, – продолжал Кадрусс, – а то с ним и говорить нельзя будет.

– Если мы захотим, – сказал Данглар, – он будет тем же, что и теперь, а может быть, и того меньше.

– Что ты говоришь?

- Ничего, я говорю сам с собою. И он все еще влюблен в прекрасную каталанку?
- До безумия; уже побежал туда. Но или я очень ошибаюсь, или с этой стороны его ждут неприятности.
- Скажи яснее.
- Зачем?
- Это гораздо важнее, чем ты думаешь. Ведь ты не любишь Дантеса?
- Я не люблю гордецов.
- Так скажи мне все, что знаешь о каталанке.
- Я не знаю ничего намеренное, но видел такие вещи, что думаю, как бы у будущего капитана не вышло неприятностей на дороге у Старой Больницы.
- Что же ты видел? Ну, говори.
- Я видел, что каждый раз, как Мерседес приходит в город, ее провожает рослый детина, каталанец, с черными глазами, краснолицый, черноволосый, сердитый. Она называет его двоюродным братом.
- В самом деле!.. И ты думаешь, что этот братец за нею волочится?
- Предполагаю – как же может быть иначе между двадцатилетним детиной и семнадцатилетней красавицей?
- И ты говоришь, что Дантес пошел в Каталаны?
- Пошел при мне.
- Если мы пойдем туда же, мы можем остановиться в «Резерве» и за стаканом мальгского вина подождать новостей.
- А кто нам их сообщит?
- Мы будем на его пути и по лицу Дантеса увидим, что произошло.
- Идем, – сказал Кадросс, – но только платишь ты.
- Разумеется, – отвечал Данглар.

И оба быстрым шагом направились к назначенному месту. Придя в трактир, они велели подать бутылку вина и два стакана.

От старика Памфила они узнали, что минут десять тому назад Дантес прошел мимо трактира.

Удостоверившись, что Дантес в Каталанах, они сели под молодой листвой платанов и сикомор, в ветвях которых веселая стая птиц воспевала один из первых ясных дней весны.

III. Каталанцы

В ста шагах от того места, где оба друга, насторожив уши и поглядывая на дорогу, прихлебывали искрометное мальгское вино, за лысым пригорком, обглоданным солнцем и мистралями, лежало селение Каталаны.

Однажды из Испании выехали какие-то таинственные переселенцы и пристали к тому клочку земли, на котором они живут и поныне. Они явились неведомо откуда и говорили на незнакомом языке. Один из начальников, понимавший провансальский язык, попросил у города Марселя позволения завладеть пустынным мысом, на который они, по примеру древних мореходов, вытащили свои суда. Просьбу уважили, и три месяца спустя вокруг десятка судов, привезших этих морских цыган, выросло небольшое селение. В этом своеобразном и живописном селении, полумаавританском, полуиспанском, и поныне живут потомки этих людей, говорящие на языке своих дедов. В продолжение трех или четырех веков они остались верны своему мысу, на который опустились, как стая морских птиц; они нисколько не смешались с марсельскими жителями, женятся только между собой и сохраняют нравы и одежду своей родины так же, как сохранили ее язык.

Мы приглашаем читателя последовать за нами по единственной улице селения и зайти в один из домиков; солнце снаружи окрасило его стены в цвет опавших листьев, одинаковый для всех старинных построек этого края, а внутри кисть маляра сообщила им белизну, составляющую единственное украшение испанских *posadas*².

Красивая молодая девушка, с черными, как смоль, волосами, с бархатными, как у газели, глазами, стояла, прислонившись к перегородке, и в тонких, словно выточенных античным ваятелем, пальцах мяла ни в чем не повинную ветку вереска; оборванные цветы и листья уже усеяли пол; руки ее, обнаженные до локтя, покрытые загаром, но словно скопированные с рук Венеры Арльской, дрожали от волнения, а легкой ножкой с высоким подъемом она нетерпеливо постукивала по полу, так что можно было видеть ее стройные, изящные икры, обтянутые красным чулком с серыми и синими стрелками. В трех шагах от нее, покачиваясь на стуле и опершись локтем на старый комод, статный молодец лет двадцати – двадцати двух смотрел на нее с беспокойством и досадой; в его глазах был вопрос, но твердый и упорный взгляд девушки укрощал собеседника.

– Послушай, Мерседес, – говорил молодой человек, – скоро Пасха, самое время сыграть свадьбу... Ответь же мне!

– Я тебе уже сто раз отвечала, Фернан, и ты сам себе враг, если опять спрашиваешь меня.

– Ну, так повтори еще, умоляю тебя, повтори еще, чтобы я мог поверить. Скажи мне в сотый раз, что отвергаешь мою любовь, которую благословила твоя мать; заставь меня понять, что ты играешь моим счастьем, что моя жизнь или смерть для тебя – ничто! Боже мой! Десять лет мечтать о том, чтобы стать твоим мужем, Мерседес, и потерять эту надежду, которая была единственной целью моей жизни!

– По крайней мере не я поддерживала в тебе эту надежду, – отвечала Мерседес, – ты не можешь меня упрекнуть, что я когда-нибудь завлекала тебя. Я всегда говорила тебе: я люблю тебя, как брата, но никогда не требуй от меня ничего, кроме этой братской дружбы, потому что сердце мое отдано другому. Разве я не говорила тебе этого, Фернан?

– Знаю, знаю, Мерседес, – прервал молодой человек. – Да, ты всегда была со мной до жестокости прямодушна, но ты забываешь, что для каталанцев брак только между своими – священный закон.

– Ты ошибаешься, Фернан, это не закон, а просто обычай, только и всего, – и верь мне, тебе не стоит ссылаться на этот обычай. Ты вытянул жребий, Фернан. Если ты еще на свободе, то это просто поблажка, не сегодня так завтра тебя могут призвать на службу. А когда ты поступишь в солдаты, что ты станешь делать с бедной сиротой, горемычной, без денег, у которой нет ничего, кроме развалившейся хижины, где висят старые сети – жалкое наследство, оставленное моим отцом матери, а матерью – мне? Вот год как она умерла, и подумай, Фернан, ведь я живу почти милостыней! Иногда ты притворяешься, будто я тебе помогаю, и это для того, чтобы иметь право разделить со мной улов; и я принимаю это, Фернан, потому что твой отец был брат моего отца, потому что мы выросли вместе и особенно потому, что отказ мой слишком огорчил бы тебя. Но я чувствую, что деньги, которые я выручаю за твою рыбу и на которые я покупаю себе лен для пряжи, – просто милостыня.

– Не все ли мне равно, Мерседес! Бедная и одинокая, ты мне дороже, чем дочь самого гордого арматора или самого богатого банкира в Марселе! Что надобно нам, беднякам? Честную жену и хорошую хозяйку. Где я найду лучше тебя?

– Фернан, – отвечала Мерседес, покачав головою, – можно стать дурной хозяйкой и нельзя ручаться, что будешь честной женой, еслилюбишь не мужа, а другого. Будь доволен моей дружбой, потому что, повторяю, это все, что я могу тебе обещать, а я обещаю только то, что могу исполнить на верное.

² Posada – дом (исп.).

– Понимаю, – сказал Фернан, – ты терпеливоносишь свою нищету, но боишься моей. Так знай же, Мерседес, если ты меня полюбишь, я попытаю счастья. Ты принесешь мне удачу, и я разбогатею. Я не останусь рыбаком; я могу наняться конторщиком, могу и сам завести торговлю.

– Ничего этого ты не можешь, Фернан; ты солдат, и если ты сейчас в Каталанах, то только потому, что нет войны. Оставайся рыбаком, не строй воздушных замков, после которых действительность покажется тебе еще тягостней, и удовольствуйся моей дружбой. Ничего другого я тебе дать не могу.

– Да, ты права, Мерседес, я буду моряком; надену вместо дедовской одежды, которую ты презираешь, лакированную шляпу, полосатую фуфайку и синюю куртку с якорями на пуговицах. Ведь так должен быть одет человек, который сможет тебе понравиться?

– Что ты хочешь сказать? – спросила Мерседес, с гордым вызовом взглянув на него. – Что ты хочешь сказать? Я не понимаю тебя.

– Я хочу сказать, Мерседес, ты так сурова и жестока со мною только потому, что ждешь человека, который одет, как я описал. А вдруг тот, кого ты ждешь, непостоянен, а если не он, непостоянно море?

– Фернан, – вскричала Мерседес, – я думала, что ты добрый, но я ошиблась. Ты злой, если на помощь своей ревности призываешь божий гнев! Да, я не скрываю: я жду и люблю того, о ком ты говоришь, и если он не вернется, я не стану упрекать его в непостоянстве, а скажу, что он умер, любя меня.

Каталанец яростно сжал кулаки.

– Я тебя поняла, Фернан: ты хочешь отомстить ему за то, что я не люблю тебя. Ты хочешь скрестить свой каталанский нож с его кинжалом! И что же? Ты лишишься моей дружбы, если будешь побежден; а если победишь ты, то моя дружба обернется ненавистью. Поверь мне, искать ссоры с человеком – плохое средство понравиться женщине, которая этого человека любит. Нет, Фернан, ты не поддашься дурным мыслям. Раз я не могу быть твоей женой, ты привыкнешь смотреть на меня как на друга, как на свою сестру. Притом же, – прибавила она с влажными от слез глазами, – не спеши, Фернан: ты сам сейчас сказал – море коварно, и вот уже четыре месяца, как он уехал, а за четыре месяца я насчитала много бурь!

Фернан остался холоден; он не старался отереть слезы, бежавшие по щекам Мерседес; а между тем за каждую ее слезу он отдал бы стакан своей крови. Но эти слезы лились из-за другого!

Он встал, прошелся по хижине и остановился перед Мерседес; глаза его сверкали, кулаки были сжаты.

– Послушай, Мерседес, – сказал он, – отвечай еще раз: это решено?

– Я люблю Эдмона Дантеса, – спокойно ответила девушка, – и, кроме Эдмона, никто не будет моим мужем.

– И ты будешь всегда любить его?

– До самой смерти.

Фернан со стоном опустил голову, как человек, потерявший последнюю надежду; потом вдруг поднял голову и, стиснув зубы, спросил:

– А если он умер?

– Так и я умру.

– А если он тебя забыл?

– Мерседес! – раздался веселый голос за дверью. – Мерседес!

– Ах!.. – вскричала девушка, не помня себя от счастья и любви. – Вот видишь, он не забыл меня, он здесь!

Она бросилась к двери и отворила ее, крича:

– Сюда, Эдмон! Я здесь!

Фернан, бледный и дрожащий, попятился, как путник, внезапно увидевший змею, и, наткнувшись на свой стул, бессильно опустился на него.

Эдмон и Мерседес бросились друг другу в объятия. Палящее марсельское солнце, врываясь в раскрытую дверь, обливало их потоками света. Сначала они не видели ничего кругом. Неизмеримое счастье отделяло их от мира; они говорили несвязными словами, которые передают порывы такой острой радости, что становятся похожи на выражение боли.

Вдруг Эдмон заметил мрачное лицо Фернана, которое выступало из полумрака, бледное и угрожающее; бессознательно молодой каталанец держал руку на ноже, висевшем у него на поясе.

– Простите, – сказал Дантес, хмуря брови, – я и не заметил, что нас здесь трое.

Затем, обращаясь к Мерседес, он спросил:

– Кто этот господин?

– Этот господин будет вашим лучшим другом, Дантес, потому что это мой друг, мой брат, Фернан, тот человек, которого после вас, Эдмон, я люблю больше всех на свете. Разве вы не узнали его?

– Да, узнал, – отвечал Эдмон, и, не выпуская руки Мерседес, он сердечно протянул другую руку каталанцу.

Но Фернан, не отвечая на это дружеское движение, оставался нем и недвижим, как статуя.

Тогда Эдмон испытующе посмотрел на дрожавшую Мерседес и на мрачного и грозного Фернана.

Один взгляд объяснил ему все. Он вспыхнул от гнева.

– Я не знал, когда спешил к тебе, Мерседес, что найду здесь врага.

– Врага! – вскричала Мерседес, гневно взглянув на двоюродного брата. – Найти врага у меня, в моем доме! Если бы я так думала, я взяла бы тебя под руку и ушла в Марсель, покинув этот дом навсегда.

Глаза Фернана сверкнули.

– И если бы с тобой приключилась беда, мой Эдмон, – продолжала она с неумолимым спокойствием, которое показывало Фернану, что Мерседес проникла в самую глубину его мрачных мыслей, – я взойшла бы на мыс Моржион и бросилась со скалы вниз головой.

Фернан побледнел, как смерть.

– Но ты ошибся, Эдмон, – прибавила она, – здесь у тебя нет врагов; здесь только мой брат Фернан, и он сейчас пожмет тебе руку, как преданному другу.

И девушка устремила повелительный взгляд на каталанца, который, как замороженный, медленно подошел к Эдмону и протянул ему руку.

Ненависть его, подобно волне, бешеной, но бессильной, разбилась о неодолимую власть, которую эта девушка имела над ним.

Но едва он дотронулся до руки Эдмона, как почувствовал, что сделал все, что мог, и бросился вон из дому.

– Горе мне! – стонал он, в отчаянии ломая руки. – Кто избавит меня от этого человека! Горе мне!

– Эй, каталанец! Эй, Фернан! Куда ты? – окликнул его чей-то голос.

Фернан круто остановился, озираясь по сторонам, и увидал Кадрussa, сидевшего с Дангларом за столом под деревьями.

– Что же ты не идешь к нам? – сказал Кадрусс. – Или ты так спешишь, что тебе некогда поздороваться с друзьями?

– Особенно когда перед ними еще почти полная бутылка! – прибавил Данглар.

Фернан бессмысленно посмотрел на них и не ответил ни слова.

– Он совсем ошалел, – сказал Данглар, толкая Кадрussa ногой. – Что, если мы ошиблись и, вопреки нашим ожиданиям, Дантес торжествует победу?

– Сейчас узнаем, – отвечал Кадрусс и, повернувшись к молодому человеку, сказал: – Ну, что же, каталанец, решаешься или нет?

Фернан отер пот с лица и вошел в беседку; ее тень как будто немного успокоила его волнение, а прохлада освежила истомленное тело.

– Здравствуйте, – сказал он, – вы, кажется, звали меня?

И он без сил опустился на один из стульев, стоявших вокруг стола.

– Я позвал тебя потому, что ты бежал, как сумасшедший, и я боялся, что ты, чего доброго, бросишься в море, – сказал, смеясь, Кадрусс. – Черт возьми! Друзей не только угощают вином; иной раз им еще мешают наглотаться воды.

Фернан не то вздохнул, не то всхлипнул и уронил голову на руки.

– Знаешь, что я тебе скажу, Фернан, – продолжал Кадрусс, начиная разговор с грубой откровенностью простых людей, которые от любопытства забывают все приличия. – Знаешь, ты похож на отставленного воздыхателя!

И он громко захохотал.

– Нет, – отвечал Данглар, – такой молодец не для того создан, чтобы быть несчастным в любви. Ты шутишь, Кадрусс.

– Вовсе не шучу, ты лучше послушай, как он вздыхает. Ну-ка, Фернан, подними нос да отвечай нам. Невежливо не отвечать друзьям, когда они спрашивают о здоровье.

– Я здоров, – сказал Фернан, сжимая кулаки, но не поднимая головы.

– А! Видишь ли, Данглар, – сказал Кадрусс, мигнув своему приятелю, – дело вот в чем: Фернан, которого ты здесь видишь, добрый и честный каталанец, один из лучших марсельских рыбаков, влюблен в красавицу по имени Мерседес, но, к несчастью, красавица, со своей стороны, по-видимому, влюблена в помощника капитана «Фараона», а так как «Фараон» сегодня воротился в порт, то... понимаешь?

– Нет, не понимаю, – отвечал Данглар.

– Бедняга Фернан получил отставку, – продолжал Кадрусс.

– Ну, так что ж? – сказал Фернан, подняв голову и поглядывая на Кадрусса как человек, ищущий, на ком бы выместить досаду. – Мерседес ни от кого не зависит, не так ли? И вольна любить, кого ей угодно.

– Если ты так на это смотришь, тогда другое дело! – сказал Кадрусс. – Я-то думал, что ты каталанец; а мне рассказывали, что каталанцы не из тех людей, у которых можно отбивать возлюбленных; при этом даже прибавляли, что Фернан особенно страшен в своей местности.

Фернан презрительно улыбнулся.

– Влюбленный никогда не страшен, – сказал он.

– Бедняга! – подхватил Данглар, притворяясь, что жалеет его от всего сердца. – Что ж делать? Он не ожидал, что Дантес воротится так скоро. Он думал, что Дантес, быть может, умер, изменил, – как знать? Такие удары тем более тяжелы, что приходят всегда неожиданно.

– Как бы там ни было, – сказал Кадрусс, который все время пил и на которого хмельное мальгское вино начинало действовать, – как бы там ни было, благополучное возвращение Дантеса досаждают не одному Фернану; верно, Данглар?

– Верно, и я готов поручиться, что это кончится для него плохо.

– Тем не менее, – продолжал Кадрусс, наливая Фернану и наполняя в восьмой или десятый раз свой собственный стакан, между тем как Данглар едва пригубил свое вино, – тем не менее он женится на красавице Мерседес; по крайней мере он для этого воротился.

Все это время Данглар проницательным взором смотрел на Фернана и видел, что слова Кадрусса падают ему на сердце, как расплавленный свинец.

– А когда свадьба? – спросил Данглар.

– О! До свадьбы еще дело не дошло! – прошептал Фернан.

– Да, но дойдет, – сказал Кадрусс. – Это так же верно, как то, что Дантес будет капитаном «Фараона». Не правда ли, Данглар?

Данглар вздрогнул при этом неожиданном выпаде, повернулся к Кадруссу и пристально посмотрел на него, чтобы узнать, с умыслом ли были сказаны эти слова, но он не прочел ничего, кроме зависти на этом лице, уже поглупевшем от опьянения.

– Итак, – сказал он, наполняя стаканы, – выпьем за капитана Эдмона Дантеса, супруга прелестной каталанки!

Кадрусс отяжелевшею рукою поднес стакан к губам и одним духом осушил его. Фернан схватил свой стакан и разбил вдребезги.

– Стойте! – сказал Кадрусс. – Что там такое на пригорке, по дороге из Каталон? Взгляни-ка, Фернан, у тебя глаза получше. У меня уже двоится в глазах. Ты знаешь, вино – предатель. Точно двое влюбленных идут рядышком рука об руку. Ах, боже ты мой! Они не подозревают, что мы их видим, и целуются!

Данглар следил за каждым движением Фернана, лицо которого приметно искажалось.

– Знаете вы их, Фернан? – спросил он.

– Да, – отвечал тот глухим голосом, – это Эдмон и Мерседес.

– А! Вот оно что! – сказал Кадрусс. – А я и не узнал их. Эй, Дантес! Эй, красавица! Подите-ка сюда и скажите нам, скоро ли свадьба. Фернан такой упрямец, не хочет нам сказать.

– Да замолчишь ли ты? – прервал его Данглар, делая вид, будто останавливает Кадрусса, который с упрямством пьяницы высовывался из беседки. – Держись крепче на ногах и оставь влюбленных в покое. Бери пример с Фернана: он по крайней мере благоразумен.

Быть может, Фернан, выведенный из себя, подстрекаемый Дангларом, как бык на арене, не удержался бы, ибо он уже встал и, казалось, вот-вот кинется на соперника, но Мерседес, веселая и непринужденная, подняла прелестную головку и окинула всех светлым взглядом. Он вспомнил ее угрозу – умереть, если умрет Эдмон, – и бессильно опустил на стул.

Данглар посмотрел на своих собеседников – на отупевшего от вина и на сраженного любовью.

– От этих дураков я ничего не добьюсь, – прошептал он, – боюсь, что я имею дело с пьяницей и с трусом. Вот завистник, который наливается вином, между тем как ему следовало бы упиваться желчью; вот болван, у которого из-под носа похищают возлюбленную и который только и знает, что плачет и жалуется, как ребенок. А между тем у него пылающие глаза, как у испанцев, сицилийцев и калабрийцев, которые так искусно мстят за себя; у него такие кулаки, что размозжат голову быку вернее всякого обуха. Положительно, счастье улыбается Эдмону; он женится на красавице, будет капитаном и посмеется над нами, разве только... – мрачная улыбка искривила губы Данглара, – разве только я тут вмешаюсь.

– Эй! – продолжал кричать Кадрусс, привстав и опершись кулаком о стол. – Эй, Эдмон! Не видишь ты, что ли, друзей или уж так загордился, что не хочешь и говорить с ними?

– Нет, дорогой Кадрусс, – отвечал Дантес, – я совсем не горд, я счастлив, а счастье, очевидно, ослепляет еще больше, чем гордость.

– Дело! – сказал Кадрусс. – Вот это объяснение! Здравствуйте, госпожа Дантес!

Мерседес чинно поклонилась.

– Меня так еще не зовут, – сказала она. – У нас считается, что можно накликать беду, если называть девушку по имени ее жениха, когда этот жених еще не стал ей мужем; поэтому называйте меня Мерседес, прошу вас.

– Сосед Кадрусс не так уж виноват, – сказал Дантес, – он не намного ошибся!

– Так, значит, свадьба будет скоро? – спросил Данглар, раскланиваясь с молодой парой.

– Как можно скорее. Сегодня сговор у моего отца, а завтра или послезавтра, никак не позже, обед в честь помолвки здесь, в «Резерве». Надеюсь, будут все друзья: это значит, что вы приглашены, господин Данглар; это значит, что и тебя ждут, Кадрусс.

- А Фернан? – спросил Кадрусс, смеясь пьяным смехом. – Фернан тоже будет?
- Брат моей жены – мой брат, – сказал Эдмон, – и мы, Мерседес и я, были бы глубоко огорчены, если бы его не было с нами в такую минуту.
- Фернан хотел ответить, но голос замер у него в горле, и он не мог выговорить ни слова.
- Сегодня помолвка... завтра или послезавтра обручение... черт возьми, вы очень спешите, капитан!
- Данглар, – отвечал Эдмон с улыбкой, – я вам скажу то же, что Мерседес сказала сейчас Кадруссу: не наделяйте меня званием, которого я еще не удостоен; это накличет на меня беду.
- Прошу прощения, – отвечал Данглар. – Я только сказал, что вы очень спешите. Ведь времени у нас довольно: «Фараон» выйдет в море не раньше как через три месяца.
- Всегда спешишь быть счастливым, господин Данглар, – кто долго страдал, тот с трудом верит своему счастью. Но это не только себялюбие – я должен ехать в Париж.
- Вот как! В Париж! И вы едете туда в первый раз?
- Да.
- У вас там есть дело?
- Не мое: надо исполнить последнее поручение бедного нашего капитана Леклера. Вы понимаете, Данглар, это дело святое. Впрочем, будьте спокойны, я только съезжу и вернусь.
- Да, да, понимаю, – вслух сказал Данглар.
- Потом прибавил про себя:
- «В Париж, доставить по назначению письмо, которое ему дал маршал. Черт возьми! Это письмо подает мне мысль. А, Дантес, друг мой! Ты еще не значишься в реестре «Фараона» под номером первым!»
- И он крикнул вслед удалявшемуся Эдмону:
- Счастливого пути!
- Благодарю, – отвечал Эдмон, оглядываясь через плечо и дружески кивая головою.
- И влюбленные продолжали путь, спокойные и счастливые, как два избранника небес...

IV. Заговор

- Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортам Св. Николая; потом он снова повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и дрожащий, сидел неподвижно, а Кадрусс бормотал слова какой-то застольной песни.
- Мне кажется, – сказал Данглар Фернану, – эта свадьба не всем сулит счастье.
 - Меня она приводит в отчаяние, – отвечал Фернан.
 - Вы любите Мерседес?
 - Я обожаю ее.
 - Давно ли?
 - С тех пор как мы знаем друг друга; я всю жизнь любил ее.
 - И вы сидите тут и рвете на себе волосы, вместо того чтобы искать средства помочь горю! Черт возьми! Я думал, что не так водится между каталанцами.
 - Что же, по-вашему, мне делать? – спросил Фернан.
 - Откуда я знаю? Разве это мое дело? Ведь, кажется, не я влюблен в мадемуазель Мерседес, а вы; ищите и обрящете, как сказано в Евангелии.
 - Я уж нашел было.
 - Что именно?
 - Я хотел ударить его кинжалом, но она сказала, что, если с ним что-нибудь случится, она убьет себя.
 - Бросьте! Такие вещи говорят, да не делаются.
 - Вы не знаете Мерседес. Если она пригрозила, так уж исполнит.

– Болван! – прошептал Данглар. – Пусть она убивает себя, мне какое дело, лишь бы Дантес не был капитаном.

– А прежде чем умрет Мерседес, – продолжал Фернан с твердой решимостью, – я умру.

– Вот любовь-то! – закричал Кадрусс пьяным голосом. – Вот это любовь так любовь, или я ничего в этом не понимаю!

– Послушайте, – сказал Данглар, – вы, сдается мне, славный малый, и я бы хотел, черт меня побери, помочь вашему горю, но...

– Да, – подхватил Кадрусс, – говори.

– Любезный, – прервал его Данглар, – ты уже почти пьян; допей бутылку, и ты будешь совсем готов. Пей и не мешайся в наши дела. Для наших дел надобно иметь свежую голову.

– Я пьян? – вскричал Кадрусс. – Вот тоже! Я могу выпить еще четыре таких бутылки: это же пузырьки из-под одеколона! Папаша Памфил, вина!

И Кадрусс стукнул стаканом по столу.

– Так вы говорите... – сказал Фернан Данглару, с жадностью ожидая окончания прерванной фразы.

– Я уж не помню, что говорил. Этот пьяница спутал все мои мысли.

– Ну и пусть пьяница; тем хуже для тех, кто боится вина; у них, верно, дурные мысли, и они боятся, как бы вино не вывело их наружу.

И Кадрусс затянул песенку, бывшую в то время в большой моде:

Все злодеи – водопийцы,
Что доказано потопом.

– Вы говорили, – продолжал Фернан, – что хотели бы помочь моему горю, но, прибавили вы...

– Да. Но чтобы помочь вашему горю, надо помешать Дантесу жениться на той, которую вы любите, свадьба, по-моему, легко может не состояться и без смерти Дантеса.

– Только смерть может разлучить их, – сказал Фернан.

– Вы рассуждаете, как устрица, друг мой, – прервал его Кадрусс, – а Данглар у нас умник, хитрец, ученый, он докажет вам, что вы ошибаетесь. Докажи, Данглар. Я поручился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать; притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый малый, я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!

Фернан, досадливо махнув рукой, встал из-за стола.

– Пусть его, – сказал Данглар, удерживая каталанца, – он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука разделяет не хуже смерти; представьте себе, что между Дантесом и Мерседес выросла тюремная стена; она разлучит их точно так же, как могильный камень.

– Да, но из тюрьмы выходят, – сказал Кадрусс, который, напрягая остатки соображения, цеплялся за разговор, – а когда человек выходит из тюрьмы и когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит.

– Пусть! – прошептал Фернан.

– Притом же, – заметил Кадрусс, – за что сажать Дантеса в тюрьму? Он не украл, не убил, не зарезал...

– Замолчи! – прервал его Данглар.

– Не желаю молчать! – сказал Кадрусс. – Я желаю, чтобы мне сказали, за что сажать Дантеса в тюрьму. Я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!

И он осушил еще стакан вина.

Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза портного и, повернувшись к Фернану, сказал:

– Теперь вы понимаете, что нет нужды убивать его?

– Разумеется, не нужно, если только, как вы говорите, есть средство засадить Дантеса в тюрьму. Но где это средство?

– Если хорошенько поискать, так найдется, – сказал Данглар. – А впрочем, – продолжал он, – чего ради я путаюсь в это дело? Ведь меня оно не касается.

– Не знаю, касается ли оно вас, – вскричал Фернан, хватая его за руку, – но знаю, что у вас есть причины ненавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается и в чужом чувстве.

– У меня причины ненавидеть Дантеса? Никаких, даю вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбудило во мне участие, вот и все. Но если вы думаете, что я стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг, выпутывайтесь из беды, как знаете.

Данглар сделал вид, что хочет встать.

– Нет, останьтесь! – сказал Фернан, удерживая его. – Не все ли мне равно, в конце концов, ненавидите вы Дантеса или нет. Я его ненавижу и не скрываю этого. Найдите средство, и я все исполню; только не смерть, потому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют Дантеса.

Кадрусс, опустивший голову на стол, поднял ее и посмотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана и Данглара.

– Убьют Дантеса! – сказал он. – Кто собирается убить Дантеса? Не желаю, чтобы его убивали. Он мне друг, еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной деньгами, как поделился с ним я. Не желаю, чтобы убивали Дантеса!

– Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак! – прервал Данглар. – Мы просто шутим. Выпей за его здоровье, – продолжал он, наполняя стакан Кадрусса, – и оставь нас в покое.

– Да, да, за здоровье Дантеса! – сказал Кадрусс, выпивая вино. – За его здоровье!.. За его здоровье!.. Вот!..

– Но... средство?... средство? – спрашивал Фернан.

– Так вы еще не нашли его?

– Нет, ведь вы взялись сами...

– Это правда, – сказал Данглар. – У французов перед испанцами то преимущество, что испанцы обдумывают, а французы придумывают.

– Ну так придумайте! – нетерпеливо крикнул Фернан.

– Человек! – крикнул Данглар. – Перо, чернил и бумаги!

– Перо, чернил и бумаги? – пробормотал Фернан.

– Да, я бухгалтер: перо, чернила и бумага – мои орудия, без них я ничего не могу сделать.

– Перо, чернил и бумаги! – крикнул в свою очередь Фернан.

– На том столе, – сказал трактирный слуга, указывая рукой.

– Так подайте сюда.

Слуга взял перо, чернила и бумагу и принес их в беседку.

– Как подумаешь, – сказал Кадрусс, ударяя рукой по бумаге, – что вот этим вернее можно убить человека, чем подкараулив его на опушке леса! Недаром я пера, чернил и бумаги всегда боялся больше, чем шпаги или пистолета.

– Этот шут не так еще пьян, как кажется, – заметил Данглар. – Подлейте ему, Фернан.

Фернан наполнил стакан Кадрусса, и тот, как истый пьяница, отнял руку от бумаги и протянул ее к стакану.

Каталанец дождался, пока Кадрусс, почти сраженный этим новым залпом, не поставил или, вернее, не уронил стакан на стол.

– Итак? – сказал каталанец, видя, что последние остатки рассудка Кадрусса утонули в этом стакане.

– Итак, – продолжал Данглар, – если бы, например, после такого плавания, какое совершил Дантес, заходивший в Неаполь и на остров Эльба, кто-нибудь донес на него королевскому прокурору, что он бонапартистский агент...

– Я донесу! – живо вскричал каталанец.

– Да, но вам придется подписать донос, вас поставят на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется, снабжу вас всем необходимым, чтобы поддерживать обвинение, но Дантес не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь он выйдет оттуда, и тогда горе тому, кто его засадил!

– Мне только и нужно, чтобы он затеял со мною ссору.

– А Мерседес? Мерседес, которая возненавидит вас, если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона!

– Это верно, – сказал Фернан.

– Нет, нет, – продолжал Данглар, – если уж решаться на такой поступок, то лучше всего просто взять перо, вот так, обмакнуть его в чернила и написать левой рукой, чтобы не узнали почерка, маленький доносец следующего содержания.

И Данглар, дополняя наставление примером, написал левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего общего с его обычным почерком, следующий документ, который и передал Фернану.

Фернан прочел вполголоса:

– «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже.

Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».

– Ну вот, – сказал Данглар, – это похоже на дело, потому что такой донос никак не мог бы обернуться против вас самих, и все пошло бы само собой. Оставалось бы только сложить письмо вот так и надписать: «Господину королевскому прокурору». И все было бы кончено. – И Данглар, посмеиваясь, написал адрес.

– Да, все было бы кончено, – закричал Кадрусс, который, собрав последние остатки рассудка, следил за чтением письма и инстинктивно чувствовал, какие страшные последствия мог иметь подобный донос, – да, все было бы кончено, но это было бы подлю!

И он протянул руку, чтобы взять письмо.

– Именно потому, – отвечал Данглар, отодвигая от него письмо, – все, что я говорю, и все, что я делаю, это только шутка, и я первый был бы весьма огорчен, если бы что-нибудь случилось с нашим славным Дантесом. Посмотри!

Он взял письмо, скомкал его и бросил в угол беседки.

– Вот это дело! – сказал Кадрусс. – Дантес – мой друг, и я не хочу, чтобы ему вредили.

– Да кто же думает ему вредить! Уж верно, не я и не Фернан! – сказал Данглар, вставая и поглядывая на каталанца, который искоса поглядывал на бумагу, брошенную в угол.

– В таком случае, – продолжал Кадрусс, – еще вина! Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасной Мерседес.

– Ты и так уж слишком много пил, бражник, – сказал Данглар, – и если еще выпьешь, то тебе придется заночевать здесь, потому что ты не сможешь держаться на ногах.

– Я? – с пьяным хвастовством сказал Кадрусс, поднимаясь. – Я не могу держаться на ногах? Бьюсь об заклад, что взберусь на Аккульскую колокольню и даже не покачнусь.

– Хорошо, – прервал Данглар, – побьемся об заклад, но только завтра. А сегодня пора домой. Дай мне руку, и пойдем.

– Пойдем, – отвечал Кадрусс, – но мне не требуется твоей руки. А ты идешь, Фернан? Идешь с нами в Марсель?

– Нет, – сказал Фернан, – я пойду домой, в Каталаны.

– Напрасно; пойдем с нами в Марсель, пойдем.

– Мне незачем в Марсель, я не хочу туда.

– Как ты сказал? Не хочешь?.. Ну, ладно, как хочешь! Вольному воля... Пойдем, Данглар, а этот господин пусть идет в Каталаны, если ему угодно.

Данглар воспользовался уступчивостью Кадрussa и повел его по марсельской дороге. Но только, чтобы оставить Фернану более короткий и удобный путь, он пошел не вдоль набережной Рив-Нев, а к воротам Сен-Виктор. Кадрусс, шатаясь, следовал за ним, повиснув у него на руке.

Пройдя шагов двадцать, Данглар обернулся и увидел, как Фернан бросился к измятому письму, схватил его и, выскочив из беседки, побежал к городу.

– Что же он делает? – сказал Кадрусс. – Он соврал: сказал, что пойдет в Каталаны, а сам идет в город. Эй, Фернан! Ты не туда идешь, приятель!

– Это у тебя в глазах мутится, – прервал Данглар, – он идет прямо к Старой Больнице.

– Правда? – сказал Кадрусс. – А я бы поклялся, что он свернул направо... Верно говорят, что вино – предатель.

– Дело как будто на мази, – прошептал Данглар, – теперь уж оно пойдет само собой.

V. Обручение

На следующий день утро выдалось теплое и ясное. Солнце встало яркое и сверкающее, и его первые пурпурные лучи расцветили рубинами пенистые гребни волн.

Пир был приготовлен во втором этаже того самого «Резерва», с беседкой которого мы уже знакомы. Это была большая зала, в шесть окон, и над каждым окном (бог весть почему) было начертано имя одного из крупнейших французских городов.

Вдоль этих окон шла галерея, деревянная, как и все здание.

Хотя обед назначен был только в полдень, однако уже с одиннадцати часов по галерее прогуливались нетерпеливые гости. То были моряки с «Фараона» и несколько солдат, приятели Дантеса. Все они из уважения к жениху и невесте нарядились в парадное платье.

Среди гостей пронесся слух, что свадебный пир почтят своим присутствием хозяева «Фараона», но это была такая честь для Дантеса, что никто не решался этому поверить.

Однако Данглар, придя вместе с Кадруссом, в свою очередь подтвердил это известие. Утром он сам видел г-на Морреля, и г-н Моррель сказал ему, что будет обедать в «Резерве».

И в самом деле через несколько минут в залу вошел Моррель. Матросы приветствовали его дружными рукоплесканиями. Присутствие арматора служило для них подтверждением уже распространившегося слуха, что Дантес будет назначен капитаном. Они очень любили Дантеса и выражали благодарность своему хозяину за то, что хоть раз его выбор совпал с их желаниями. Едва г-н Моррель вошел, как, по единодушному требованию, Данглара и Кадрussa послали к жениху с поручением известить его о прибытии арматора, появление которого возбудило всеобщую радость, и сказать ему, чтобы он поторопился.

Данглар и Кадрусс пустились бегом, но не пробежали и ста шагов, как встретили жениха и невесту.

Четыре каталанки, подруги Мерседес, провожали невесту; Эдмон вел ее под руку. Рядом с невестой шел старик Дантес, а сзади Фернан. Злобная улыбка кривила его губы.

Ни Мерседес, ни Эдмон не замечали этой улыбки. Они были так счастливы, что видели только себя и безоблачное небо, которое, казалось, благословляло их.

Данглар и Кадрусс исполнили возложенное на них поручение; потом, крепко и дружески пожав руку Эдмону, заняли свои места – Данглар рядом с Фернаном, а Кадрусс рядом со стариком Дантесом, предметом всеобщего внимания.

Старик надел свой шелковый кафтан с гранеными стальными пуговицами. Его худые, но мускулистые ноги красовались в великолепных бумажных чулках с мушками, которые за версту отдавали английской контрабандой. На треугольной шляпе висел пук белых и голубых

лент. Он опирался на витую палку, загнутую наверху, как античный посох. Словом, он ничем не отличался от щеголей 1796 года, прохаживавшихся во вновь открытых садах Люксембургского и Тюильрийского дворцов.

К нему, как мы уже сказали, присоединился Кадрусс, Кадрусс, которого надежда на хороший обед окончательно примирила с Дантесами, Кадрусс, у которого в уме осталось смутное воспоминание о том, что происходило накануне, как бывает, когда, проснувшись утром, сохраняешь в памяти тень сна, виденного ночью.

Данглар, подойдя к Фернану, пристально взглянул на обиженного поклонника. Фернан, шагая за будущими супругами, совершенно забытый Мерседес, которая в упоении юной любви ничего не видела, кроме своего Эдмона, – то бледнел, то краснел. Время от времени он посматривал в сторону Марселя и при этом всякий раз невольно вздрагивал. Казалось, Фернан ожидал или по крайней мере предвидел какое-то важное событие.

Дантес был одет просто. Служа в торговом флоте, он носил форму, среднюю между военным мундиром и штатским платьем, и его открытое лицо, просветленное радостью, было очень красиво.

Мерседес была хороша, как кипрская или хиосская гречанка, с черными глазами и коралловыми губками. Она шла шагом вольным и свободным, как ходят арлезианки и андалузки. Городская девушка попыталась бы, может быть, скрыть свою радость под вуалью или по крайней мере под бархатом ресниц, но Мерседес улыбалась и смотрела на всех окружавших, и ее улыбка и взгляд говорили так же откровенно, как могли бы сказать уста: «Если вы друзья мне, то радуйтесь со мною, потому что я поистине очень счастлива!»

Когда жених, невеста и провожатые подошли к «Резерву», г-н Моррель пошел к ним навстречу, окруженный матросами и солдатами, которым он повторил обещание, данное Дантесу, что он будет назначен капитаном на место покойного Леклера. Увидав его, Дантес выпустил руку Мерседес и уступил место г-ну Моррелю. Арматор и невеста, подавая пример гостям, взошли по лестнице в столовую, и еще добрых пять минут деревянные ступени скрипели под тяжелыми шагами гостей.

– Батюшка, – сказала Мерседес, остановившись у середины стола, – садитесь по правую руку от меня, прошу вас, а по левую я посажу того, кто заменил мне брата, – прибавила она с лаской в голосе, которая кинжалом ударила Фернана в самое сердце. Губы его посинели, и видно было, как под загорелой кожей вся кровь, приливая к сердцу, отхлынула от лица.

Дантес возле себя посадил г-на Морреля и Данглара: первого по правую, второго по левую сторону; потом сделал знак рукой, приглашая остальных рассаживаться, как им угодно.

Уже путешествовали вокруг стола румяные и пахучие арльские колбасы, лангусты в ослепительных латах, венерки с розоватой раковиной, морские ежи, напоминающие каштаны с их колючей оболочкой, кловиссы, с успехом заменяющие южным гастрономам северные устрицы; словом, все те изысканные лакомства, которые волна выносит на песчаный берег и которые благодарные рыбаки называют общим именем «морские плоды».

– Какая тишина! – сказал старик Дантес, прихлебывая желтое, как топаз, вино, принесенное и поставленное перед Мерседес самим хозяином. – Кто бы сказал, что здесь тридцать человек, которые только и ждут, чтобы побалагурить?

– Жених не всегда бывает весел, – заметил Кадрусс.

– Да, – подхватил Эдмон, – я слишком счастлив, чтобы быть веселым. Если вы это хотели сказать, сосед, то вы совершенно правы. Радость производит иногда странное действие, она гнетет, как печаль.

Данглар взглянул на Фернана, на лице которого отражалось каждое движение его души.

– Полноте! Или вы боитесь чего-нибудь? – спросил он. – Мне, напротив, кажется, что все ваши желания исполняются.

– Это-то и пугает меня, – отвечал Дантес. – Мне кажется, что человек не создан для такого легкого счастья! Счастье похоже на сказочные дворцы, двери которых стерегут драконы. Надобно бороться, чтобы овладеть ими, а я, право, не знаю, чем я заслужил счастье быть мужем Мерседес.

– Мужем!.. – сказал Кадрусс со смехом. – Нет еще, капитан; попробуй-ка разыгрывать мужа, так увидишь, как тебя примут.

Мерседес покраснела.

Фернан ерзал на стуле, вздрагивал при малейшем шуме и то и дело отирал пот, который выступал на его лбу, словно первые капли грозового дождя.

– Не стоит спорить из-за мелочей, сосед, – отвечал Эдмон Кадруссу, – Мерседес еще не жена мне, это верно... – Он посмотрел на часы. – Но через полтора часа она ею будет!

Все вскрикнули от удивления, кроме старика Дантеса, который широко осклабился, показывая еще крепкие зубы. Мерседес улыбнулась, но уже не покраснела. Фернан судорожно схватился за ручку своего ножа.

– Через полтора часа! – сказал Данглар, тоже побледнев. – Как так?

– Да, друзья мои, – отвечал Дантес, – благодаря содействию господина Морреля, которому, после моего отца, я обязан больше всех на свете, все препятствия устранены. Мы сделали денежный взнос, чтобы обойтись без оглашения, и в половине третьего марсельский мэр ждет нас в ратуше. А так как уже пробило четверть второго, то едва ли я очень ошибусь, если скажу, что через час и тридцать минут Мерседес будет называться госпожой Дантес.

Фернан закрыл глаза: огненный туман обжег ему веки; он облокотился на стол, чтобы не упасть, и, несмотря на все свои усилия, не мог удержать стона, который потонул в хохоте и шумных возгласах гостей.

– Вот это дело – как вы находите? – сказал старик Дантес. – Это называется не терять времени! Вчера утром приехал. Сегодня в три часа женат! Только моряки так умеют!

– Но разные формальности, – нерешительно вставил Данглар, – контракт, бумаги?..

– Контракт! – сказал Дантес смеясь. – Контракт готов. У Мерседес ничего нет, у меня тоже! Все у нас общее... Это недолго было написать, да и стоит недорого.

Эта шутка вызвала новый взрыв хохота и рукоплесканий.

– Значит, мы присутствуем не на обручении, – сказал Данглар, – а попросту на свадьбе.

– Нет, – возразил Эдмон, – вы ничего не потеряете, будьте спокойны. Завтра утром я еду в Париж. Четыре дня туда, четыре дня обратно, один день на выполнение данного мне поручения, и девятого марта я буду здесь, а десятого числа будет настоящий свадебный пир.

Надежда на новое пиршество удвоила общую веселость, так что старик Дантес, который в начале обеда жаловался на тишину, теперь среди общего шума тщетно пытался предложить тост за счастье будущих супругов.

Дантес угадал мысль отца и отвечал ему улыбкой, полной любви. Мерседес посмотрела на стенные часы и кивнула Эдмону.

За столом царило то шумное и непринужденное веселье, которое всегда сопровождает конец обеда у простых людей. Недовольные своими местами встали из-за стола и подсели к другим, более приятным собеседникам. Все говорили зараз, никто не отвечал на вопросы, каждый был занят только своими собственными мыслями.

Данглар был почти так же бледен, как Фернан; что же касается последнего, то он еле дышал и казался грешником, погруженным в огненное озеро. Он встал одним из первых и прохаживался по зале, напрягая слух среди гула голосов и стука стаканов.

Кадрусс подошел к Фернану, и тотчас же к ним присоединился Данглар, которого Фернан, казалось, избегал.

– Что верно, то верно, – сказал Кадрусс, в котором радушие Эдмона и доброе вино старика Памфила окончательно заглушили зависть, зародившуюся в его душе при виде неожи-

данного счастья Дантеса. – Дантес – славный малый; гляжу я на него, как он сидит со своей невестой, и думаю: нехорошо было бы сыграть с ним ту скверную штуку, которую вы вчера задумали.

– Да ведь ты видел, что мы не дали ей ходу, – сказал Данглар. – Бедный Фернан был в таком отчаянии, что сначала мне стало жаль его; но раз он примирился со своим горем, даже согласился быть шафером у своего соперника, так и говорить больше нечего.

Кадрусс взглянул на Фернана. Тот был мертвенно бледен.

– Жертва тем более велика, что невеста в самом деле красавица, – продолжал Данглар. – Черт возьми! Мой будущий капитан – счастливчик! Хотел бы я зваться Дантесом хоть один денек.

– Идем? – раздался нежный голос Мерседес. – Вот уже бьет два часа, а нас ждут в четверть третьего.

– Да, да, идем, – сказал Дантес, быстро вставая.

– Идем! – хором подхватили гости.

В ту же минуту Данглар, который пристально следил за Фернаном, сидевшим на подоконнике, увидел, что тот дико вытаращил глаза, привскочил и снова сел на подоконник. Снаружи донесся неясный шум; стук тяжелых шагов, невнятные голоса и бряцание оружия заглушили веселый говор гостей, который сразу сменился тревожным молчанием.

Шум приближался; в дверь три раза ударили. Гости с изумлением переглянулись.

– Именем закона! – раздался громкий голос; никто не ответил.

Тотчас дверь отворилась, и полицейский комиссар, опоясанный шарфом, вошел в залу в сопровождении четырех вооруженных солдат и капрала.

Тревога сменилась ужасом.

– В чем дело? – спросил арматор, подходя к комиссару, с которым был знаком. – Это, наверно, недоразумение.

– Если это недоразумение, господин Моррель, – отвечал комиссар, – то можете быть уверены, что оно быстро разъяснится, а пока у меня есть приказ об аресте, и хоть я с сожалением исполняю этот долг, я все же должен его исполнить. Кто из вас, господа, Эдмон Дантес?

Все взгляды обратились на Эдмона, который в сильном волнении, но сохраняя достоинство, выступил вперед и сказал:

– Я. Что вам угодно?

– Эдмон Дантес, – сказал комиссар, – именем закона я вас арестую!

– Арестуете? – переспросил Эдмон, слегка побледнев. – За что вы меня арестуете?

– Не знаю, но на первом допросе вы все узнаете.

Моррель понял, что делать нечего: комиссар, опоясанный шарфом, – не человек; это статуя, воплощающая закон, холодная, глухая, безмолвная.

Но старик Дантес бросился к комиссару; есть вещи, которые сердце отца или матери понять не может. Он просил, умолял. Слезы и мольбы были напрасны. Но отчаяние его было так велико, что комиссар почувствовал сострадание.

– Успокойтесь, сударь! – сказал он. – Может быть, ваш сын не исполнил каких-нибудь карантинных или таможенных предписаний, и, когда он даст нужные разъяснения, его, вероятно, тотчас же освободят.

– Что это значит? – спросил, нахмутив брови, Кадрусс у Данглара, который притворялся удивленным.

– Я почему знаю! – отвечал Данглар. – Я, как и ты, вижу, что делается, ничего не понимаю и дивлюсь.

Кадрусс искал глазами Фернана, но тот исчез.

Тогда вся вчерашняя сцена представилась ему с ужасающей ясностью: разыгравшаяся трагедия словно сдернула покров, который вчерашнее опьянение набросило на его память.

– Уж не последствия ли это шутки, о которой вы говорили вчера? – сказал он хрипло. – В таком случае горе тому, кто ее затеял, – в ней веселого мало.

– Да нет же! – воскликнул Данглар. – Ведь ты знаешь, что я разорвал записку.

– Ты не разорвал ее, – сказал Кадрусс, – а бросил в угол, только и всего.

– Молчи, ты ничего не видел, ты был пьян.

– Где Фернан? – спросил Кадрусс.

– Почему я знаю? – отвечал Данглар. – Верно, ушел по своим делам. Но чем заниматься пустяками, пойдем лучше поможем несчастному старику.

Дантес уже успел с улыбкой подать руки всем своим друзьям и отдался в руки солдат.

– Будьте спокойны, ошибка объяснится, и, вероятно, я даже не дойду до тюрьмы, – сказал он.

– О, разумеется, я готов поручиться! – подхватил подошедший Данглар.

Дантес спустился с лестницы. Впереди него шел комиссар, по бокам – солдаты. Карета с раскрытой дверцей ждала у порога. Дантес сел, с ним сели комиссар и два солдата. Дверца захлопнулась, и карета покатилась в Марсель.

– Прощай, Дантес! Прощай, Эдмон! – закричала Мерседес, выбегая на галерею.

Узник услышал этот последний крик, вырвавшийся, словно рыдание, из растерзанного сердца его невесты, выглянул в окно кареты, крикнул: «До свидания, Мерседес!» – и исчез за углом форта Св. Николая.

– Подождите меня здесь, – сказал арматор, – я сяду в первую карету, какая мне встретится, съезжу в Марсель и вернусь к вам с известиями.

– Поезжайте, – закричали все в один голос, – поезжайте и возвращайтесь поскорее!

После этого двойного отъезда среди оставшихся несколько минут царил мрачный уныние.

Отец Эдмона и Мерседес долго стояли врозь, погруженные каждый в свою скорбь; наконец глаза их встретились. Оба почувствовали, что они две жертвы, пораженные одним и тем же ударом, и бросились друг другу в объятия.

В это время в залу воротился Фернан, налил себе стакан воды, выпил и сел на стул.

Случайно на соседний стул опустилась Мерседес.

Фернан невольно отодвинул свой стул.

– Это он! – сказал Данглару Кадрусс, не спускавший глаз с каталанца.

– Не думаю, – отвечал Данглар, – он слишком глуп; во всяком случае, грех на том, кто это сделал.

– Ты забываешь о том, кто ему посоветовал, – сказал Кадрусс.

– Ну, знаешь! – ответил Данглар. – Если бы пришлось отвечать за все то, что говоришь на ветер!

– Должен отвечать, когда то, что говоришь на ветер, падает другому на голову!

Между тем гости на все лады истолковывали арест Дантеса.

– А вы, Данглар, – спросил чей-то голос, – что думаете об этом?

– Я думаю, – отвечал Данглар, – не провез ли он каких-нибудь запрещенных товаров.

– Но вы, Данглар, как бухгалтер, должны были бы знать об этом.

– Да, конечно, но бухгалтер знает только то, что ему предъявляют. Я знаю, что мы привезли хлопчатую бумагу, вот и все; что мы взяли груз в Александрии у Пастре и в Смирне у Паскаля; больше у меня ничего не спрашивайте.

– О! Теперь я вспоминаю, – прошептал несчастный отец, цепляясь за последнюю надежду. – Он говорил мне вчера, что привез для меня ящик кофе и ящик табаку.

– Вот видите, – сказал Данглар, – так и есть! В наше отсутствие таможенники обыскали «Фараон» и нашли контрабанду.

Мерседес этому не верила. Долго сдерживаемое горе вдруг вырвалось наружу, и она разразилась рыданиями.

– Полно, полно, будем надеяться, – сказал старик, сам не зная, что говорит.

– Будем надеяться! – повторил Данглар.

«Будем надеяться!» – хотел сказать Фернан, но слова застряли у него в горле, только губы беззвучно шевелились.

– Господа! – закричал один из гостей, стороживший на галерее. – Господа, карета! Моррель! Он, наверное, везет нам хорошие вести!

Мерседес и старик отец бросились навстречу арматору. Они столкнулись в дверях. Моррель был очень бледен.

– Ну что? – спросили они в один голос.

– Друзья мои! – отвечал арматор, качая головой. – Дело оказалось гораздо серьезнее, чем мы думали.

– О, господин Моррель! – вскричала Мерседес. – Он невиновен!

– Я в этом убежден, – отвечал Моррель, – но его обвиняют...

– В чем же? – спросил старик Дантес.

– В том, что он бонапартистский агент.

Те из читателей, которые жили в эпоху, к которой относится мой рассказ, помнят, какое это было страшное обвинение.

Мерседес вскрикнула; старик упал на стул.

– Все-таки, – прошептал Кадрусс, – вы меня обманули, Данглар, и шутка сыграна; но я не хочу, чтобы бедный старик и невеста умерли с горя, я сейчас же расскажу им все.

– Молчи, несчастный! – крикнул Данглар, хватая его за руку. – Молчи, если тебе дорога жизнь. Кто тебе сказал, что Дантес не виновен? Корабль заходил на остров Эльба, Дантес сходил на берег, пробыл целый день в Порто-Феррайо. Что, если при нем найдут какое-нибудь уликающее письмо? Тогда всех, кто за него заступится, обвинят в сообщничестве.

Кадрусс, с присущим эгоизму чутьем, сразу понял всю вескость этих доводов; он посмотрел на Данглара растерянным взглядом и, вместо того чтобы сделать шаг вперед, отскочил на два шага назад.

– Если так, подождем, – прошептал он.

– Да, подождем, – сказал Данглар. – Если он невиновен, его освободят; если виновен, то не стоит подвергать себя опасности ради заговорщика.

– Тогда уйдем, я больше не в силах оставаться здесь.

– Пожалуй, пойдем, – сказал Данглар, обрадовавшись, что ему есть с кем уйти. – Пойдем, и пусть они делают как знают...

Все разошлись. Фернан, оставшись опять единственной опорой Мерседес, взял ее за руку и отвел в Каталаны. Друзья Дантеса, со своей стороны, отвели домой, на Мельянские аллеи, обессиленного старика.

Вскоре слух об аресте Дантеса как бонапартистского агента разнесся по всему городу.

– Кто бы мог подумать, Данглар? – сказал Моррель, нагнав своего бухгалтера и Кадрусса. Он спешил в город за новостями о Дантесе, надеясь на свое знакомство с помощником королевского прокурора, г-ном де Вильфор. – Кто бы мог подумать?

– Что вы хотите, сударь, – отвечал Данглар. – Я же говорил вам, что Дантес без всякой причины останавливался у острова Эльба; эта остановка показалась мне подозрительной.

– А вы рассказывали о ваших подозрениях кому-нибудь, кроме меня?

– Как можно, – прибавил Данглар вполголоса. – Вы сами знаете, что из-за вашего дядюшки, господина Поликара Морреля, который служил при *том* и не скрывает своих мыслей, и вас подозревают, что вы жалеете о Наполеоне... Я побоялся бы повредить Эдмону,

а также и вам. Есть вещи, которые подчиненный обязан сообщать своему хозяину и строго хранить в тайне от всех других.

– Правильно, Данглар, правильно, вы честный малый! Зато я уже позаботился о вас на случай, если бы этот бедный Дантес занял место капитана на «Фараоне».

– Как так?

– Да, я заранее спросил Дантеса, что он думает о вас и согласен ли оставить вас на прежнем месте; не знаю почему, но мне казалось, что между вами холодок.

– И что же он вам ответил?

– Что был такой случай, – он не сказал, какой именно, – когда он действительно в чем-то провинился перед вами, но что он всегда готов доверять тому, кому доверяет его арматор.

– Притворщик! – прошептал Данглар.

– Бедный Дантес! – сказал Кадрусс. – Он был такой славный!

– Да, но пока что «Фараон» без капитана, – сказал Моррель.

– Раз мы выйдем в море не раньше чем через три месяца, – сказал Данглар, – то можно надеяться, что за это время Эдмона освободят.

– Конечно, но до тех пор?

– А до тех пор, господин Моррель, я к вашим услугам, – сказал Данглар. – Вы знаете, что я умею управлять кораблем не хуже любого капитана дальнего плавания; вам даже выгодно будет взять меня, потому что, когда Эдмон выйдет из тюрьмы, вам некого будет и благодарить. Он займет свое место, а я – свое, только и всего.

– Благодарю вас, Данглар, – сказал арматор, – это действительно выход. Итак, примите командование, я вас уполномочиваю, и наблюдайте за разгрузкой, дело не должно страдать, какое бы несчастье ни постигало отдельных людей.

– Будьте спокойны, господин Моррель; но нельзя ли будет хоть навестить бедного Эдмона?

– Я это сейчас узнаю; я попытаюсь увидаться с господином де Вильфор и замолвить ему словечко за арестованного. Знаю, что он отъявленный роялист, но хоть он роялист и королевский прокурор, однако ж все-таки человек, и притом, кажется, не злой.

– Нет, не злой, но я слышал, что он честолюбив, а это почти одно и то же.

– Словом, увидим, – сказал Моррель со вздохом. – Ступайте на борт, я скоро буду.

И он направился к зданию суда.

– Видишь, какой оборот принимает дело? – сказал Данглар Кадруссу. – Тебе все еще охота заступаться за Дантеса?

– Разумеется, нет, но все-таки ужасно, что шутка могла иметь такие последствия.

– Кто шутил? Не ты и не я, а Фернан. Ты же знаешь, что я бросил записку; кажется, даже разорвал ее.

– Нет, нет! – вскричал Кадрусс. – Я как сейчас вижу ее в углу беседки, измятую, скомканную, и очень желал бы, чтобы она была там, где я ее вижу!

– Что ж делать? Верно, Фернан поднял ее, переписал или велел переписать, а то, может быть, даже и не взял на себя этого труда... Боже мой! Что, если он послал мою же записку! Хорошо, что я изменил почерк.

– Так ты знал, что Дантес – заговорщик?

– Я ровно ничего не знал. Я тебе уже говорил, что хотел пошутить, и только. По-видимому, я, как арлекин, шутя, сказал правду.

– Все равно, – продолжал Кадрусс, – я дорого бы дал, чтобы всего этого не было или по крайней мере чтобы я не был в это дело замешан. Ты увидишь, оно принесет нам несчастье, Данглар.

– Если оно должно принести кому-нибудь несчастье, так только настоящему виновнику, а настоящий виновник – Фернан, а не мы. Какое несчастье может случиться с нами? Нам нужно только сидеть спокойно, ни слова не говорить, и гроза пройдет без грома.

– Аминь, – сказал Кадрусс, кивнув Данглару, и направился к Мельянским аллеям, качая головой и бормоча себе под нос, как делают сильно озабоченные люди.

«Так, – подумал Данглар, – дело принимает оборот, какой я предвидел; вот я капитан, пока на время, а если этот дурак Кадрусс сумеет молчать, то и навсегда. Остается только тот случай, если правосудие выпустит Дантеса из своих когтей... Но правосудие есть правосудие, – улыбнулся он, – я вполне на него могу положиться».

Он прыгнул в лодку и велел грести к «Фараону», где арматор, как мы помним, назначил ему свидание.

VI. Помощник королевского прокурора

В тот же самый день, в тот же самый час, на улице Гран-Кур, против фонтана Медуз, в одном из старых аристократических домов, выстроенных архитектором Пюже, тоже праздновали обручение.

Но герои этого празднества были не простые люди, не матросы и солдаты, они принадлежали к высшему марсельскому обществу. Это были старые сановники, вышедшие в отставку при узурпаторе; военные, бежавшие из французской армии в армию Конде; молодые люди, которых родители, – все еще не уверенные в их безопасности, хотя уже поставили за них по четыре или по пять рекрутов, – воспитали в ненависти к тому, кого пять лет изгнания должны были превратить в мученика, а пятнадцать лет Реставрации – в бога.

Все сидели за столом, и разговор кипел всеми страстями того времени, страстями особенно неистовыми и ожесточенными, потому что на юге Франции уже пятьсот лет политическая вражда усугубляется враждой религиозной.

Император, ставший королем острова Эльба, после того как он был властителем целого материка, и правящий населением в пять-шесть тысяч душ, после того как сто двадцать миллионов подданных на десяти языках кричали ему: «Да здравствует Наполеон!» – казался всем участникам пира человеком, навсегда потерянным для Франции и престола. Сановники вспоминали его политические ошибки, военные рассуждали о Москве и Лейпциге, женщины – о разводе с Жозефиной. Этому роялистскому сборищу, которое радовалось – не падению человека, а уничтожению принципа, – казалось, что для него начинается новая жизнь, что оно очнулось от мучительного кошмара.

Осанистый старик, с орденом св. Людовика на груди, встал и предложил своим гостям выпить за короля Людовика XVIII. То был маркиз де Сен-Меран.

Этот тост в честь гартвельского изгнанника и короля – умиротворителя Франции был встречен громкими кликами; по английскому обычаю, все подняли бокалы; женщины откололи свои букеты и усеяли ими скатерть. В этом едином порыве была почти поэзия.

– Они признали бы, – сказала маркиза де Сен-Меран, женщина с сухим взглядом, тонкими губами, аристократическими манерами, еще изящная, несмотря на свои пятьдесят лет, – они признали бы, будь они здесь, все эти революционеры, которые нас выгнали и которым мы даем спокойно злоумышлять против нас в наших старинных замках, купленных ими за кусок хлеба во времена Террора, – они признали бы, что истинное самоотвержение было на нашей стороне, потому что мы остались верны рушившейся монархии, а они, напротив, приветствовали восходившее солнце и наживали состояния, в то время как мы разорялись. Они признали бы, что наш король поистине был Людовик Возлюбленный, а их узурпатор всегда оставался Наполеоном Проклятым; правда, де Вильфор?

– Что прикажете, маркиза?... Простите, я не слушал.

– Оставьте детей, маркиза, – сказал старик, предложивший тост. – Сегодня их помолвка, и им, конечно, не до политики.

– Простите, мама, – сказала молодая и красивая девушка, белокурая, с бархатными глазами, подернутыми влагой, – это я завладела господином де Вильфор. Господин де Вильфор, мама хочет говорить с вами.

– Я готов отвечать маркизе, если ей будет угодно повторить вопрос, которого я не слышал, – сказал г-н де Вильфор.

– Я прощаю тебе, Рене, – сказала маркиза с нежной улыбкой, которую странно было видеть на этом холодном лице; но сердце женщины так уж создано, что, как бы ни было оно иссушено предрассудками и требованиями этикета, в нем всегда остается плодоносный и живой уголок – тот, в который бог заключил материнскую любовь. – Я говорила, Вильфор, что у бонапартистов нет ни нашей веры, ни нашей преданности, ни нашего самоотвержения.

– Сударыня, у них есть одно качество, заменяющее все наши, – это фанатизм. Наполеон – Магомет Запада; для всех этих людей низкого происхождения, но необыкновенно честолюбивых он не только законодатель и владыка, но еще символ – символ равенства.

– Равенства! – воскликнула маркиза. – Наполеон – символ равенства? А что же тогда господин де Робеспьер? Мне кажется, вы похищаете его место и отдаете корсиканцу; казалось бы, довольно и одной узурпации.

– Нет, сударыня, – возразил Вильфор, – я оставляю каждого на его пьедестале: Робеспьера – на площади Людовика Пятнадцатого, на эшафоте; Наполеона – на Вандомской площади, на его колонне. Но только один вводил равенство, которое принижает, а другой – равенство, которое возвышает; один низвел королей до уровня гильотины, другой возвысил народ до уровня трона. Это не мешает тому, – прибавил Вильфор, смеясь, – что оба они – гнусные революционеры и что девятое термидора и четвертое апреля тысяча восемьсот сорок четырех года – два счастливых дня для Франции, которые одинаково должны праздновать друзья порядка и монархии; но этим объясняется также, почему Наполеон, даже поверженный – и, надеюсь, навсегда, – сохранил ревностных сторонников. Что вы хотите, маркиза? Кромвель был только половиной Наполеона, а и то имел их!

– Знаете, Вильфор, все это за версту отдает революцией. Но я вам прощаю, – ведь нельзя же быть сыном жирондиста и не сохранить революционный душок.

Краска выступила на лице Вильфора.

– Мой отец был жирондист, это правда; но мой отец не голосовал за смерть короля; он подвергался гонениям в дни Террора, как и вы, и чуть не сложил голову на том самом эшафоте, на котором скатилась голова вашего отца.

– Да, – отвечала маркиза, на лице которой ничем не отразилось это кровавое воспоминание, – только они вззошли бы на эшафот ради диаметрально противоположных принципов, и вот вам доказательство: все наше семейство сохранило верность изгнанным Бурбонам, а ваш отец тотчас же примкнул к новому правительству; гражданин Нуартье был жирондистом, а граф Нуартье стал сенатором.

– Мама, – сказала Рене, – вы помните наше условие: никогда не возвращаться к этим мрачным воспоминаниям.

– Сударыня, – сказал Вильфор, – я присоединяюсь к мадемуазель де Сен-Меран и вместе с нею покорнейше прошу вас забыть о прошлом. К чему осуждать то, перед чем даже божья воля бессильна? Бог властен преобразить будущее; в прошлом он ничего не может изменить. Мы можем если не отречься от прошлого, то хотя бы набросить на него покров. Я, например, отказался не только от убеждений моего отца, но даже от его имени. Отец мой был или, может статься, и теперь еще бонапартист и зовется Нуартье; я – роялист и зовусь де Вильфор. Пусть высыхают в старом дубе революционные соки; вы смотрите только на ветвь, которая отделилась от него и не может, да, пожалуй, и не хочет оторваться от него совсем.

– Браво, Вильфор! – вскричал маркиз. – Браво! Хорошо сказано! Я тоже всегда убеждал маркизу забыть о прошлом, но без успеха; вы будете счастливее, надеюсь.

– Хорошо, – сказала маркиза, – забудем о прошлом, я сама этого хочу; но зато Вильфор должен быть непреклонен в будущем. Не забудьте, Вильфор, что мы поручились за вас перед его величеством, что его величество согласился забыть, по нашему ручательству (она протянула ему руку), как и я забываю, по вашей просьбе. Но если вам попадет в руки какой-нибудь заговорщик, помните: за вами тем строже следят, что вы принадлежите к семье, которая, быть может, сама находится в сношениях с заговорщиками.

– Увы, сударыня, – отвечал Вильфор, – моя должность и особенно время, в которое мы живем, обязывают меня быть строгим. И я буду строг. Мне уже несколько раз случалось поддерживать обвинение по политическим делам, и в этом отношении я хорошо себя зарекомендовал. К сожалению, это еще не конец.

– Вы думаете? – спросила маркиза.

– Я этого опасюсь. Остров Эльба – слишком близок к Франции. Присутствие Наполеона почти в виду наших берегов поддерживает надежду в его сторонниках. Марсель кишит военными, состоящими на половинном жалованье; они беспрестанно ищут повода для ссоры с роялистами. Отсюда – дуэли между светскими людьми, а среди простонародья – поножовщина.

– Да, – сказал граф де Сальвьё, старый друг маркиза де Сен-Меран и камергер графа д'Артуа. – Но вы разве не знаете, что Священный Союз хочет переселить его?

– Да, об этом шла речь, когда мы уезжали из Парижа, – отвечал маркиз. – Но куда же его пошлют?

– На Святую Елену.

– На Святую Елену! Что это такое? – спросила маркиза.

– Остров, в двух тысячах миль отсюда, по ту сторону экватора, – отвечал граф.

– В добрый час! Вильфор прав, безумие оставлять такого человека между Корсикой, где он родился, Неаполем, где еще царствует его зять, и Италией, из которой он хотел сделать королевство для своего сына.

– К сожалению, – сказал Вильфор, – имеются договоры тысяча восемьсот четырнадцатого года, и нельзя тронуть Наполеона, не нарушив этих договоров.

– Так их нарушат! – сказал граф де Сальвьё. – Он не был особенно щепетилен, когда приказал расстрелять несчастного герцога Энгиенского.

– Отлично, – сказала маркиза, – решено: Священный Союз избавит Европу от Наполеона, а Вильфор избавит Марсель от его сторонников. Либо король царствует, либо нет; если он царствует, его правительство должно быть сильно и его исполнители – непоколебимы; только таким образом можно предотвратить зло.

– К сожалению, сударыня, – сказал Вильфор с улыбкой, – помощник королевского прокурора всегда видит зло, когда оно уже совершилось.

– Так он должен его исправить.

– Я мог бы сказать, сударыня, что мы не исправляем зло, а мстим за него, и только.

– Ах, господин де Вильфор, – сказала молоденькая и хорошенькая девица, дочь графа де Сальвьё, подруга мадемуазель де Сен-Меран, – постарайтесь устроить какой-нибудь интересный процесс, пока мы еще в Марселе. Я никогда не видала суда присяжных, а это, говорят, очень любопытно.

– Да, в самом деле, очень любопытно, – отвечал помощник королевского прокурора. – Это уже не искусственная трагедия, а подлинная драма; не притворные страдания, а страдания настоящие. Человек, которого вы видите, по окончании спектакля идет не домой, ужинать со своим семейством и спокойно лечь спать, чтобы завтра начать сначала, а в тюрьму, где его ждет палач. Так что для нервных особ, ищущих сильных ощущений, не может быть лучшего зрелища. Будьте спокойны – если случай представится, я не премину воспользоваться им.

– От его слов нас бросает в дрожь... а он смеется! – сказала Рене, побледнев.

– Что прикажете?... Это поединок... Я уже пять или шесть раз требовал смертной казни для подсудимых, политических и других... Кто знает, сколько сейчас во тьме точится кинжалов или сколько их уже обращено на меня!

– Боже мой! – вскричала Рене. – Неужели вы говорите серьезно, господин де Вильфор?

– Совершенно серьезно, – отвечал Вильфор с улыбкой. – И от этих занимательных процессов, которых графиня жаждет из любопытства, а я из честолюбия, опасность для меня только усилится. Разве эти наполеоновские солдаты, привыкшие слепо идти на врага, рассуждают, когда надо выпустить пулю или ударить штыком? Неужели у них дрогнет рука убить человека, которого они считают своим личным врагом, когда они, не задумываясь, убивают русского, австрийца или венгерца, которого они и в глаза не видали? К тому же опасность необходима; иначе наше ремесло не имело бы оправдания. Я сам воспаляюсь, когда вижу в глазах обвиняемого вспышку ярости: это придает мне силы. Тут уже не тяжба, а битва; я борюсь с ним, он защищается, я наношу новый удар, и битва кончается, как всякая битва, победой или поражением. Вот что значит выступать в суде! Опасность порождает красноречие. Если бы обвиняемый улыбнулся мне после моей речи, то я решил бы, что говорил плохо, что слова мои были бледны, слабы, невыразительны. Представьте себе, какая гордость наполняет душу прокурора, убежденного в виновности подсудимого, когда он видит, что преступник бледнеет и склоняет голову под тяжестью улик и под разящими ударами его красноречия! Голова преступника склоняется и падает!

Рене тихо вскрикнула.

– Как говорит! – заметил один из гостей.

– Вот такие люди и нужны в наше время, – сказал другой.

– В последнем процессе, – подхватил третий, – вы были великолепны, Вильфор. Помните – негодяй, который зарезал своего отца? Вы буквально убили его, прежде чем до него дотронулся палач.

– О, отцеубийцы – этих мне не жаль. Для таких людей нет достаточно тяжкого наказания, – сказала Рене. – Но несчастные политические преступники...

– Они еще хуже, Рене, потому что король – отец народа, и хотеть свергнуть или убить короля – значит хотеть убить отца тридцати двух миллионов людей.

– Все равно, господин де Вильфор, – сказала Рене. – Обещайте мне, что будете снисходительны к тем, за кого я буду просить вас...

– Будьте спокойны, – отвечал Вильфор с очаровательной улыбкой, – мы будем вместе писать обвинительные акты.

– Дорогая моя, – сказала маркиза, – занимайтесь своими колибри, собачками и тряпками и предоставьте вашему будущему мужу делать свое дело. Теперь оружие отдыхает и тога в почете; об этом есть прекрасное латинское изречение.

– *Cedant arma togae*³, – сказал Вильфор.

– Я не решилась сказать по-латыни, – отвечала маркиза.

– Мне кажется, что мне было бы приятнее видеть вас врачом, – продолжала Рене. – Карающий ангел, хоть он и ангел, всегда страшил меня.

– Добрая моя Рене! – прошептал Вильфор, бросив на молодую девушку взгляд, полный любви.

– Господин де Вильфор, – сказал маркиз, – будет нравственным и политическим врачом нашей провинции; поверь мне, дочка, это почетная роль.

– И это поможет забыть роль, которую играл его отец, – вставила неисправимая маркиза.

³ Оружие да уступит тоге (лат.).

– Сударыня, – отвечал Вильфор с грустной улыбкой, – я уже имел честь докладывать вам, что отец мой, как я по крайней мере надеюсь, отрекся от своих былых заблуждений, что он стал ревностным другом религии и порядка, лучшим роялистом, чем я, ибо он роялист по раскаянию, а я – только по страсти.

И Вильфор окинул взглядом присутствующих, как он это делал в суде после какой-нибудь великолепной тирады, проверяя действие своего красноречия на публику.

– Правильно, Вильфор, – сказал граф де Сальвьё, – эти же слова я сказал третьего дня в Тюильри министру двора, который выразил удивление по поводу брака между сыном жирондиста и дочерью офицера, служившего в армии Конде, и министр отлично понял меня. Сам король покровительствует этому способу объединения. Мы и не подозревали, что он слушает нас, а он вдруг вмешался в разговор и говорит: «Вильфор (заметьте, король не сказал Нуартье, а подчеркнул имя Вильфор), Вильфор, – сказал король, – пойдет далеко; это молодой человек уже вполне сложившийся и принадлежит к моему миру. Я с удовольствием узнал, что маркиз и маркиза де Сен-Меран выдают за него свою дочь, и я сам посоветовал бы им этот брак, если бы они не явились первые ко мне просить позволения».

– Король это сказал, граф? – воскликнул восхищенный Вильфор.

– Передаю вам собственные его слова; и если маркиз захочет быть откровенным, то признается, что эти же слова король сказал ему самому, когда он, полгода назад, сообщил королю о своем намерении выдать за вас свою дочь.

– Это верно, – подтвердил маркиз.

– Так, значит, я всем обязан королю! Чего я не сделаю, чтобы послужить ему!

– Таким вы мне нравитесь, – сказала маркиза. – Пусть теперь явится заговорщик – добро пожаловать!

– А я, мама, – сказала Рене – молю бога, чтобы он вас не услышал и чтобы он посылал господину де Вильфор только мелких воришек, беспомощных банкротов и робких жуликов; тогда я буду спать спокойно.

– Это все равно что желать врачу одних мигреней, веснушек, осиных укусов и тому подобное, – сказал Вильфор со смехом. – Если вы хотите видеть меня королевским прокурором, пожелайте мне, напротив, страшных болезней, исцеление которых делает честь врачу.

В эту минуту, словно судьба только и ждала пожелания Вильфора, вошел лакей и сказал ему несколько слов на ухо.

Вильфор, извинившись, вышел из-за стола и воротился через несколько минут с довольной улыбкой на губах.

Рене посмотрела на своего жениха с восхищением: его голубые глаза сверкали на бледном лице, окаймленном черными бакенбардами; в эту минуту он и в самом деле был очень красив. Рене с нетерпением ждала, чтобы он объяснил причину своего внезапного исчезновения.

– Вы только что выразили желание иметь мужем доктора, – сказал Вильфор, – так вот у меня с учениками Эскулапа (так еще говорили в тысяча восемьсот пятнадцатом году) есть некоторое сходство: я не могу располагать своим временем. Меня нашли даже здесь, подле вас, в день нашего обручения.

– А почему вас вызвали? – спросила молодая девушка с легким беспокойством.

– Увы, из-за больного, который, если верить тому, что мне сообщили, очень плох. Случай весьма серьезный, и болезнь грозит эшафотом.

– Боже! – вскричала Рене, побледнев.

– Что вы говорите! – воскликнули гости в один голос.

– По-видимому, речь идет не более и не менее как о бонапартистском заговоре.

– Неужели! – вскричала маркиза.

– Вот что сказано в доносе.

И Вильфор прочел:

– «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже.

Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».

– Позвольте, – сказала Рене, – это письмо не подписано и адресовано не вам, а королевскому прокурору.

– Да, но королевский прокурор в отлучке; письмо подали его секретарю, которому поручено распечатывать почту; он вскрыл это письмо, послал за мной и, не застав меня дома, сам отдал приказ об аресте.

– Так виновный арестован? – спросила маркиза.

– То есть обвиняемый, – поправила Рене.

– Да, арестован, – отвечал Вильфор, – и, как я уже говорил мадемуазель Рене, если у него найдут письмо, то мой пациент опасно болен.

– А где этот несчастный? – спросила Рене.

– Ждет у меня.

– Ступайте, друг мой, – сказал маркиз, – не пренебрегайте вашими обязанностями. Королевская служба требует вашего личного присутствия; ступайте же, куда вас призывает королевская служба.

– Ах, господин де Вильфор! – воскликнула Рене, умоляюще сложив руки. – Будьте снисходительны, сегодня день нашего обручения.

Вильфор обошел вокруг стола и, облокотившись на спинку стула, на котором сидела его невеста, сказал:

– Ради вашего спокойствия обещаю вам сделать все, что можно. Но если улики бесспорны, если обвинение справедливо, придется скосить эту бонапартистскую сорную траву.

Рене вздрогнула при слове «скосить», ибо у этой сорной травы, как выразился Вильфор, была голова.

– Не слушайте ее, Вильфор, – сказала маркиза, – это ребячество; она привыкнет.

И маркиза протянула Вильфору свою сухую руку, которую он поцеловал, глядя на Рене; глаза его говорили: «Я целую вашу руку или по крайней мере хотел бы поцеловать».

– Печальное предзнаменование! – прошептала Рене.

– Перестань, Рене, – сказала маркиза. – Ты выводил меня из терпения своими детскими выходками. Желала бы я знать, что важнее – судьба государства или твои чувствительные фантазии?

– Ах, мама, – вздохнула Рене.

– Маркиза, простите нашу плохую роялистку, – сказал де Вильфор, – обещаю вам, что исполню долг помощника королевского прокурора со всем усердием, то есть буду беспощаден.

Но в то время как помощник прокурора говорил эти слова маркизе, жених украдкой посылал взгляд невесте, и взгляд этот говорил: «Будьте спокойны, Рене; ради вас я буду снисходителен».

Рене отвечала ему нежной улыбкой, и Вильфор удалился, преисполненный блаженства.

VII. Допрос

Выйдя из столовой, Вильфор тотчас же сбросил с себя маску веселости и принял торжественный вид, подобающий человеку, на которого возложен высший долг – решать участь своего ближнего. Однако, несмотря на подвижность своего лица, которой он часто, как искусный актер, учился перед зеркалом, на этот раз ему трудно было нахмурить брови и омрачить чело.

И в самом деле, если не считать политического прошлого его отца, которое могло повредить его карьере, если от него не отмежеваться решительно, Жерар де Вильфор был в эту минуту так счастлив, как только может быть счастлив человек: располагая солидным состоянием, он занимал в двадцать семь лет видное место в судебном мире; он был женихом молодой и красивой девушки, которую любил не страстно, но разумно, как может любить помощник королевского прокурора. Мадемуазель де Сен-Меран была не только красива, но вдобавок принадлежала к семейству, бывшему в большой милости при дворе. Кроме связей своих родителей, которые, не имея других детей, могли целиком воспользоваться ими в интересах своего зятя, невеста приносила ему пятьдесят тысяч экю приданого, к коему, ввиду *надежд* (ужасное слово, выдуманное свахами), могло со временем прибавиться полумиллионное наследство. Все это, вместе взятое, составляло итог блаженства до того ослепительный, что Вильфор находил пятна даже на солнце, если перед тем долго смотрел в свою душу внутренним взором.

У дверей его ждал полицейский комиссар. Вид этой мрачной фигуры заставил его спуститься с высоты седьмого неба на бrenную землю, по которой мы ходим; он придал своему лицу подобающее выражение и подошел к полицейскому.

– Я готов! – сказал он. – Я прочел письмо, вы хорошо сделали, что арестовали этого человека; теперь сообщите мне о нем и о заговоре все сведения, какие вы успели собрать.

– О заговоре мы еще ничего не знаем; все бумаги, найденные при нем, запечатаны в одну связку и лежат на вашем столе. Что же касается самого обвиняемого, то его зовут, как вы изволили видеть из самого доноса, Эдмон Дантес, он служит помощником капитана на трехмачтовом корабле «Фараон», который возит хлопок из Александрии и Смирны и принадлежит марсельскому торговому дому «Моррель и Сын».

– До поступления на торговое судно он служил во флоте?

– О, нет! Это совсем молодой человек.

– Каких лет?

– Лет девятнадцати-двадцати, не больше.

Когда Вильфор, пройдя улицу Гран-рю, уже подходил к своему дому, к нему приблизился человек, по-видимому, его ожидавший. То был г-н Моррель.

– Господин де Вильфор! – вскричал он. – Как хорошо, что я застал вас! Подумайте, произошла страшная ошибка, арестовали моего помощника капитана, Эдмона Дантеса.

– Знаю, – отвечал Вильфор, – я как раз иду допрашивать его.

– Господин де Вильфор, – продолжал Моррель с жаром, – вы не знаете обвиняемого, а я его знаю. Представьте себе человека, самого тихого, честного и, я готов сказать, самого лучшего знатока своего дела во всем торговом флоте... Господин де Вильфор! Прошу вас за него от всей души.

Вильфор, как мы уже видели, принадлежал к аристократическому лагерю, а Моррель – к плебейскому; первый был крайний роялист, второго подозревали в тайном бонапартизме. Вильфор свысока посмотрел на Морреля и холодно ответил:

– Вы знаете, сударь, что можно быть тихим в домашнем кругу, честным в торговых сношениях и знатоком своего дела и тем не менее быть преступником в политическом смысле. Вы это знаете, правда, сударь?

Вильфор сделал ударение на последних словах, как бы намекая на самого Морреля; испытующий взгляд его старался проникнуть в самое сердце этого человека, который дерзал просить за другого, хотя он не мог не знать, что сам нуждается в снисхождении.

Моррель покраснел, потому что совесть его была не совсем чиста в отношении политических убеждений, притом же тайна, доверенная ему Дантесом о свидании с маршалом и о словах, которые ему сказал император, смущала его ум. Однако он сказал с искренним участием:

– Умоляю вас, господин де Вильфор, будьте справедливы, как вы должны быть, и добры, как вы всегда бываете, и поскорее верните нам бедного Дантеса!

В этом «верните нам» уху помощника королевского прокурора почудилась революционная нотка.

«Да! – подумал он. – «Верните нам»... Уж не принадлежит ли этот Дантес к какой-нибудь секте карбонариев, раз его покровитель так неосторожно говорит во множественном числе? Помнится, комиссар сказал, что его взяли в кабаке, и притом в многолюдной компании, – это какая-нибудь тайная ложа».

Он продолжал вслух:

– Вы можете быть совершенно спокойны, сударь, и вы не напрасно просите справедливости, если обвиняемый не виновен; если же, напротив, он виновен, мы живем в трудное время, и безнаказанность может послужить пагубным примером. Поэтому я буду вынужден исполнить свой долг.

Он поклонился с ледяной учтивостью и величественно вошел в свой дом, примыкающий к зданию суда, а бедный арматор, как окаменелый, остался стоять на улице.

Передняя была полна жандармов и полицейских; среди них, окруженный пылающими ненавистью взглядами, спокойно и неподвижно стоял арестант.

Вильфор, пересекая переднюю, искоса взглянул на Дантеса и, взяв из рук полицейского пачку бумаг, исчез за дверью, бросив на ходу:

– Введите арестанта.

Как ни был мимолетен взгляд, брошенный Вильфором на арестанта, он все же успел составить себе мнение о человеке, которого ему предстояло допросить. Он прочел ум на его широком и открытом челе, мужество в его упорном взоре и нахмуренных бровях и прямодушные в его полных полуоткрытых губах, за которыми блестели два ряда зубов, белых, как слоновая кость.

Первое впечатление было благоприятно для Дантеса; но Вильфору часто говорили, что политическая мудрость повелевает не поддаваться первому порыву, потому что это всегда голос сердца; и он приложил это правило к первому впечатлению, забыв о разнице между впечатлением и порывом.

Он задушил добрые чувства, которые пытались ворваться к нему в сердце, чтобы оттуда завладеть его умом, принял перед зеркалом торжественный вид и сел, мрачный и грозный, за свой письменный стол.

Через минуту вошел Дантес.

Он был все так же бледен, но спокоен и приветлив; он с непринужденной учтивостью поклонился своему судье, потом поискал глазами стул, словно находился в гостиной арматора Морреля.

Тут только встретил он тусклый взгляд Вильфора – взгляд, свойственный блюстителям правосудия, которые не хотят, чтобы кто-нибудь читал их мысли, и потому превращают свои глаза в матовое стекло. Этот взгляд дал почувствовать Дантесу, что он стоит перед судом.

– Кто вы и как ваше имя? – спросил Вильфор, перебирая бумаги, поданные ему в передней; за какой-нибудь час дело уже успело вырасти в довольно объемистую тетрадь: так быстро язва шпионства разъедает несчастное тело, именуемое обвиняемым.

– Меня зовут Эдмон Дантес, – ровным и звучным голосом отвечал юноша, – я помощник капитана на корабле «Фараон», принадлежащем фирме «Моррель и Сын».

– Сколько вам лет? – продолжал Вильфор.

– Девятнадцать, – отвечал Дантес.

– Что вы делали, когда вас арестовали?

– Я обедал с друзьями по случаю моего обручения, – отвечал Дантес слегка дрогнувшим голосом, настолько мучителен был контраст между радостным празднеством и мрачной церемонией, которая совершалась в эту минуту, между хмурым лицом Вильфора и лучезарным личиком Мерседес.

- По случаю вашего обручения? – повторил помощник прокурора, невольно вздрогнув.
- Да, я женюсь на девушке, которую люблю уже три года.

Вильфор, вопреки своему обычному бесстрастию, был все же поражен таким совпадением, и взволнованный голос юноши пробудил сочувственный отзвук в его душе. Он тоже любил свою невесту, тоже был счастлив, и вот его радости помешали, для того чтобы он разрушил счастье человека, который, подобно ему, был так близок к блаженству.

«Такое философическое сопоставление, – подумал он, – будет иметь большой успех в гостиной маркиза де Сен-Меран»; и, пока Дантес ожидал дальнейших вопросов, он начал подбирать в уме антитезы, из которых ораторы строят блестящие фразы, рассчитанные на аплодисменты и подчас принимаемые за истинное красноречие.

Сочинив в уме изящный спич, Вильфор улыбнулся и сказал, обращаясь к Дантесу:

– Продолжайте.

– Что же мне продолжать?

– Осведомите правосудие.

– Пусть правосудие скажет мне, о чем оно желает быть осведомлено, и я ему скажу все, что знаю. Только, – прибавил он с улыбкою, – предупреждаю, что я знаю мало.

– Вы служили при узурпаторе?

– Меня должны были зачислить в военный флот, когда он пал.

– Говорят, вы весьма крайних политических убеждений, – сказал Вильфор, которому об этом никто ничего не говорил, но он решил на всякий случай предложить этот вопрос в виде обвинения.

– Мои политические убеждения!.. Увы, мне стыдно признаться, но у меня никогда не было того, что называется убеждениями, мне только девятнадцать лет, как я уже имел честь доложить вам; я ничего не знаю, никакого видного положения я занять не могу; всем, что я есть и чем я стану, если мне дадут то место, о котором я мечтаю, я буду обязан одному господину Моррелю. Поэтому все мои убеждения, и то не политические, а частные, сводятся к трем чувствам: я люблю моего отца, уважаю господина Морреля и обожаю Мерседес. Вот, милостивый государь, все, что я могу сообщить правосудию; как видите, все это для него мало интересно.

Пока Дантес говорил, Вильфор смотрел на его честное, открытое лицо и невольно вспомнил слова Рене, которая, не зная обвиняемого, просила о снисхождении к нему. Привыкнув иметь дело с преступлением и преступниками, помощник прокурора в каждом слове Дантеса видел новое доказательство его невиновности. В самом деле, этот юноша, почти мальчик, простодушный, откровенный, красноречивый тем красноречием сердца, которое никогда не дается, когда его ищешь, полный любви ко всем, потому что был счастлив, а счастье и самых злых превращает в добрых, – изливал даже на своего судью нежность и доброту, переполнявшие его душу. Вильфор был с ним суров и строг, а у Эдмона во взоре, в голосе, в движениях не было ничего, кроме приязни и доброжелательности к тому, кто его допрашивал.

«Честное слово, – подумал Вильфор, – вот славный малый, и, надеюсь, мне нетрудно будет угодить Рене, исполнив первую ее просьбу; этим я заслужу сердечное рукопожатие при всех, а в уголке, тайком, нежный поцелуй».

От этой сладостной надежды лицо Вильфора прояснилось, и когда, оторвавшись от своих мыслей, он перевел взгляд на Дантеса, Дантес, следивший за всеми переменами его лица, тоже улыбнулся.

– У вас есть враги? – спросил Вильфор.

– Враги? – сказал Дантес. – Я, по счастью, еще так мало значу, что не успел нажить их. Может быть, я немного вспыльчив, но я всегда старался укрощать себя в отношениях с подчиненными. У меня под началом человек десять-двенадцать матросов. Спросите их, милостивый

государь, и они вам скажут, что любят и уважают меня не как отца, – я еще слишком молод для этого, – а как старшего брата.

– Если у вас нет врагов, то, может быть, есть завистники. Вам только девятнадцать лет, а вас назначают капитаном, это высокая должность в вашем звании; вы женитесь на красивой девушке, которая вас любит, а это редкое счастье во всех званиях мира. Вот две веские причины, чтобы иметь завистников.

– Да, вы правы. Вы, верно, лучше меня знаете людей, а может быть, это и так. Но если эти завистники из числа моих друзей, то я предпочитаю не знать, кто они, чтобы мне не пришлось их ненавидеть.

– Это неверно. Всегда надо, насколько можно, ясно видеть окружающее. И, сказать по правде, вы кажетесь мне таким достойным молодым человеком, что для вас я решаюсь отступить от обычных правил правосудия и помочь вам раскрыть истину... Вот донос, который возводит на вас обвинение. Узнаете почерк?

Вильфор вынул из кармана письмо и протянул его Дантесу. Дантес посмотрел, прочел, нахмурил лоб и сказал:

– Нет, я не знаю этой руки; почерк искажен, но довольно тверд. Во всяком случае, это писала искусная рука. Я очень счастлив, – прибавил он, глядя на Вильфора с благодарностью, – что имею дело с таким человеком, как вы, потому что действительно этот завистник – настоящий враг!

По молнии, блеснувшей в глазах юноши при этих словах, Вильфор понял, сколько душевной силы скрывается под его наружной кротостью.

– А теперь, – сказал Вильфор, – отвечайте мне откровенно, не как обвиняемый судье, а как человек, попавший в беду, отвечает человеку, который принимает в нем участие: есть ли правда в этом безымянном доносе?

И Вильфор с отвращением бросил на стол письмо, которое вернул ему Дантес.

– Все правда, и в то же время ни слова правды; а вот чистая правда, клянусь честью моряка, клянусь моей любовью к Мерседес, клянусь жизнью моего отца!

– Говорите, – сказал Вильфор.

И прибавил про себя: «Если бы Рене могла меня видеть, надеюсь, она была бы довольна мною и не называла бы меня палачом».

– Так вот: когда мы вышли из Неаполя, капитан Леклер заболел нервной горячкой; на корабле не было врача, а он не хотел приставать к берегу, потому что очень спешил на остров Эльба, и потому состояние его так ухудшилось, что на третий день, почувствовав приближение смерти, он позвал меня к себе.

«Дантес, – сказал он, – поклянитесь мне честью, что исполните поручение, которое я вам дам; дело чрезвычайно важное».

«Клянусь, капитан», – отвечал я.

«Так как после моей смерти командование переходит к вам как помощнику капитана, вы примете командование, возьмете курс на остров Эльба, остановитесь в Порто-Феррайо, пойдете к маршалу и отдадите ему это письмо; может быть, там дадут вам другое письмо или еще какое-нибудь поручение. Это поручение должен был получить я; вы, Дантес, исполните его вместо меня, и вся заслуга будет ваша».

«Исполню, капитан, но, может быть, не так-то легко добраться до маршала?»

«Вот кольцо, которое вы попросите ему передать, – сказал капитан, – это устранил все препятствия».

И с этими словами он дал мне перстень. Через два часа он впал в беспамятство, а на другой день скончался.

– И что же вы сделали?

– То, что я должен был сделать, то, что всякий другой сделал бы на моем месте. Просьба умирающего всегда священна; но у нас, моряков, просьба начальника – это приказание, которое нельзя не исполнить. Итак, я взял курс на Эльбу и прибыл туда на другой день; я всех оставил на борту и один сошел на берег. Как я и думал, меня не хотели допустить к маршалу; но я послал ему перстень, который должен был служить условным знаком; и все двери раскрылись передо мной. Он принял меня, расспросил о смерти бедного Леклера и, как тот и предвидел, дал мне письмо, приказав лично доставить его в Париж. Я обещал, потому что это входило в исполнение последней воли моего капитана. Прибыв сюда, я устроил все дела на корабле и побежал к моей невесте, которая показалась мне еще прекрасней и милей прежнего. Благодаря господину Моррелю мы уладили все церковные формальности; и вот, как я уже говорил вам, я сидел за обедом, готовился через час вступить в брак и думал завтра же ехать в Париж, как вдруг по этому доносу, который вы, по-видимому, теперь так же презираете, как и я, меня арестовали.

– Да, да, – проговорил Вильфор, – все это кажется мне правдой, и если вы в чем виновны, так только в неосторожности; да и неосторожность ваша оправдывается приказами капитана. Отдайте нам письмо, взятое вами на острове Эльба, дайте честное слово, что явитесь по первому требованию, и возвращайтесь к вашим друзьям.

– Так я свободен! – вскричал Дантес вне себя от радости.

– Да, только отдайте мне письмо.

– Оно должно быть у вас, его взяли у меня вместе с другими моими бумагами, и я узнаю некоторые из них в этой связке.

– Постойте, – сказал Вильфор Дантесу, который взялся уже было за шляпу и перчатки, – постойте! Кому адресовано письмо?

– Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, в Париже.

Если бы гром обрушился на Вильфора, он не поразил бы его таким быстрым и внезапным ударом; он упал в кресло, с которого привстал, чтобы взять связку с бумагами, захваченными у Дантеса, и, лихорадочно порывшись в них, вынул роковое письмо, устремив на него взгляд, полный невыразимого ужаса.

– Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, номер тринадцать, – прошептал он, побледнев еще сильнее.

– Точно так, – сказал изумленный Дантес. – Разве вы его знаете?

– Нет, – быстро ответил Вильфор, – верный слуга короля не знает с заговорщиками.

– Стало быть, речь идет о заговоре? – спросил Дантес, который, после того как уже считал себя свободным, почувствовал, что дело принимает другой оборот. – Во всяком случае, я уже сказал вам, что ничего не знал о содержании этого письма.

– Да, – сказал Вильфор глухим голосом, – но вы знаете имя того, кому оно адресовано!

– Чтобы отдать письмо лично ему, я должен был знать его имя.

– И вы никому его не показывали? – спросил Вильфор, читая письмо и все более и более бледнея.

– Никому, клянусь честью!

– Никто не знает, что вы везли письмо с острова Эльба к господину Нуартье?

– Никто, кроме того, кто вручил мне его.

– И это еще много, слишком много! – прошептал Вильфор.

Лицо его становилось все мрачнее, по мере того как он читал; его бледные губы, дрожащие руки, пылающие глаза внушали Дантесу самые дурные предчувствия.

Прочитав письмо, Вильфор схватился за голову и замер.

– Что с вами, сударь? – робко спросил Дантес.

Вильфор не отвечал, потом поднял бледное, искаженное лицо и еще раз перечел письмо.

– И вы уверяете, что ничего не знаете о содержании этого письма? – сказал Вильфор.

– Повторяю и клянусь честью, что не знаю ничего. Но что с вами? Вам дурно? Хотите, я позвоню? Позову кого-нибудь?

– Нет, – сказал Вильфор, быстро вставая, – стойте на месте и молчите; здесь я приказываю, а не вы.

– Простите, – обиженно сказал Дантес, – я только хотел помочь вам.

– Мне ничего не нужно. Минутная слабость – только и всего. Думайте о себе, а не обо мне. Отвечайте.

Дантес ждал вопроса, но тщетно; Вильфор опустил в кресло, нетвердой рукой отер пот с лица и в третий раз принялся перечитывать письмо.

– Если он знает, что тут написано, – прошептал он, – и если он когда-нибудь узнает, что Нуартье – отец Вильфора, то я погиб, погиб безвозвратно!

И он время от времени взглядывал на Эдмона, как будто его взгляды могли проникнуть сквозь невидимую стену, ограждающую в сердце тайну, о которой молчат уста.

– Нечего сомневаться! – воскликнул он вдруг.

– Ради самого неба, – сказал несчастный юноша, – если вы сомневаетесь во мне, если вы подозреваете меня, допрашивайте. Я готов отвечать вам.

Вильфор сделал над собой усилие и голосом, которому он старался придать уверенность, сказал:

– Вследствие ваших показаний на вас ложатся самые тяжкие обвинения; поэтому я не властен тотчас же отпустить вас, как надеялся. Прежде чем решиться на такой шаг, я должен снести со следователем. А пока вы видели, как я отнесся к вам.

– О да, и я благодарю вас! – вскричал Дантес. – Вы обошлись со мною не как судья, а как друг.

– Ну, так вот, я задержу вас еще на некоторое время, надеюсь ненадолго, главная улика против вас – это письмо, и вы видите...

Вильфор подошел к камину, бросил письмо в огонь и подождал, пока оно сгорело.

– Вы видите, – продолжал он, – я уничтожил его.

– Вы больше, чем правосудие, – вскричал Дантес, – вы само милосердие!

– Но выслушайте меня, – продолжал Вильфор. – После такого поступка вы, конечно, понимаете, что можете довериться мне.

– Приказывайте, я исполню ваши приказания.

– Нет, – сказал Вильфор, подходя к Дантесу, – нет, я не собираюсь вам приказывать; я хочу только дать вам совет, понимаете?

– Говорите, я исполню ваш совет, как приказание.

– Я оставляю вас здесь, в здании суда, до вечера. Может быть, кто-нибудь другой будет вас допрашивать. Говорите все, что вы мне рассказывали, но ни полслова о письме!

– Обещаю, сударь.

Теперь Вильфор, казалось, умолял, а обвиняемый успокаивал судью.

– Вы понимаете, – продолжал Вильфор, поглядывая на пепел, сохранявший еще форму письма, – теперь письмо уничтожено. Только вы да я знаем, что оно существовало; его вам не предъявят; если вам станут говорить о нем, отрицайте, отрицайте смело, и вы спасены.

– Я буду отрицать, не беспокойтесь, – сказал Дантес.

– Хорошо, – сказал Вильфор и взялся за звонок; потом помедлил немного и спросил: – У вас было только это письмо?

– Только это.

– Поклянитесь!

Дантес поднял руку.

– Клянусь! – сказал он.

Вильфор позвонил.

Вошел полицейский комиссар.

Вильфор сказал ему на ухо несколько слов; комиссар отвечал кивком головы.

– Ступайте за комиссаром, – сказал Вильфор Дантесу.

Дантес поклонился, еще раз бросил на Вильфора благодарный взгляд и вышел.

Едва дверь затворилась, как силы изменили Вильфору, и он упал в кресло почти без чувств.

Через минуту он прошептал:

– Боже мой! От чего иногда зависит жизнь и счастье!.. Если бы королевский прокурор был в Марселе, если бы вместо меня вызвали следователя, я бы погиб... И это письмо, это проклятое письмо, ввергло бы меня в пропасть!.. Ах, отец, отец! Неужели ты всегда будешь мешать моему счастью на земле? Неужели я должен вечно бороться с твоим прошлым?

Но вдруг его словно осенило: на искривленных губах появилась улыбка; его блуждающий взгляд, казалось, остановился на какой-то мысли.

– Да, да, – вскричал он, – это письмо, которое должно было погубить меня, может стать источником моего счастья... Ну, Вильфор, за дело!

И, удостоверившись, что обвиняемого уже нет в передней, помощник королевского прокурора тоже вышел и быстрыми шагами направился к дому своей невесты.

VIII. Замок Иф

Полицейский комиссар, выйдя в переднюю, сделал знак двум жандармам. Один стал по правую сторону Дантеса, другой по левую. Отворилась дверь, которая выходила в здание суда, и арестованного повели по одному из тех длинных и мрачных коридоров, где трепет охватывает даже тех, у кого нет никаких причин трепетать.

Как квартира Вильфора примыкала к зданию суда, так здание суда примыкало к тюрьме, угрюмому сооружению, на которое с любопытством смотрит всеми своими зияющими отверстиями возвышающаяся перед ним Аккульская колокольня.

Сделав несколько поворотов по коридору, Дантес увидел дверь с решетчатым окошком. Комиссар ударил три раза железным молотком, и Дантесу показалось, что молоток бьет по его сердцу. Дверь отворилась, жандармы слегка подтолкнули арестанта, который все еще стоял в растерянности. Дантес переступил через порог, и дверь с шумом захлопнулась за ним. Он дышал уже другим воздухом, спертым и тяжелым; он был в тюрьме.

Его отвели в камеру, довольно опрятную, но с тяжелыми засовами и решетками на окнах. Вид нового жилища не вселил в него особого страха; притом же слова, сказанные помощником королевского прокурора с таким явным участием, раздавались у него в ушах как обнадеживающее утешение.

Было четыре часа пополудни, когда Дантеса привели в камеру. Все это происходило, как мы уже сказали, 28 февраля; арестант скоро очутился в темноте.

Тотчас же слух его обострился вдвое. При малейшем шуме, доносившемся до него, он вскакивал и бросался к двери, думая, что за ним идут, чтобы возвратить ему свободу; но шум исчезал в другом направлении, и Дантес снова опускался на скамью.

Наконец, часов в десять вечера, когда Дантес начинал терять надежду, послышался новый шум, который на этот раз, несомненно, приближался к его камере. Потом в коридоре раздались шаги и остановились у двери; ключ повернулся в замке, засовы заскрипели, и плотная дубовая дверь отворилась, впуслав в темную камеру ослепительный свет двух факелов.

При свете их Дантес увидел, как блеснули ружья и палаши четырех жандармов.

Он бросился было вперед, но тут же остановился при виде этой усиленной охраны.

– Вы за мной? – спросил Дантес.

– Да, – отвечал один из жандармов.

– По приказу помощника королевского прокурора?

– Разумеется.

– Хорошо, – сказал Дантес, – я готов следовать за вами.

Уверенность, что за ним пришли от имени де Вильфора, рассеяла все опасения бедного юноши; спокойно и непринужденно он вышел и сам занял место посреди жандармов.

У дверей тюрьмы стояла карета; на козлах сидел кучер, рядом с кучером – пристав.

– Эта карета для меня? – спросил Дантес.

– Для вас, – ответил один из жандармов, – садитесь.

Дантес хотел возразить, но дверца отворилась, и его втокнули в карету. Он не мог, да и не хотел сопротивляться; в одно мгновение он очутился на заднем сиденье, между двумя жандармами; двое других сели напротив, и тяжелый экипаж покатил со зловещим грохотом.

Узник посмотрел на окна; они были забраны железной решеткой. Он только переменял тюрьму; новая тюрьма была на колесах и катилась к неизвестной цели. Сквозь частые прутья, между которыми едва можно было просунуть руку, Дантес все же разглядел, что его провезли по улице Кессари, а затем по улицам Сен-Лоран и Тарамис спустились к набережной.

Немного погодя сквозь решетку окна и сквозь ограду памятника, мимо которого они ехали, он увидел огни портового управления.

Карета остановилась, пристав сошел с козел и подошел к кордегардии; оттуда вышли с десятков солдат и стали в две шеренги. Ружья их блестели в свете фонарей, горевших на набережной.

«Неужели все это ради меня?» – подумал Эдмон.

Отперев дверцу ключом, пристав молчаливо ответил на этот вопрос, ибо Дантес увидел между двумя рядами солдат оставленный для него узкий проход от кареты до набережной.

Два жандарма, сидевшие на переднем сиденье, вышли из кареты первые, за ними вышел он, а за ними и остальные два, сидевшие по бокам его. Все направились к лодке, которую таможенный служитель удерживал у берега за цепь. Солдаты смотрели на Дантеса с тупым любопытством. Его тотчас же посадили к рулю, между четырьмя жандармами, а пристав сел на носу. Сильный толчок отделил лодку от берега; четыре гребца принялись быстро грести по направлению к Пилону. По окрику с лодки цепь, заграждающая порт, опустилась, и Дантес очутился в так называемом Фриуле, то есть вне порта.

Первое ощущение арестанта, когда он выехал на свежий воздух, было ощущение радости. Воздух – почти свобода. Он полной грудью вдыхал живительный ветер, несущий на своих крыльях таинственные запахи ночи и моря. Скоро, однако, он горестно вздохнул: он плыл мимо «Резерва», где был так счастлив еще утром, за минуту до ареста; сквозь ярко освещенные окна до него доносились веселые звуки танцев.

Дантес сложил руки, поднял глаза к небу и стал молиться.

Лодка продолжала свой путь; она миновала Мертвую Голову, поравнялась с бухтой Фаро и начала огибать батарею; Дантес ничего не понимал.

– Куда же меня везут? – спросил он одного из жандармов.

– Сейчас узнаете.

– Однако...

– Нам запрещено говорить с вами.

Дантес был наполовину солдат; расспрашивать жандармов, которым запрещено отвечать, показалось ему нелепым, и он замолчал.

Тогда самые странные мысли закружились в его голове; в утлой лодке нельзя было далеко уехать, кругом не было ни одного корабля на якоре; он подумал, что его доведут до отдаленного места на побережье и там объявят, что он свободен. Его не связывали, не пытались надевать наручники; все это казалось ему добрым предзнаменованием; при этом разве не сказал ему помощник прокурора, такой добрый и ласковый, что если только он не произнесет роко-

вого имени Нуартье, то ему нечего бояться? Ведь на его глазах Вильфор сжег опасное письмо, единственную улику, которая имелась против него.

В молчании ждал он, чем все это кончится, глазом моряка, привыкшим в темноте измерять пространство, стараясь рассмотреть окрестность.

Остров Ратонно, на котором горел маяк, остался справа, и лодка, держась близко к берегу, подошла к Каталанской бухте. Взгляд арестанта стал еще зорче: здесь была Мерседес, и ему ежеминутно казалось, что на темном берегу вырисовывается неясный силуэт женщины.

Как предчувствие не шепнуло Мерседес, что ее возлюбленный в трехстах шагах от нее?

Во всех Каталанах только в одном окне горел огонь. Приглядевшись, Дантес убедился, что это комната его невесты. Только одна Мерседес не спала во всем селении. Если бы он громко закричал, голос его долетел бы до ее слуха. Ложный стыд удержал его. Что сказали бы жандармы, если бы он начал кричать, как иступленный? Поэтому он не раскрыл рта и проехал мимо, не отрывая глаз от огонька.

Между тем лодка подвигалась вперед; но арестант не думал о лодке, он думал о Мерседес. Наконец освещенное окошко скрылось за выступом скалы. Дантес обернулся и увидел, что лодка удаляется от берега.

Пока он был поглощен своими мыслями, весла заменили парусами, и лодка шла по ветру.

Хотя Дантесу не хотелось снова расспрашивать жандарма, однако же он придвинулся к нему и, взяв его за руку, сказал:

– Товарищи! Именем совести вашей и вашим званием солдата заклинаю: сжальтесь и ответьте мне. Я капитан Дантес, добрый и честный француз, хоть меня и обвиняют в какой-то измене. Куда вы меня везете? Скажите, я даю вам честное слово моряка, что я исполню свой долг и покорюсь судьбе.

Жандарм почесал затылок и посмотрел на своего товарища. Тот сделал движение, которое должно было означать: «Теперь уж, кажется, можно сказать», и жандарм повернулся к Дантесу:

– Вы уроженец Марселя и моряк, и еще спрашиваете, куда мы едем?

– Да, честью уверяю, что не знаю.

– Вы не догадываетесь?

– Нет.

– Не может быть.

– Клянусь всем священным в мире! Скажите, ради бога!

– А приказ?

– Приказ не запрещает вам сказать мне то, что я все равно узнаю через десять минут, через полчаса или, быть может, через час. Вы только избавите меня от целой вечности сомнений. Я прошу вас, как друга. Смотрите, я не собираюсь ни сопротивляться, ни бежать. Да это и невозможно. Куда мы едем?

– Либо вы ослепли, либо вы никогда не выходили из марсельского порта; иначе вы не можете не угадать, куда вас везут.

– Не могу.

– Так гляньте вокруг.

Дантес встал, посмотрел в ту сторону, куда направлялась лодка, и увидел в ста саженях перед собою черную отвесную скалу, на которой высился мрачный замок Иф.

Этот причудливый облик, эта тюрьма, которая вызывает такой беспредельный ужас, эта крепость, которая уже триста лет питает Марсель своими жуткими преданиями, возникнув внезапно перед Дантесом, и не помышлявшим о ней, произвела на него такое же действие, какое производит эшафот на приговоренного к смерти.

– Боже мой! – вскричал он. – Замок Иф? Зачем мы туда едем?

Жандарм улыбнулся.

– Но меня же не могут заключить туда! – продолжал Дантес. – Замок Иф – государственная тюрьма, предназначенная только для важных политических преступников. Я никакого преступления не совершил. Разве в замке Иф есть какие-нибудь следователи, какие-нибудь судьи?

– Насколько я знаю, – сказал жандарм, – там имеется только комендант, тюремщики, гарнизон да крепкие стены. Полно, полно, приятель, не представляйтесь удивленным, не то я, право, подумаю, что вы платите мне насмешкой за мою доброту.

Дантес сжал руку жандарма так, что чуть не сломал ее.

– Так вы говорите, что меня везут в замок Иф и там оставят?

– Вероятно, – сказал жандарм, – но, во всяком случае, незачем жать мне руку так крепко.

– Без всякого следствия? Без всяких формальностей?

– Все формальности выполнены, следствие закончено.

– И невзирая на обещание господина де Вильфор?

– Я не знаю, что вам обещал господин де Вильфор, – сказал жандарм, – знаю только, что мы едем в замок Иф. Эге! Да что вы делаете? Ко мне, товарищи! Держите!

Движением быстрым, как молния, и все же не ускользнувшим от опытного глаза жандарма, Дантес хотел броситься в море, но четыре сильных руки схватили его в ту самую минуту, когда ноги его отделились от днища.

Он упал в лодку, рыча от ярости.

– Эге, брат! – сказал жандарм, упираясь ему коленом в грудь. – Так-то ты держишь честное слово моряка! Вот и полагайся на тихонь! Ну, теперь, любезный, только шевельнись, и я влеплю тебе пулю в лоб! Я послушался первого пункта приказа, но не беспокойся, второй будет выполнен в точности.

И он действительно приставил дуло своего ружья к виску Дантеса. В первое мгновение Дантес хотел сделать роковое движение и покончить с неожиданным бедствием, которое обрушилось на него и схватило в свои ястребиные когти. Но именно потому, что это бедствие было столь неожиданным, Дантес подумал, что оно не может быть продолжительным; потом он вспомнил обещание Вильфора; к тому же надо признаться, смерть на дне лодки от руки жандарма показалась ему гадкой и жалкой.

Он опустил на доски и в бессильном бешенстве впился зубами в свою руку.

Лодка покачнулась от сильного толчка. Один из гребцов прыгнул на утес, о который легкое суденышко ударилось носом, закрипела веревка, разматываясь вокруг ворота, и Дантес понял, что они причаливают.

Жандармы, державшие его за руки и за шиворот, заставили его подняться, сойти на берег и потащили его к ступенькам, ведущим к крепостным воротам; сзади шел пристав, вооруженный ружьем с примкнутым штыком.

Впрочем, Дантес и не помышлял о бесполезном сопротивлении. Его медлительность происходила не от противодействия, а от апатии. У него кружилась голова, и он шатался, как пьяный. Он опять увидел два ряда солдат, выстроившихся на крутом откосе, почувствовал, что ступеньки принуждают его поднимать ноги, заметил, что вошел в ворота и что эти ворота закрылись за ним, но все это бессознательно, точно сквозь туман, не будучи в силах ничего различить. Он даже не видел моря, источника мучений для заключенных, которые смотрят на его простор и с ужасом сознают, что бессильны преодолеть его.

Во время минутной остановки Дантес немного пришел в себя и огляделся. Он стоял на четырехугольном дворе, между четырьмя высокими стенами; слышался размеренный шаг часовых, и всякий раз, когда они проходили мимо двух-трех освещенных окон, ружья их поблескивали.

Они простояли минут десять. Зная, что Дантесу уже не убежать, жандармы выпустили его. Видимо, ждали приказаний; наконец раздался чей-то голос:

– Где арестант?

- Здесь, – отвечали жандармы.
- Пусть идет за мной, я проведу его в камеру.
- Ступайте, – сказали жандармы, подталкивая Дантеса.

Он пошел за проводником, который действительно привел его в полуподземную камеру; из голых и мокрых стен, казалось, сочились слезы. Поставленная на табурет плешка, фитиль которой плавал в каком-то вонючем жире, осветила лоснящиеся стены этого страшного жилища и проводника; это был человек плохо одетый, с грубым лицом – по всей вероятности, из низших служителей тюрьмы.

– Вот вам камера на нынешнюю ночь, – сказал он. – Теперь уже поздно, и господин комендант лег спать. Завтра, когда он встанет и прочтет распоряжения, присланные на ваш счет, может быть, он назначит вам другую. А пока вот вам хлеб; тут, в этой кружке, вода; там, в углу, солома. Это все, чего может пожелать арестант. Спокойной ночи.

И прежде чем Дантес успел ответить ему, прежде чем он заметил, куда тюремщик положил хлеб, прежде чем он взглянул, где стоит кружка с водой, прежде чем он повернулся к углу, где лежала солома – его будущая постель, – тюремщик взял плешку и, закрыв дверь, лишил арестанта и того тусклого света, который показал ему, словно при вспышке зарницы, мокрые стены его тюрьмы.

Он остался один, среди тишины и мрака, немой, угрюмый, как своды подземелья, мертвящий холод которых он чувствовал на своем пылающем челе.

Когда первые лучи солнца едва осветили этот вертеп, тюремщик возвратился с приказом оставить арестанта здесь. Дантес стоял на том же месте. Казалось, железная рука пригвоздила его там, где он остановился накануне; только глаза его опухли от невыплаканных слез. Он не шевелился и смотрел в землю.

Он провел всю ночь стоя и ни на минуту не забылся сном.

Тюремщик подошел к нему, обошел вокруг него, но Дантес, казалось, его не видел.

Он тронул его за плечо. Дантес вздрогнул и покачал головой.

– Вы не спали? – спросил тюремщик.

– Не знаю, – отвечал Дантес.

Тюремщик посмотрел на него с удивлением.

– Вы не голодны? – продолжал он.

– Не знаю, – повторил Дантес.

– Вам ничего не нужно?

– Я хочу видеть коменданта.

Тюремщик пожал плечами и вышел.

Дантес проводил его взглядом, протянул руки к полурастворенной двери, но дверь захлопнулась.

Тогда громкое рыдание вырвалось из его груди. Накопившиеся слезы хлынули в два ручья. Он бросился на колени, прижал голову к полу и долго молился, припоминая в уме всю свою жизнь и спрашивая себя, какое преступление совершил он в своей столь еще юной жизни, чтобы заслужить такую жестокую кару.

Так прошел день. Дантес едва проглотил несколько крошек хлеба и выпил несколько глотков воды. Он то сидел, погруженный в думы, то кружил вдоль стен, как дикий зверь в железной клетке.

Одна мысль с особенной силой приводила его в неистовство: во время переезда, когда он, не зная, куда его везут, сидел так спокойно и беспечно, он мог бы десять раз броситься в воду и, мастерски умея плавать, умея нырять, как едва ли кто другой в Марселе, мог бы скрыться под водой, обмануть охрану, добраться до берега, бежать, спрятаться в какой-нибудь пустынной бухте, дожидаться генуэзского или каталонского корабля, перебраться в Италию или Испанию и оттуда написать Мерседес, чтобы она приехала к нему. О своем пропитании он

не беспокоился: в какую бы страну ни бросила его судьба – хорошие моряки везде редкость; он говорил по-итальянски, как тосканец, по-испански, как истый сын Кастильи. Он жил бы свободным и счастливым, с Мерседес, с отцом, потому что выписал бы и отца. А вместо этого он арестант, запертый в замке Иф, в этой тюрьме, откуда нет возврата, и не знает, что случилось с отцом, что случилось с Мерседес; и все это из-за того, что он поверил слову Вильфора. Было от чего сойти с ума, и Дантес в бешенстве катался по свежей соломе, которую принес тюремщик.

На другой день в тот же час явился тюремщик.

– Ну, что, – спросил он, – поумнели немного?

Дантес не отвечал.

– Да бросьте унывать! Скажите, чего бы вам хотелось. Ну, говорите!

– Я хочу видеть коменданта.

– Я уже сказал, что это невозможно, – отвечал тюремщик с досадой.

– Почему невозможно?

– Потому что тюремным уставом арестантам запрещено к нему обращаться.

– А что же здесь позволено? – спросил Дантес.

– Пища получше – за деньги, прогулка, иногда книги.

– Книг мне не нужно; гулять я не хочу, а пищей я доволен. Я хочу только одного – видеть коменданта.

– Если вы будете приставать ко мне с этим, я перестану носить вам еду.

– Ну, что ж? – отвечал Дантес. – Если ты перестанешь носить мне еду, я умру с голоду, вот и все!

Выражение, с которым Дантес произнес эти слова, показало тюремщику, что его узник был бы рад умереть; а так как всякий арестант приносит тюремщику круглым числом десять су дохода в день, то тюремщик Дантеса тотчас высчитал убыток, могущий произойти от его смерти, и сказал уже более ласково:

– Послушайте: то, о чем вы просите, невозможно; стало быть, и не просите больше; не было примера, чтобы комендант по просьбе арестанта являлся к нему в камеру; поэтому ведите себя смирно, вам разрешат гулять, а на прогулке, может статься, вы как-нибудь встретите коменданта. Тогда и обратитесь к нему, и если ему угодно будет ответить вам, так это уж его дело.

– А сколько мне придется ждать этой встречи?

– Кто знает? – сказал тюремщик. – Месяц, три месяца, полгода, может быть, год.

– Это слишком долго, – прервал Дантес, – я хочу видеть его сейчас же!

– Не упорствуйте в одном невыполнимом желании, или через две недели вы сойдете с ума.

– Ты думаешь? – сказал Дантес.

– Да, сойдете с ума; сумасшествие всегда так начинается. У нас уже есть такой случай; здесь до вас жил аббат, который беспрестанно предлагал коменданту миллион за свое освобождение и на этом сошел с ума.

– А давно он здесь не живет?

– Два года.

– Его выпустили на свободу?

– Нет, посадили в карцер.

– Послушай, – сказал Дантес, – я не аббат и не сумасшедший; может быть, я и сойду с ума, но пока, к сожалению, я в полном рассудке; я предложу тебе другое.

– Что же?

– Я не стану предлагать тебе миллиона, потому что у меня его нет, но предложу тебе сто экю, если ты согласишься, когда поедешь в Марсель, заглянуть в Каталаны и передать письмо девушке, которую зовут Мерседес... даже не письмо, а только две строчки.

– Если я передам эти две строчки и меня поймают, я потеряю место, на котором получаю тысячу ливров в год, не считая дохода и стола; вы видите, я был бы дураком, если бы вздумал рисковать тысячей ливров, чтобы получить триста.

– Хорошо! – сказал Дантес. – Так слушай и запомни хорошенько: если ты не отнесешь записки Мерседес или по крайней мере не дашь ей знать, что я здесь, то когда-нибудь я подкараулю тебя за дверью и, когда ты войдешь, разможу тебе голову табуретом!

– Ага, угрозы! – закричал тюремщик, отступая на шаг и приготавливаясь к защите. – Положительно у вас голова не в порядке; аббат начал, как вы, и через три дня вы будете буйствовать, как он; хорошо, что в замке Иф есть карцеры.

Дантес поднял табурет и повертел им над головой.

– Ладно, ладно, – сказал тюремщик, – если уж вы непременно хотите, я уведомлю коменданта.

– Давно бы так, – отвечал Дантес, ставя табурет на пол и садясь на него, с опущенной головой и блуждающим взглядом, словно он действительно начинал сходить с ума.

Тюремщик вышел и через несколько минут вернулся с четырьмя солдатами и капралом.

– По приказу коменданта, – сказал он, – переведите арестанта этажом ниже.

– В темную, значит, – сказал капрал.

– В темную; сумасшедших надо сажать с сумасшедшими.

Четверо солдат схватили Дантеса, который впал в какое-то забытие и последовал за ними без всякого сопротивления.

Они спустились вниз на пятнадцать ступеней; отворилась дверь темной камеры, в которую он вошел, бормоча:

– Он прав, сумасшедших надо сажать с сумасшедшими.

Дверь затворилась, и Дантес пошел вперед, вытянув руки, пока не дошел до стены; тогда он сел в угол и долго не двигался с места, между тем как глаза его, привыкнув мало-помалу к темноте, начали различать предметы.

Тюремщик не ошибся: Дантес был на волосок от безумия.

IX. Вечер дня обручения

Вильфор, как мы уже сказали, отправился опять на улицу Гран-Кур и, войдя в дом г-жи де Сен-Меран, застал гостей уже не в столовой, а в гостиной, за чашками кофе.

Рене ждала его с нетерпением, которое разделяли и прочие гости. Поэтому его встретили радостными восклицаниями.

– Ну, головорез, оплот государства, роялистский Брут! – крикнул один из гостей. – Что случилось? Говорите!

– Уж не готовится ли новый Террор? – спросил другой.

– Уж не вылез ли из своего логова корсиканский людоед? – спросил третий.

– Маркиза, – сказал Вильфор, подходя к своей будущей теще, – простите меня, но я принужден просить у вас разрешения удалиться... Маркиз, разрешите сказать вам два слова наедине?

– Значит, это и вправду серьезное дело? – сказала маркиза, заметив нахмуренное лицо Вильфора.

– Очень серьезное, и я должен на несколько дней покинуть вас. Вы можете по этому судить, – прибавил Вильфор, обращаясь к Рене, – насколько это важно.

– Вы уезжаете? – вскричала Рене, не умея скрыть своего огорчения.

– Увы! – отвечал Вильфор. – Это необходимо.

– А куда? – спросила маркиза.

– Это – судебная тайна. Однако если у кого-нибудь есть поручения в Париж, то один мой приятель едет туда сегодня, и он охотно примет их на себя.

Все переглянулись.

– Вы хотели поговорить со мною? – спросил маркиз.

– Да, если позволите, пройдемте к вам в кабинет.

Маркиз взял Вильфора под руку, и они вместе вышли.

– Что случилось? – сказал маркиз, входя в кабинет. – Говорите.

– Нечто весьма важное, требующее моего немедленного отъезда в Париж. Теперь, маркиз, простите мне нескромный и бестактный вопрос: у вас есть государственные облигации?

– В них все мое состояние; на шестьсот или семьсот тысяч франков.

– Так продайте, маркиз, продайте, или вы разорены.

– Как я могу продать их отсюда?

– У вас есть маклер в Париже?

– Есть.

– Дайте мне письмо к нему: пусть продает, не теряя ни минуты, ни секунды; может быть, даже я приеду слишком поздно.

– Черт возьми! – сказал маркиз. – Не будем терять времени!

Он сел к столу и написал своему агенту распоряжение о продаже всех облигаций по любой цене.

– Одно письмо есть, – сказал Вильфор, бережно пряча его в бумажник, – теперь мне нужно еще другое.

– К кому?

– К королю.

– К королю?

– Да.

– Но не могу же я так прямо писать его величеству.

– Да я и не прошу письма от вас, а только хочу, чтобы вы попросили его у графа де Сальвьё. Чтобы не терять драгоценного времени, мне нужно такое письмо, с которым я мог бы явиться прямо к королю, не подвергаясь всяким формальностям, связанным с получением аудиенции.

– А министр юстиции? Он же имеет право входа в Тюильри, и через него вы в любое время можете получить доступ к королю.

– Разумеется. Но зачем мне делиться с другими той важной новостью, которую я везу. Вы понимаете? Министр юстиции, естественно, отодвинет меня на второй план и похитит у меня всю заслугу. Скажу вам одно, маркиз: если я первый явлюсь в Тюильри, карьера моя обеспечена, потому что я окажу королю услугу, которой он никогда не забудет.

– Если так, друг мой, ступайте, собирайтесь в дорогу; я вызову Сальвьё, и он напишет письмо, которое вам послужит пропуском.

– Хорошо, но не теряйте времени; через четверть часа я должен быть в почтовой карете.

– Велите остановиться у нашего дома.

– Вы, конечно, извинитесь за меня перед маркизой и мадемуазель де Сен-Меран, с которой я расстаюсь в такой день с глубочайшим сожалением.

– Они будут ждать вас в моем кабинете, и вы проститесь с ними.

– Тысячу благодарностей. Так приготовьте письмо.

Маркиз позвонил.

Вошел лакей.

– Попросите сюда графа де Сальвьё... А вы идите, – сказал маркиз, обращаясь к Вильфору.

– Я сейчас же буду обратно.

И Вильфор торопливо вышел; но в дверях он решил, что вид помощника королевского прокурора, куда-то стремительно шагающего, может возмутить спокойствие целого города; поэтому он пошел своей обычной внушительной походкой.

Дойдя до своего дома, он заметил в темноте какой-то белый призрак, который ждал его, не шевелясь.

То была Мерседес, которая, не получая вестей об Эдмоне, решила сама разузнать, почему арестовали ее жениха.

Завидев Вильфора, она отделилась от стены и загородила ему дорогу. Дантес говорил Вильфору о своей невесте, и Мерседес незачем было называть себя; Вильфор и без того узнал ее. Его поразили красота и благородная осанка девушки, и когда она спросила его о своем женихе, то ему показалось, что обвиняемый – это он, а она – судья.

– Тот, о ком вы говорите, тяжкий преступник, – отвечал Вильфор, – и я ничего не могу сделать для него.

Мерседес зарыдала; Вильфор хотел пройти мимо, но она остановила его.

– Скажите по крайней мере, где он, – проговорила она, – чтобы я могла узнать, жив он или умер?

– Не знаю. Он больше не в моем распоряжении, – отвечал Вильфор.

Ее пронизывающий взгляд и умоляющий жест тяготили его; он оттолкнул Мерседес, вошел в дом и быстро захлопнул за собою дверь, как бы желая отгородиться от горя этой девушки.

Но горе не так легко отогнать. Раненный им уносит его с собою, как смертельную стрелу, о которой говорит Вергилий. Вильфор запер дверь, поднялся в гостиную, но тут ноги его подкосились; из его груди вырвался вздох, похожий на рыдание, и он упал в кресло.

Тогда-то в этой больной душе обнаружились первые зачатки смертельного недуга. Тот, кого он принес в жертву своему честолюбию, ни в чем не повинный юноша, который пострадал за вину его отца, предстал перед ним, бледный и грозный, под руку со своей невестой, такой же бледной, неся ему угрызения совести, – не те угрызения, от которых больной вскакивает, словно гонимый древним роком, а то глухое, мучительное постукивание, которое время от времени терзает сердце воспоминанием содеянного и до гробовой доски все глубже и глубже разъедает совесть.

Вильфор пережил еще одну – последнюю – минуту колебания. Уже не раз, не испытывая ничего, кроме волнения борьбы, он требовал смертной казни для подсудимых; и эти казни, совершившиеся благодаря его громовому красноречию, увлекшему присяжных или судей, ни единым облачком не омрачали его чела, ибо эти подсудимые были виновны, или по крайней мере Вильфор считал их таковыми.

Но на этот раз было совсем другое: к пожизненному заключению он приговорил невинного – невинного, которому предстояло счастье: он отнял у него не только свободу, но и счастье; на этот раз он был уже не судья, а палач.

И, думая об этом, он почувствовал те глухие мучительные удары, которых он до той поры не знал; они отдавались в его груди и наполняли сердце безотчетным страхом. Так нестерпимая боль предостерегает раненого, и он никогда без содрогания не коснется пальцем открытой и кровоточащей раны, пока она не зажила.

Но рана Вильфора была из тех, которые не заживают или заживают только затем, чтобы снова открыться, причиняя еще большие муки, чем прежде.

Если бы в эту минуту раздался нежный голос Рене, моля его о пощаде, если бы прелестная Мерседес вошла и сказала ему: «Именем бога, который нас видит и судит, заклинаю вас, отдайте мне моего жениха», – Вильфор, уже почти побежденный неизбежностью, покорился бы ей окончательно и оледенелой рукой, невзирая на все, чем это ему грозило, наверное, подписал бы приказ об освобождении Дантеса; но ничей голос не прозвучал в тишине, и дверь отво-

рилась только для камердинера, который пришел доложить Вильфору, что почтовые лошади запряжены в дорожную коляску.

Вильфор встал или, вернее, вскочил, как человек, вышедший победителем из внутренней борьбы, подбежал к бюро, сунул в карман все золото, какое хранилось в одном из ящиков, покружил еще по комнате, растерянно потирая рукою лоб и бормоча бессвязные слова; наконец, почувствовав, что камердинер набросил ему на плечи плащ, он вышел, вскочил в карету и отрывисто приказал заехать на улицу Гран-Кур, к маркизу де Сен-Меран.

Несчастный Дантес был осужден безвозвратно.

Как обещал маркиз де Сен-Меран, Вильфор застал у него в кабинете его жену и дочь. При виде Рене молодой человек вздрогнул: он боялся, что она опять станет просить за Дантеса. Но, увы! Надо сознаться, в укор нашему эгоизму, что молодая девушка была занята только одним: отъездом своего жениха.

Она любила Вильфора; Вильфор уезжал накануне их свадьбы; Вильфор сам точно не знал, когда вернется, и Рене, вместо того чтобы жалеть Дантеса, проклинала человека, преступление которого разлучало ее с женихом.

Каково же было Мерседес!

На углу улицы Де-ла-Лож ее ждал Фернан, который вышел за ней следом; она вернулась в Каталаны и, полумертвая, в отчаянии, бросилась на постель. Перед этой постелью Фернан стал на колени и, взяв холодную руку, которой Мерседес не отнимала, покрывал ее жаркими поцелуями, но Мерседес даже не чувствовала их.

Так прошла ночь. Когда все масло выгорело, ночник погас, но она не заметила темноты, как не замечала света; и когда забрезжило утро, она и этого не заметила.

Горе пеленой застлало ей глаза, и она видела одного Эдмона.

– Ты здесь! – сказала она наконец, оборачиваясь к Фернану.

– Со вчерашнего дня я не отходил от тебя, – отвечал Фернан с горестным вздохом.

Моррель не считал себя побежденным. Он знал, что после допроса Дантеса отвели в тюрьму; тогда он обегал всех своих друзей, перебивал у всех, кто мог иметь влияние, но повсюду уже распространился слух, что Дантес арестован как бонапартистский агент, и так как в то время даже смельчаки считали безумием любую попытку Наполеона вернуть себе престол, то Моррель встречал только холодность, боязнь или отказ. Он воротился домой в отчаянии, сознавая в душе, что дело очень плохо и что помочь никто не в силах.

Со своей стороны Кадрусс тоже был в большом беспокойстве. Вместо того чтобы бегать по всему городу, как Моррель, и пытаться чем-нибудь помочь Дантесу, что, впрочем, ни к чему бы не привело, он засел дома с двумя бутылками наливки и старался утопить свою тревогу в вине. Но для того чтобы одурманить его смятенный ум, двух бутылок было мало. Поэтому он остался сидеть, облокотясь на хромоногий стол, между двумя пустыми бутылками, не имея сил ни выйти из дому за вином, ни забыть о случившемся, и смотрел, как при свете коптящей свечи перед ним кружились и плясали все призраки, которые Гофман черной фантастической пылью рассеял по своим влажным от пунша страницам.

Один Данглар не беспокоился и не терзался. Данглар даже радовался; он отомстил врагу и обеспечил себе на «Фараоне» должность, которой боялся лишиться. Данглар был одним из тех расчетливых людей, которые рождаются с пером за ухом и с чернильницей вместо сердца; все, что есть в мире, сводилось для него к вычитанию или к умножению, и цифра значила для него гораздо больше, чем человек, если эта цифра увеличивала итог, который мог быть уменьшен этим человеком.

Поэтому Данглар лег спать в обычный час и спал спокойно.

Вильфор, получив от графа де Сальвьё рекомендательное письмо, поцеловал Рене в обе щеки, прильнул губами к руке маркизы де Сен-Меран, пожал руку маркизу и помчался на почтовых по дороге в Экс.

Старик Дантес, убитый горем, томился в смертельной тревоге.
Что же касается Эдмона, то мы знаем, что с ним случилось.

Х. Малый покой в Тюильри

Оставим Вильфора на парижской дороге, где, платя тройные прогоны, он мчался во весь опор, и заглянем, миновав две-три гостиных, в малый тюильрийский покой, с полуциркульным окном, знаменитый тем, что это был любимый кабинет Наполеона и Людовика XVIII, а затем Луи-Филиппа.

В этом кабинете, сидя за столом орехового дерева, который он вывез из Гартвеля и который, в силу одной из причуд, свойственных выдающимся личностям, он особенно любил, король Людовик XVIII рассеянно слушал человека лет пятидесяти, с седыми волосами, с аристократическим лицом, изысканно одетого. В то же время он делал пометки на полях Горация, издания Грифиуса, издания довольно неточного, хоть и почитаемого, и дававшего его величеству обильную пищу для хитроумных филологических наблюдений.

– Так вы говорите, сударь... – сказал король.

– Что я чрезвычайно обеспокоен, ваше величество.

– В самом деле? Уж не приснились ли вам семь коров тучных и семь тощих?

– Нет, ваше величество. Это означало бы только, что нас ждут семь годов обильных и семь голодных; а при таком предусмотрительном государе, как ваше величество, голода нечего бояться.

– Так что же вас беспокоит, милейший Блакас?

– Ваше величество, мне кажется, есть основания думать, что на юге собирается гроза.

– В таком случае, дорогой герцог, – отвечал Людовик XVIII, – мне кажется, вы плохо осведомлены. Я, напротив, знаю наверняка, что там прекрасная погода.

Людовик XVIII, хоть и был человеком просвещенного ума, любил нехитрую шутку.

– Сир, – сказал де Блакас, – хотя бы для того, чтобы успокоить верного слугу, соблаговолите послать в Лангедок, в Прованс и в Дофине надежных людей, которые доставили бы точные сведения о состоянии умов в этих трех провинциях.

– *Canimus surdis*⁴, – отвечал король, продолжая делать пометки на полях Горация.

– Ваше величество, – продолжал царедворец, усмехнувшись, чтобы показать, будто он понял полустилишие венузинского поэта, – ваше величество, быть может, совершенно правы, надеясь на преданность Франции; но думается мне, что я не так уж не прав, опасаясь какой-нибудь отчаянной попытки...

– С чьей стороны?

– Со стороны Бонапарта или хотя бы его партии.

– Дорогой Блакас, – сказал король, – ваш страх не дает мне работать.

– А ваше спокойствие, сир, мешает мне спать.

– Пойдите, дорогой мой, погодите: мне пришло на ум пресчастливое замечание о *Pastor quum traheret*⁵; погодите, потом скажете.

Наступило молчание, и король написал мельчайшим почерком несколько строк на полях Горация.

– Продолжайте, дорогой герцог, – сказал он, самодовольно подымая голову, как человек, считающий, что сам набрел на мысль, когда истолковал мысль другого. – Продолжайте, я вас слушаю.

⁴ Мы поем глухим (*лат.*).

⁵ Когда вез пастух... (*лат.*) (Гораций. Оды, I, 15).

– Ваше величество, – начал Блакас, который сначала надеялся один воспользоваться вестями Вильфора, – я должен сообщить вам, что не пустые слухи и не голословные предостережения беспокоят меня. Человек благомыслящий, заслуживающий моего полного доверия и имевший от меня поручение наблюдать за югом Франции (герцог слегка замялся, произнося эти слова), прискакал ко мне на почтовых, чтобы сказать: страшная опасность угрожает королю. Вот почему я и поспешил к вашему величеству.

– *Mala ducis avi domum*⁶, – продолжал король, делая пометки.

– Может быть, вашему величеству угодно, чтобы я оставил этот предмет?

– Нет, нет, дорогой герцог, но протяните руку...

– Которую?

– Какую угодно; вот там, налево...

– Здесь, ваше величество?

– Я говорю налево, а вы ищете направо; я хочу сказать – налево от меня; да, тут; тут должно быть донесение министра полиции от вчерашнего числа... Да вот и сам Дандре... Ведь вы сказали: господин Дандре? – продолжал король, обращаясь к камердинеру, который вошел доложить о приезде министра полиции.

– Да, сир, барон Дандре, – отвечал камердинер.

– Да, барон, – сказал Людовик XVIII с едва заметной улыбкой, – войдите, барон, и расскажите герцогу все последние новости о господине Бонапарте. Не скрывайте ничего, как бы серьезно ни было положение. Правда ли, что остров Эльба – вулкан, и он извергает войну, ошетинившуюся и огненную: *bella, horrida bella*?⁷

Дандре, изящно опираясь обеими руками на спинку стула, сказал:

– Вашему величеству угодно было удостоить взглядом мое вчерашнее донесение?

– Читал, читал, но расскажите сами герцогу, который никак не может его найти, что там написано; расскажите ему подробно, чем занимается узурпатор на своем острове.

– Все верные слуги его величества, – обратился барон к герцогу, – должны радоваться последним новостям, полученным с острова Эльба. Бонапарт...

Дандре посмотрел на Людовика XVIII, который, увлекшись каким-то примечанием, не поднял даже головы.

– Бонапарт, – продолжал барон, – смертельно скучает, по целым дням он созерцает работы минеров в Порто-Лангоне.

– И почесывается для развлечения, – прибавил король.

– Почесывается? – сказал герцог. – Что вы хотите сказать, ваше величество?

– Разве вы забыли, что этот великий человек, этот герой, этот полубог страдает кожной болезнью?

– Мало того, герцог, – продолжал министр полиции, – мы почти уверены, что в ближайшее время узурпатор сойдет с ума.

– Сойдет с ума?

– Несомненно; ум его мутится, он то плачет горькими слезами, то хохочет во все горло; иной раз сидит целыми часами на берегу и бросает камешки в воду, и если камень сделает пять или шесть рикошетов, то он радуется, точно снова выиграл битву при Маренго или Аустерлице. Согласитесь сами, это явные признаки сумасшествия.

– Или мудрости, господин барон, – смеясь, сказал Людовик XVIII, – великие полководцы древности в часы досуга забавлялись тем, что бросали камешки в воду; разверните Плутарха и загляните в жизнь Сципиона Африканского.

⁶ Везешь к горю ты горькому... (*лат.*) (Гораций. Оды, I, 15).

⁷ Войны, ужасные войны? (*лат.*)

Де Блакас задумался, видя такую беспечность и в министре и в короле. Вильфор не выдал ему всей своей тайны, чтобы другой не воспользовался ею, но все же сказал достаточно, чтобы поселить в нем немалые опасения.

– Продолжайте, Дандре, – сказал король, – Блакас еще не убежден; расскажите, как узурпатор обратился на путь истинный.

Министр полиции поклонился.

– На путь истинный, – прошептал герцог, глядя на короля и на Дандре, которые говорили поочередно, как вергилиевские пастухи. – Узурпатор обратился на путь истинный?

– Безусловно, любезный герцог.

– На какой же?

– На путь добра. Объясните, барон.

– Дело в том, герцог, – вполне серьезно начал министр, – что недавно Наполеон принимал смотр; двое или трое из его старых ворчунов, как он их называет, изъявили желание возвратиться во Францию; он их отпустил, настойчиво советуя им послужить их доброму королю; это его собственные слова, герцог, могу вас уверить.

– Ну, как, Блакас? Что вы на это скажете? – спросил король с торжествующим видом, отрываясь от огромной книги, раскрытой перед ним.

– Я скажу, ваше величество, что один из нас ошибается, или господин министр полиции, или я; но так как невозможно, чтобы ошибался господин министр полиции, ибо он охраняет благополучие и честь вашего величества, то, вероятно, ошибаюсь я. Однако на месте вашего величества я все же расспросил бы то лицо, о котором я имел честь докладывать; я даже настаиваю, чтобы ваше величество удостоили его этой чести.

– Извольте, герцог; по вашему указанию я приму кого хотите, но я хочу принять его с оружием в руках. Господин министр, нет ли у вас донесения посвежее? На этом проставлено двадцатое февраля, а ведь сегодня уже третье марта.

– Нет, ваше величество, но я жду нового донесения с минуты на минуту. Я выехал из дому с утра, и, может быть, оно получено без меня.

– Поезжайте в префектуру, и если оно еще не получено, то... – Людовик засмеялся, – то сочините сами; ведь так это делается?

– Хвала богу, сир, нам не нужно ничего выдумывать, – отвечал министр, – нас ежедневно заваливают самыми подробными доносами; их пишут всякие горемыки в надежде получить что-нибудь за услуги, которых они не оказывают, но хотели бы оказать. Они рассчитывают на счастливый случай и надеются, что какое-нибудь неожиданное событие оправдает их предсказания.

– Хорошо, ступайте, – сказал король, – и не забудьте, что я вас жду.

– Ваше величество, через десять минут я здесь...

– А я, ваше величество, – сказал де Блакас, – пойду приведу моего вестника.

– Пойдите, пойдите, – сказал король. – Знаете, Блакас, мне придется изменить ваш герб; я дам вам орла с распушенными крыльями, держащего в когтях добычу, которая тщетно силится вырваться, и с девизом: *Tenax*⁸.

– Я вас слушаю, ваше величество, – отвечал герцог, кусая ногти от нетерпения.

– Я хотел посоветоваться с вами об этом стихе: *Molli fugiens anhelitu*...⁹ Полноте, дело идет об олене, которого преследует волк. Ведь вы же охотник и обер-егермейстер; как вам нравится это *Molli anhelitu*?

– Превосходно, ваше величество. Но мой вестник похож на того оленя, о котором вы говорите, ибо он проехал двести двадцать лье на почтовых, и притом меньше чем в три дня.

⁸ Цепкий (лат.).

⁹ Так и ты побежишь, задыхаясь... (лат.) (Гораций. Оды, I, 15).

– Это лишний труд и беспокойство, когда у нас есть телеграф, который сделал бы то же самое в три или четыре часа, и притом без всякой одышки.

– Ваше величество, вы плохо вознаграждаете рвение бедного молодого человека, который примчался издалека, чтобы предостеречь ваше величество. Хотя бы ради графа Сальвьё, который мне его рекомендует, примите его милостиво, прошу вас.

– Граф Сальвьё? Камергер моего брата?

– Он самый.

– Да-да, ведь он в Марселе.

– Он оттуда мне и пишет.

– Так и он сообщает об этом заговоре?

– Нет, но рекомендует господина де Вильфор и поручает мне представить его вашему величеству.

– Вильфор! – вскричал король. – Так его зовут Вильфор?

– Да, сир.

– Это он и приехал из Марселя?

– Он самый.

– Что же вы сразу не назвали его имени? – сказал король, и на лице его показалась легкая тень беспокойства.

– Сир, я думал, что его имя неизвестно вашему величеству.

– Нет-нет, Блакас; это человек дельный, благородного образа мыслей, главное – честолюбивый. Да вы же знаете его отца, хотя бы по имени...

– Его отца?

– Ну да, Нуартье.

– Жирондист? Сенатор?

– Вот именно.

– И ваше величество доверили государственную должность сыну такого человека?

– Блакас, мой друг, вы ничего не понимаете; я вам сказал, что Вильфор честолюбив; чтобы выслужиться, Вильфор пожертвует всем, даже родным отцом.

– Так прикажете привести его?

– Сию же минуту; где он?

– Ждет внизу, в моей карете.

– Ступайте за ним.

– Бегу.

И герцог побежал с живостью молодого человека; его искренний роялистский пыл придавал ему силы двадцатилетнего юноши.

Людовик XVIII, оставшись один, снова устремил взгляд на раскрытого Горация и прошептал: «*Justum et tenacem propositi virum...*»¹⁰

Де Блакас возвратился так же поспешно, как вышел, но в приемной ему пришлось сослаться на волю короля: пыльное платье Вильфора, его наряд, отнюдь не отвечающий придворному этикету, возбудили неудовольствие маркиза де Брезе, который изумился дерзости молодого человека, решившегося в таком виде явиться к королю. Но герцог одним словом: «По велению его величества» – устранил все препятствия, и, несмотря на возражения, которые порядка ради продолжал бормотать церемониймейстер, Вильфор вошел в кабинет.

Король сидел на том же месте, где его оставил герцог. Отворив дверь, Вильфор очутился прямо против него; молодой человек невольно остановился.

– Войдите, господин де Вильфор, – сказал король, – войдите!

Вильфор поклонился и сделал несколько шагов в ожидании вопроса короля.

¹⁰ Муж справедливый и твердый в решениях... (лат.) (Гораций. Оды, III, 3).

– Господин де Вильфор, – начал Людовик XVIII, – герцог Блакас говорит, что вы имеете сообщить нам нечто важное.

– Сир, герцог говорит правду, и я надеюсь, что и вашему величеству угодно будет согласиться с ним.

– Прежде всего, так ли велика опасность, как меня хотят уверить?

– Ваше величество, я считаю ее серьезной; но благодаря моей поспешности она, надеюсь, предотвратима.

– Говорите подробно, не стесняйтесь, – сказал король, начиная и сам заражаться волнением, которое отражалось на лице герцога и в голосе Вильфора, – говорите, но начните сначала, я во всем и везде люблю порядок.

– Я представлю вашему величеству подробный отчет; но прошу извинить, если мое смущение несколько затемнит смысл моих слов.

Взгляд, брошенный на короля после этого вкрадчивого вступления, сказал Вильфору, что августейший собеседник внимает ему с благосклонностью, и он продолжал:

– Ваше величество, я приехал со всей поспешностью в Париж, чтобы уведомить ваше величество о том, что по долгу службы я открыл не какое-нибудь обыденное и пустое сообщничество, какие каждый день затеваются в низших слоях населения и войска, но подлинный заговор, который угрожает трону вашего величества. Сир, узурпатор снаряжает три корабля; он замышляет какое-то дело, может быть, безумное, но тем не менее и грозное, несмотря на все его безумие. В настоящую минуту он уже, должно быть, покинул остров Эльба и направился – куда? – не знаю. Без сомнений, он попытается высадиться либо в Неаполе, либо на берегах Тосканы, а может быть, даже и во Франции. Вашему величеству небезызвестно, что властитель острова Эльба сохранил сношения и с Италией и с Францией.

– Да, – отвечал король в сильном волнении, – совсем недавно мы узнали, что бонапартисты собираются на улице Сен-Жак; но продолжайте, прошу вас; как вы получили все эти сведения?

– Ваше величество, я почерпнул их из допроса, который я учинил одному марсельскому моряку. Я давно начал следить за ним и в самый день моего отъезда отдал приказ об его аресте. Этот человек, несомненный бонапартист, тайно ездил на остров Эльба; там он виделся с маршалом, и тот дал ему устное поручение к одному парижскому бонапартисту, имени которого я от него так и не добился; но поручение состояло в том, чтобы подготовить умы к возвращению (прошу помнить, ваше величество, что я передаю слова подсудимого), к возвращению, которое должно последовать в самое ближайшее время.

– А где этот человек? – спросил король.

– В тюрьме, ваше величество.

– И дело показалось вам серьезным?

– Настолько серьезным, что, узнав о нем на семейном торжестве, в самый день моего обручения, я тотчас все бросил, и невесту, и друзей, все отложил до другого времени и явился повергнуть к стопам вашего величества и мои опасения, и заверения в моей преданности.

– Да, – сказал Людовик, – ведь вы должны были жениться на мадемуазель де Сен-Меран.

– На дочери одного из преданнейших ваших слуг.

– Да, да; но вернемся к этому сообщничеству, господин де Вильфор.

– Ваше величество, боюсь, что это нечто большее, чем сообщничество, боюсь, что это заговор.

– В наше время, – отвечал Людовик с улыбкой, – легко затеять заговор, но трудно привести его в исполнение уже потому, что мы, недавно возвратясь на престол наших предков, обращаем взгляд одновременно на прошлое, на настоящее и на будущее. Вот уже десять месяцев, как мои министры зорко следят за тем, чтобы берега Средиземного моря бдительно охранялись. Если Бонапарт высадится в Неаполе, то вся коалиция подымется против него, прежде

чем он успеет дойти до Пьомбино; если он высадится в Тоскане, то ступит на вражескую землю; если он высадится во Франции, то лишь с горсточкой людей, и мы справимся с ним без труда, потому что население ненавидит его. Поэтому успокойтесь, но будьте все же уверены в нашей королевской признательности.

– А! Вот и господин Дандре! – воскликнул герцог Блакас.

На пороге кабинета стоял бледный министр полиции; взгляд его блуждал, словно сознание покидало его. Вильфор хотел удалиться, но де Блакас удержал его за руку.

XI. Корсиканский людоед

Людовик XVIII, увидав отчаянное лицо министра полиции, с силой оттолкнул стол, за которым сидел.

– Что с вами, барон? – воскликнул он. – Почему вы в таком смятении? Неужели из-за догадок герцога Блакаса, которые подтверждает господин де Вильфор?

Герцог тоже быстро подошел к барону, но страх придворного пересилил злорадство государственного деятеля: в самом деле, положение было таково, что несравненно лучше было самому оказаться посрамленным, чем видеть посрамленным министра полиции.

– Ваше величество... – пролепетал барон.

– Говорите! – сказал король.

Тогда министр полиции, уступая чувству отчаяния, бросился на колени перед Людовиком XVIII, который отступил назад и нахмурил брови.

– Заговорите вы или нет? – спросил он.

– Ах, ваше величество! Какое несчастье! Что мне делать? Я безутешен!

– Милостивый государь, – сказал Людовик XVIII, – я вам приказываю говорить.

– Ваше величество, узурпатор покинул остров Эльба двадцать восьмого февраля и пристал к берегу первого марта.

– Где? – быстро спросил король.

– Во Франции, ваше величество, в маленькой гавани близ Антиб, в заливе Жуан.

– Первого марта узурпатор высадился во Франции близ Антиб, в заливе Жуан, в двухстах пятидесяти лье от Парижа, а вы узнали об этом только нынче, третьего марта!.. Нет, милостивый государь, этого не может быть; либо вас обманули, либо вы сошли с ума.

– Увы, ваше величество, это совершенная правда!

Людовик XVIII задрожал от гнева и страха и порывисто вскочил, словно неожиданный удар поразил его вдруг в самое сердце.

– Во Франции! – закричал он. – Узурпатор во Франции! Стало быть, за этим человеком не следили? Или, почем знать, были с ним заодно?

– Сир, – воскликнул герцог Блакас, – такого человека, как барон Дандре, нельзя обвинять в измене! Ваше величество, все мы были слепы, и министр полиции поддался общему ослеплению, вот и все!

– Однако... – начал Вильфор, но вдруг осекся, – простите великодушно, ваше величество, – сказал он с поклоном. – Мое усердие увлекло меня; прошу ваше величество простить меня.

– Говорите, сударь, говорите смело, – сказал король. – Вы один предупредили нас о несчастье; помогите нам найти средство отразить его.

– Ваше величество, узурпатора на юге ненавидят; полагаю, что если он решится идти через юг, то легко будет поднять против него Прованс и Лангедок.

– Верно, – сказал министр, – но он идет через Гап и Систерон.

– Идет! – прервал король. – Стало быть, он идет на Париж?

Министр полиции не ответил ничего, что было равносильно признанию.

– А Дофине? – спросил король, обращаясь к Вильфору. – Можно ли, по-вашему, и эту провинцию поднять, как Прованс?

– Мне горько говорить вашему величеству жестокую правду, но настроение в Дофине много хуже, чем в Провансе и в Лангедоке. Горцы – бонапартисты, ваше величество.

– Он был хорошо осведомлен, – прошептал король. – А сколько у него войска?

– Не знаю, ваше величество, – отвечал министр полиции.

– Как не знаете? Вы забыли справиться об этом? Правда, это не столь важно, – прибавил король с убийственной улыбкой.

– Ваше величество, я не мог об этом справиться; депеша сообщает только о высадке узурпатора и о пути, по которому он идет.

– А как вы получили депешу? – спросил король.

Министр опустил голову и покраснел, как рак.

– По телеграфу, ваше величество.

Людовик XVIII сделал шаг вперед и скрестил руки на груди, как Наполеон.

– Итак, – сказал он, побледнев от гнева, – семь союзных армий ниспровергли этого человека; чудом возвратился я на престол моих предков после двадцатипятилетнего изгнания; все эти двадцать пять лет я изучал, обдумывал, узнавал людей и дела той Франции, которая была мне обещана, – и для чего? Для того чтобы в ту минуту, когда я достиг цели моих желаний, сила, которую я держал в руках, разразилась громом и разбила меня!

– Ваше величество, это рок, – пробормотал министр, чувствуя, что такое бремя, невесомое для судьбы, достаточно, чтобы раздавить человека.

– Стало быть, то, что говорили про нас наши враги, справедливо: мы ничему не научились, ничего не забыли! Если бы меня предали, как его, я мог бы еще утешиться. Но быть среди людей, которых я осыпал почестями, которые должны бы беречь меня больше, чем самих себя, ибо мое счастье – их счастье: до меня они были ничем, после меня опять будут ничем, – и погибнуть из-за их беспомощности, их глупости! Да, милостивый государь, вы правы, это – рок!

Министр, не смея поднять голову, слушал эту грозную отповедь. Блакас отирал пот с лица; Вильфор внутренне улыбался, чувствуя, что значение его возрастает.

– Пасть, – продолжал Людовик XVIII, который с первого взгляда измерил глубину пропасти, разверзшейся перед монархией, – пасть и узнать о своем падении по телеграфу! Мне было бы легче взойти на эшафот, как мой брат Людовик XVI, чем спускаться по тюильрийской лестнице под бичом насмешек... Вы не знаете, милостивый государь, что значит во Франции стать посмешищем, а между тем вам следовало это знать.

– Ваше величество, – бормотал министр, – пощадите!..

– Подойдите, господин де Вильфор, – продолжал король, обращаясь к молодому человеку, который неподвижно стоял поодаль, следя за разговором, который касался судьбы целого государства, – подойдите и скажите ему, что можно было знать наперед все то, чего он не знал.

– Ваше величество, физически невозможно было предугадать замыслы, которые узурпатор скрывал решительно от всех.

– Физически невозможно! Какой веский довод! К сожалению, веские доводы то же, что и люди с весом, я узнаю им цену. Министру, имеющему в своем распоряжении целое управление, департаменты, агентов, сыщиков, шпионов и секретный фонд в полтора миллиона франков, невозможно знать, что делается в шестидесяти милях от берегов Франции? Вот молодой человек, у которого не было ни одного из этих средств, и он, простой судейский чиновник, знал больше, чем вы со всей вашей полицией, и он спас бы мою корону, если бы имел право, как вы, распоряжаться телеграфом.

Взгляд министра полиции с выражением глубочайшей досады обратился на Вильфора, который склонил голову со скромностью победителя.

– Про вас я не говорю, Блакас, – продолжал король, – если вы ничего и не открыли, то по крайней мере были настолько умны, что упорствовали в своих подозрениях; другой, может быть, отнесся бы к сообщению господина де Вильфор, как к пустякам, или подумал бы, что оно внушено корыстным честолюбием.

Это был намек на те слова, которые министр полиции с такой уверенностью произнес час тому назад.

Вильфор понял игру короля. Другой, может быть, упоенный успехом, дал бы увлечь себя похвалами; но он боялся нажать смертельного врага в министре полиции, хотя и чувствовал, что тот погиб безвозвратно. Однако министр, не умевший в полноте власти предугадать замыслы Наполеона, мог в судорогах своей агонии проникнуть в тайну Вильфора: для этого ему стоило только допросить Дантеса. Поэтому, вместо того чтобы добить министра, он пришел ему на помощь.

– Ваше величество, – сказал Вильфор, – стремительность событий доказывает, что только бог, послав бурю, мог остановить их. То, что вашему величеству угодно приписывать моей проницательности, всего-навсего дело случая; я только воспользовался этим случаем, как преданный слуга. Не цените меня выше, чем я заслуживаю, сир, чтобы потом не разочароваться в вашем первом впечатлении.

Министр полиции поблагодарил Вильфора красноречивым взглядом, а Вильфор понял, что успел в своем намерении и, не утратив благодарности короля, приобрел друга, на которого в случае нужды мог надеяться.

– Пусть будет так, – сказал король. – А теперь, господа, – продолжал он, обращаясь к де Блакасу и министру полиции, – вы мне более не нужны, можете идти... То, что теперь остается делать, относится к ведению военного министра.

– К счастью, – сказал герцог, – мы можем надеяться на армию: вашему величеству известно, что все донесения свидетельствуют об ее преданности вашей короне.

– Не говорите мне о донесениях; теперь я знаю, как им можно верить. Да, кстати, о донесениях, барон: какие новости об улице Сен-Жак?

– Об улице Сен-Жак! – невольно воскликнул Вильфор, но тотчас спохватился: – Простите, сир, преданность вашему величеству то и дело заставляет меня забывать – не о моем уважении, оно слишком глубоко запечатлено в моем сердце, – но о правилах этикета.

– Прошу вас, – отвечал король, – сегодня вы приобрели право спрашивать.

– Сир, – начал министр полиции, – я как раз хотел доложить сегодня вашему величеству о новых сведениях, собранных по этому делу, но внимание вашего величества было отвлечено грозным событием в заливе Жуан; теперь эти сведения уже не могут представлять для вашего величества никакого интереса.

– Напротив, – отвечал король, – это дело имеет, мне кажется, прямую связь с тем, которое теперь занимает нас, и смерть генерала Кенеля, может быть, наведет нас на след большого внутреннего заговора.

Услышав имя Кенель, Вильфор вздрогнул.

– Действительно, ваше величество, – продолжал министр полиции, – судя по всему, это не самоубийство, как полагали сначала, а убийство. Генерал Кенель, по-видимому, исчез по выходе из бонапартистского клуба. Какой-то неизвестный приходил к нему в то утро и назначил ему свидание на улице Сен-Жак. К сожалению, камердинер, который причесывал генерала, когда незнакомца ввели в кабинет, и слышал, как он назначил свидание на улице Сен-Жак, не запомнил номера дома.

Пока министр полиции сообщал королю эти сведения, Вильфор, ловивший каждое слово, то краснел, то бледнел.

Король повернулся к нему:

– Не думаете ли вы, господин де Вильфор, что генерал Кенель, которого почитали приверженцем узурпатора, между тем как на самом деле он был всецело предан мне, мог погибнуть от руки бонапартистов?

– Это возможно, ваше величество; но неужели больше ничего не известно?

– Уже напали на след человека, назначившего свидание.

– Напали на след? – повторил Вильфор.

– Да, камердинер сообщил его приметы: это человек лет пятидесяти или пятидесяти двух, черноволосый, глаза черные, брови густые, с усами, носит синий сюртук, застегнутый доверху; в петлице – ленточка Почетного легиона. Вчера выследили человека, который в точности отвечает приметам, но он скрылся на углу улиц Ла-Жюсьен и Кок-Эрон.

Вильфор с первых слов министра оперся на спинку кресла, ноги у него подкашивались, но, когда он услышал, что незнакомец ушел от полиции, он облегченно вздохнул.

– Найдите этого человека, – сказал король министру полиции, – потому что, если генерал Кенель, который был бы нам сейчас так нужен, пал от руки убийц, будь то бонапартисты или кто иной, я хочу, чтобы его убийцы были жестоко наказаны.

Вильфору понадобилось все его хладнокровие, чтобы не выдать ужаса, в который повергли его последние слова короля.

– Странное дело! – продолжал король с досадой. – Полиция считает, что все сказано, когда она говорит: совершено убийство, и что все сделано, когда она прибавляет: напали на след виновных.

– В этом случае, я надеюсь, ваше величество останетесь довольны.

– Хорошо, увидим; не задерживаю вас, барон. Господин де Вильфор, вы устали после долгого пути, ступайте отдохните. Вы, верно, остановились у вашего отца?

У Вильфора потемнело в глазах.

– Нет, ваше величество, я остановился на улице Турнон, в гостинице «Мадрид».

– Но вы его видели?

– Ваше величество, я прямо поехал к герцогу Блакас.

– Но вы его увидите?

– Не думаю, ваше величество!

– Да, правда, – сказал король, и по его улыбке видно было, что все эти вопросы заданы не без умысла. – Я забыл, что вы не в дружбе с господином Нуартье и что это также жертва, принесенная моему трону, за которую я должен вас вознаградить.

– Милость ко мне вашего величества – награда, настолько превышающая все мои желания, что мне нечего больше просить у короля.

– Все равно мы вас не забудем, будьте спокойны; а пока, – король снял с груди крест Почетного легиона, который всегда носил на своем синем фраке, возле креста св. Людовика, над звездой Кармильской богородицы и св. Лазаря, и подал Вильфору, – пока возьмите этот крест.

– Ваше величество ошибаетесь, – сказал Вильфор, – этот крест офицерский.

– Неважно, возьмите его; у меня нет времени потребовать другой. Блакас, позаботьтесь о том, чтобы господину де Вильфору была выдана грамота.

На глазах Вильфора блеснули слезы горделивой радости; он принял крест и поцеловал его.

– Какие еще приказания угодно вашему величеству дать мне? – спросил Вильфор.

– Отдохните, а потом не забывайте, что если в Париже вы не в силах служить мне, то в Марселе вы можете оказать мне большие услуги.

– Ваше величество, – отвечал Вильфор, кланяясь, – через час я покину Париж.

– Ступайте, – сказал король, – и если бы я вас забыл (у королей короткая память), то не бойтесь напомнить о себе... Барон, прикажите позвать ко мне военного министра. Блакас, оставайтесь.

– Да, сударь, – сказал министр полиции Вильфору, выходя из Тюильри, – вы не ошиблись дверью, и карьера ваша обеспечена.

– Надолго ли? – прошептал Вильфор, раскланиваясь с министром, карьера которого была кончена, и стал искать глазами карету.

По набережной проезжал фиакр, Вильфор подозвал его, фиакр подъехал; Вильфор сказал адрес, бросился в карету и предался честолюбивым мечтам. Через десять минут он уже был у себя, велел подать лошадей через два часа и спросил завтрак.

Он уже садился за стол, когда чья-то уверенная и сильная рука дернула звонок. Слуга пошел отворять, и Вильфор услышал голос, называвший его имя.

«Кто может знать, что я в Париже?» – подумал помощник королевского прокурора.

Слуга воротился.

– Что там такое? – спросил Вильфор. – Кто звонил? Кто меня спрашивает?

– Незнакомый господин и не хочет сказать своего имени.

– Как? Не хочет сказать своего имени? А что ему нужно от меня?

– Он хочет переговорить с вами.

– Со мной?

– Да.

– Он назвал меня по имени?

– Да.

– А каков он собой?

– Да человек лет пятидесяти.

– Маленький? Высокий?

– С вас ростом.

– Брюнет или блондин?

– Брюнет, темный брюнет; черные волосы, черные глаза, черные брови.

– А одет? – с живостью спросил Вильфор. – Как он одет?

– В синем сюртуке, застегнутом доверху, с лентой Почетного легиона.

– Это он! – прошептал Вильфор, бледнея.

– Черт возьми! – сказал, появляясь в дверях, человек, приметы которого мы описывали уже дважды. – Сколько церемоний! Или в Марселе сыновья имеют обыкновение заставлять отцов дожидаться в передней?

– Отец! – вскричал Вильфор. – Так я не ошибся... Я так и думал, что это вы...

– А если ты думал, что это я, – продолжал гость, ставя в угол палку и кладя шляпу на стул, – то позволь тебе сказать, милый Жерар, что с твоей стороны не очень-то любезно заставлять меня дожидаться.

– Идите, Жермен, – сказал Вильфор.

Слуга удалился с выражением явного удивления.

ХII. Отец и сын

Господин Нуартье, – ибо это действительно был он, – следил глазами за слугою, пока дверь не закрылась за ним; потом, опасаясь, вероятно, чтобы слуга не стал подслушивать из передней, он снова приотворил дверь: предосторожность оказалась не лишней, и проворство, с которым Жермен ретировался, не оставляло сомнений, что и он не чужд пороку, погубившему наших праотцев. Тогда г-н Нуартье собственноручно затворил дверь из передней, потом

запер на задвижку дверь в спальню и наконец подал руку Вильфору, глядевшему на него с изумлением.

– Знаешь, Жерар, – сказал он сыну с улыбкой, истинный смысл которой трудно было определить, – нельзя сказать, чтобы ты был в восторге от встречи со мной.

– Что вы, отец, я чрезвычайно рад; но я, признаться, так мало рассчитывал на ваше посещение, что оно меня несколько озадачило.

– Но, мой друг, – продолжал г-н Нуартье, садясь в кресло, – я мог бы сказать вам то же самое. Как? Вы мне пишете, что ваша помолвка назначена в Марселе на двадцать восьмое февраля, а третьего марта вы в Париже?

– Да, я здесь, – сказал Жерар, придвигаясь к г-ну Нуартье, – но вы на меня не сетуйте; я приехал сюда ради вас, и мой приезд спасет вас, быть может.

– Вот как! – отвечал г-н Нуартье, небрежно развалившись в кресле. – Расскажите же мне, господин прокурор, в чем дело; это очень любопытно.

– Вы слышали о некоем бонапартистском клубе на улице Сен-Жак?

– В номере пятьдесят третьем? Да; я его вице-президент.

– Отец, ваше хладнокровие меня ужасает.

– Что ты хочешь, милый? Человек, который был приговорен к смерти монтаньярами, бежал из Парижа в возе сена, прятался в бордоских равнинах от ищеек Робеспьера, успел выскнуть ко многому. Итак, продолжай. Что же случилось в этом клубе на улице Сен-Жак?

– Случилось то, что туда пригласили генерала Кенеля и что генерал Кенель, выйдя из дому в девять часов вечера, через двое суток был найден в Сене.

– И кто вам рассказал об этом занятом случае?

– Сам король.

– Ну, а я, – сказал Нуартье, – в ответ на ваш рассказ сообщу вам новость.

– Мне кажется, что я уже знаю ее.

– Так вы знаете о высадке его величества императора?

– Молчите, отец, умоляю вас; во-первых, ради вас самих, а потом и ради меня. Да, я знал эту новость, и знал даже раньше, чем вы, потому что я три дня скакал из Марселя в Париж и рвал на себе волосы, что не могу перебросить через двести лье ту мысль, которая жжет мне мозг.

– Три дня? Вы с ума сошли? Три дня тому назад император еще не высаживался.

– Да, но я уже знал о его намерении.

– Каким это образом?

– Из письма с острова Эльба, адресованного вам.

– Мне?

– Да, вам; и я его перехватил у гонца. Если бы это письмо попало в руки другого, быть может, вы были бы уже расстреляны.

Отец Вильфора рассмеялся.

– По-видимому, – сказал он, – Бурбоны научились у императора действовать без проволок... Расстрелян! Друг мой, как вы спешите! А где это письмо? Зная вас, я уверен, что вы его тщательно припрятали.

– Я сжег его до последнего клочка, ибо это письмо – ваш смертный приговор.

– И конец вашей карьеры, – холодно отвечал Нуартье. – Да, вы правы, но мне нечего бояться, раз вы мне покровительствуете.

– Мало того: я вас спасаю.

– Вот как? Это становится интересно! Объяснитесь.

– Вернемся к клубу на улице Сен-Жак.

– Видно, этот клуб не на шутку волнует господ полицейских. Что же они так плохо ищут его? Давно бы нашли!

– Они его не нашли, но напали на след.

– Это сакраментальные слова, я знаю; когда полиция бессильна, она говорит, что напала на след, и правительство спокойно ждет, пока она не явится с виноватым видом и не доложит, что след утерян.

– Да, но найден труп; генерал Кенель мертв, а во всех странах мира это называется убийством.

– Убийством? Но нет никаких доказательств, что генерал стал жертвою убийства. В Сене каждый день находят людей, которые бросились в воду с отчаяния или утонули, потому что не умели плавать.

– Вы очень хорошо знаете, что генерал не утопился с отчаяния и что в январе месяце в Сене не купаются. Нет-нет, не обольщайтесь: эту смерть называют убийством.

– А кто ее так называет?

– Сам король.

– Король? Я думал, он философ и понимает, что в политике нет убийств. В политике, мой милый, – вам это известно, как и мне, – нет людей, а есть идеи; нет чувств, а есть интересы. В политике не убивают человека, а устраняют препятствие, только и всего. Хотите знать, как все это произошло? Я вам расскажу. Мы думали, что на генерала Кенеля можно положиться, нам рекомендовали его с острова Эльба. Один из нас отправился к нему и пригласил его на собрание на улицу Сен-Жак; он приходит, ему открывают весь план, отъезд с острова Эльба и высадку на французский берег; потом, все выслушав, все узнав, он заявляет, что он роялист; все переглядываются; с него берут клятву, он ее дает, но с такой неохотой, что поистине уж лучше бы он не искушал господ бога; и все же генералу дали спокойно уйти. Он не вернулся домой. Что ж вы хотите? Он, верно, сбился с дороги, когда вышел от нас, только и всего. Убийство! Вы меня удивляете, Вильфор; помощник королевского прокурора хочет построить обвинение на таких шатких уликах. Разве мне когда-нибудь придет в голову сказать вам, когда вы, как преданный роялист, отправляете на тот свет одного из наших: «Сын мой, вы совершили убийство!» Нет, я скажу: «Отлично, милостивый государь, вы победили; очередь за нами».

– Берегитесь, отец; когда придет наша очередь, мы будем безжалостны.

– Я вас не понимаю.

– Вы рассчитываете на возвращение узурпатора?

– Не скрою.

– Вы ошибаетесь, он не сделает и десяти лье в глубь Франции; его выследят, догонят и затравят, как дикого зверя.

– Дорогой друг, император сейчас на пути в Гренобль; десятого или двенадцатого он будет в Лионе, а двадцатого или двадцать пятого в Париже.

– Население подымется...

– Чтобы приветствовать его.

– У него горсточка людей, а против него вышлют целые армии.

– Которые с кликами проводят его до столицы; поверьте мне, Жерар, вы еще ребенок; вам кажется, что вы все знаете, когда телеграф, через три дня после высадки, сообщает вам: «Узурпатор высадился в Каннах с горстью людей, за ним выслана погоня». Но где он? Что он делает? Вы ничего не знаете. Вы только знаете, что выслана погоня. И так за ним будут гнаться до самого Парижа без единого выстрела.

– Гренобль и Лион – роялистские города, они воздвигнут перед ним непреодолимую преграду.

– Гренобль с радостью распахнет перед ним ворота; весь Лион выйдет ему навстречу. Поверьте мне, мы осведомлены не хуже вас, и наша полиция стоит вашей. Угодно вам доказательство: вы хотели скрыть от меня свой приезд, а я узнал о нем через полчаса после того, как вы миновали заставу. Вы дали свой адрес только кучеру почтовой кареты, а мне он известен,

как явствует из того, что я явился к вам в ту самую минуту, когда вы садились за стол. Поэтому позвоните и спросите еще прибор; мы пообедаем вместе.

– В самом деле, – отвечал Вильфор, глядя на отца с удивлением, – вы располагаете самыми точными сведениями.

– Да это очень просто; вы, стоящие у власти, владеете только теми средствами, которые можно купить за деньги; а мы, ожидающие власти, располагаем всеми средствами, которые дает нам в руки преданность, которые нам дарит самоотвержение.

– Преданность? – повторил Вильфор с улыбкой.

– Да, преданность; так для приличия называют честолюбие, питающее надежды на будущее.

И отец Вильфора, видя, что тот не зовет слугу, сам протянул руку к звонку.

Вильфор удержал его:

– Подождите, отец, еще одно слово.

– Говорите.

– Как наша полиция ни плоха, она знает одну страшную тайну.

– Какую?

– Приметы того человека, который приходил за генералом Кенелем в тот день, когда он исчез.

– Вот как! Она их знает? Да неужели? И какие же это приметы?

– Смуглая кожа, волосы, бакенбарды и глаза черные, синий сюртук, застегнутый доверху, ленточка Почетного легиона в петлице, широкополая шляпа и камышовая трость.

– Ага! Полиция это знает? – сказал Нуартье. – Почему же в таком случае она не задержала этого человека?

– Потому что он ускользнул от нее вчера или третьего дня на углу улицы Кок-Эрон.

– Недаром я вам говорил, что ваша полиция – дура.

– Да, но она в любую минуту может найти его.

– Разумеется, – сказал Нуартье, беспечно поглядывая кругом. – Если этот человек не будет предупрежден, но его предупредили. Поэтому, – прибавил он с улыбкой, – он изменит лицо и платье.

При этих словах он встал, снял сюртук и галстук, подошел к столу, на котором лежали вещи из дорожного несессера Вильфора, взял бритву, намылил себе щеки и твердой рукой сбрил уличающие его бакенбарды, имевшие столь важное значение для полиции.

Вильфор смотрел на него с ужасом, не лишенным восхищения.

Сббив бакенбарды, Нуартье изменил прическу; вместо черного галстука повязал цветной, взяв его из раскрытого чемодана; снял свой синий двубортный сюртук и надел коричневый однобортный сюртук Вильфора; примерил перед зеркалом его шляпу с загнутыми полями и, видимо, остался ею доволен; свою палку он оставил в углу за камином, а вместо нее в руке его засвистала легкая бамбуковая тросточка, сообщавшая походке изящного помощника королевского прокурора ту непринужденность, которая являлась его главным достоинством.

– Ну, что? – сказал он, оборачиваясь к ошеломленному Вильфору. – Как ты думаешь, опознает меня теперь полиция?

– Нет, отец, – пробормотал Вильфор, – по крайней мере надеюсь.

– А что касается этих вещей, которые я оставляю на твое попечение, то я полагаюсь на твою осмотрительность. Ты сумеешь припрятать их.

– Будьте покойны! – сказал Вильфор.

– И скажу тебе, что ты, пожалуй, прав; может быть, ты и в самом деле спас мне жизнь, но не беспокойся, мы скоро поквитаемся.

Вильфор покачал головой.

– Не веришь?

– По крайней мере надеюсь, что вы ошибаетесь.
– Ты еще увидишь короля?
– Может быть.
– Хочешь прослыть у него пророком?
– Пророков, предсказывающих несчастье, плохо принимают при дворе.
– Да, но рано или поздно им отдают должное; допустим, что будет вторичная реставрация; тогда ты прослывешь великим человеком.
– Что же я должен сказать королю?
– Скажи ему вот что: «Ваше величество, вас обманывают относительно состояния Франции, настроения городов, духа армии; тот, кого в Париже вы называете «корсиканским людоедом», кого еще зовут узурпатором в Невере, именуется уже Бонапартом в Лионе и императором в Гренобле. Вы считаете, что его преследуют, гонят, что он бежит; а он летит, как орел, которого он нам возвращает. Вы считаете, что его войско умирает с голоду, истощено походом, готово разбежаться; оно растет, как снежный ком. Ваше величество, уезжайте, оставьте Францию ее истинному владыке, тому, кто не купил ее, а завоевал; уезжайте, не потому, чтобы вам грозила опасность: ваш противник достаточно силен, чтобы проявить милость, а потому, что потомку Людовика Святого унизительно быть обязанным жизнью победителю Арколи, Маренго и Аустерлица». Скажи все это королю, Жерар, или, лучше, не говори ему ничего, скрой от всех, что ты был в Париже, не говори, зачем сюда ездил и что здесь делал; найми лошадей, и если сюда ты скакал, то обратно лети; вернись в Марсель ночью; войди в свой дом с заднего крыльца и сиди там, тихо, скромно, никуда не показываясь, а главное – сиди смирно, потому что на этот раз, клянусь тебе, мы будем действовать, как люди сильные, знающие своих врагов. Уезжайте, сын мой, уезжайте, и в награду за послушание отцовскому велению, или, если вам угодно, за уважение к советам друга, мы сохраним за вами ваше место. Это позволит вам, – добавил Нуартье с улыбкой, – спасти меня в другой раз, если когда-нибудь на политических качелях вы окажетесь наверху, а я внизу. Прощайте, Жерар; в следующий приезд остановитесь у меня.

И Нуартье вышел с тем спокойствием, которое ни на минуту не покидало его во все продолжение этого нелегкого разговора.

Вильфор, бледный и встревоженный, подбежал к окну и, раздвинув занавески, увидел, как отец его невозмутимо прошел мимо двух-трех подозрительных личностей, стоявших на улице, вероятно, для того, чтобы задержать человека с черными бакенбардами, в синем сюртуке и в широкополой шляпе.

Вильфор, весь дрожа, не отходил от окна, пока отец его не исчез за углом. Потом он схватил оставленные отцом вещи, засунул на самое дно чемодана черный галстук и синий сюртук, скомкал шляпу и бросил ее в нижний ящик шкафа, изломал трость и кинул ее в камин, надел дорожный картуз, позвал слугу, взглядом пресек все вопросы, расплатился, вскочил в ожидавшую его карету, узнал в Лионе, что Бонапарт уже вступил в Гренобль, и среди возбуждения, царившего по всей дороге, приехал в Марсель, терзаемый всеми муками, какие проникают в сердце человека вместе с честолюбием и первыми успехами.

XIII. Сто дней

Нуартье оказался хорошим пророком, и все совершилось так, как он предсказывал. Всем известно возвращение с острова Эльба, возвращение странное, чудесное, без примера в прошлом и, вероятно, без повторения в будущем.

Людовик XVIII сделал лишь слабую попытку отразить жестокий удар; не доверяя людям, он не доверял и событиям. Только что восстановленная им королевская или, вернее, монархическая власть зашаталась в своих еще не окрепших устоях, и по первому мановению импе-

ратора рухнуло все здание – нестройная смесь старых предрассудков и новых идей. Поэтому награда, которую Вильфор получил от своего короля, была не только бесполезна, но и опасна, и он никому не показал своего ордена Почетного легиона, хотя герцог Блакас, во исполнение воли короля, и озабочился выслать ему грамоту.

Наполеон непременно отставил бы Вильфора, если бы не покровительство Нуартье, ставшего всемогущим при императорском дворе в награду за мытарства, им перенесенные, и за услуги, им оказанные. Жирондист 1793-го и сенатор 1806 года сдержал свое слово и помог тому, кто подал ему помощь накануне.

Всю свою власть во время восстановления Империи, чье вторичное падение, впрочем, легко было предвидеть, Вильфор употребил на сокрытие тайны, которую чуть было не разгласил Дантес.

Королевский же прокурор был отставлен по подозрению в недостаточной преданности бонапартизму.

Едва императорская власть была восстановлена, то есть едва Наполеон поселился в Тюильрийском дворце, только что покинутом Людовиком XVIII, и стал рассылать свои многочисленные и разнообразные приказы из того самого кабинета, куда мы вслед за Вильфором ввели наших читателей и где на столе из орехового дерева император нашел еще раскрытую и почти полную табакерку Людовика XVIII, – как в Марселе, вопреки усилиям местного начальства, начала разгораться междоусобная распря, всегда тлеющая на юге; дело грозило не ограничиться криками, которыми осаждали отсиживающихся дома роялистов, и публичными оскорблениями тех, кто решался выйти на улицу.

Вследствие изменившихся обстоятельств почтенный арматор, принадлежавший к плебейскому лагерю, если и не стал всемогущ, – ибо г-н Моррель был человек осторожный и несколько робкий, как все те, кто прошел медленную и трудную коммерческую карьеру, – то все же, хоть его и опережали рьяные бонапартисты, укорявшие его за умеренность, приобрел достаточный вес, чтобы возвысить голос и заявить жалобу. Жалоба эта, как легко догадаться, касалась Дантеса.

Вильфор устоял, несмотря на падение своего начальника. Свадьба его хоть и не расстроилась, но была отложена до более благоприятных времен. Если бы император удержался на престоле, то Жерару следовало бы искать другую партию, и Нуартье нашел бы ему невесту; если бы Людовик XVIII вторично возвратился, то влияние маркиза де Сен-Меран удвоилось бы, как и влияние самого Вильфора, – и этот брак стал бы особенно подходящим.

Таким образом, помощник королевского прокурора занимал первое место в марсельском судебном мире, когда однажды утром ему доложили о приходе г-на Морреля.

Другой поспешил бы навстречу арматору и тем показал бы свою слабость; но Вильфор был человек умный и обладал если не опытом, то превосходным чутьем. Он заставил Морреля дожидаться в передней, как сделал бы при Реставрации, не потому, что был занят, а просто потому, что принято, чтобы помощник прокурора заставлял ждать в передней. Через четверть часа, просмотрев несколько газет различных направлений, он велел позвать г-на Морреля.

Моррель думал, что увидит Вильфора удрученным, а нашел его точно таким, каким он был полтора месяца тому назад, то есть спокойным, твердым и полным холодной учтивости, а она является самой неодолимой из всех преград, отделяющих человека с положением от человека простого. Он шел в кабинет Вильфора в убеждении, что тот задрожит, увидев его, а вместо того сам смутился и задрожал при виде помощника прокурора, который ждал его, сидя за письменным столом.

Моррель остановился в дверях. Вильфор посмотрел на него, словно не узнавая. Наконец, после некоторого молчания, во время которого почтенный арматор вертел в руках шляпу, он проговорил:

– Господин Моррель, если не ошибаюсь?

– Да, сударь, это я, – отвечал арматор.

– Пожалуйста, войдите, – сказал Вильфор с покровительственным жестом, – и скажите, чему я обязан, что вы удостоили меня вашим посещением?

– Разве вы не догадываетесь? – спросил Моррель.

– Нет, нисколько не догадываюсь; но тем не менее я готов быть вам полезным, если это в моей власти.

– Это всецело в вашей власти, – сказал Моррель.

– Так объясните, в чем дело.

– Сударь, – начал Моррель, понемногу успокаиваясь, черпая твердость в справедливости своей просьбы и в ясности своего положения, – вы помните, что за несколько дней до того, как стало известно о возвращении его величества императора, я приходил к вам просить о снисхождении к одному молодому человеку, моряку, помощнику капитана на моем судне; его обвиняли, если вы помните, в сношениях с островом Эльба; подобные сношения, считавшиеся тогда преступлением, ныне дают право на награду. Тогда вы служили Людовику XVIII и не пощадили обвиняемого; это был ваш долг. Теперь вы служите Наполеону и обязаны защитить невинного; это тоже ваш долг. Поэтому я пришел спросить у вас, что с ним случилось?

Вильфор сделал над собой громадное усилие.

– Как его имя? – спросил он. – Будьте добры, назовите его имя.

– Эдмон Дантес.

Надо думать, Вильфору было бы приятнее подставить лоб под пистолет противника на дуэли на расстоянии двадцати пяти шагов, чем услышать это имя, брошенное ему в лицо; однако он и глазом не моргнул.

«Никто не может обвинить меня в том, что я арестовал этого молодого человека по личным соображениям», – подумал Вильфор.

– Дантес? – повторил он. – Вы говорите Эдмон Дантес?

– Да, сударь.

Вильфор открыл огромный реестр, помещавшийся в стоявшей рядом конторке, потом пошел к другому столу, от стола перешел к полкам с папками дел и, обернувшись к арматору, спросил самым естественным голосом:

– А вы не ошибаетесь, милостивый государь?

Если бы Моррель был подогадливее или лучше осведомлен об обстоятельствах этого дела, то он нашел бы странным, что помощник прокурора удостоивает его ответом по делу, вовсе его не касающемуся; он задал бы себе вопрос: почему Вильфор не отправляет его к арестантским спискам, к начальникам тюрем, к префекту департамента? Но Моррель, тщетно искавший признаков страха, усмотрел в его поведении одну благосклонность: Вильфор считал верно.

– Нет, – отвечал Моррель, – я не ошибаюсь; я знаю беднягу десять лет, а служил он у меня четыре года. Полтора месяца тому назад – помните? – я просил вас быть великодушным, как теперь прошу быть справедливым; вы еще приняли меня довольно немилостиво и отвечали с неудовольствием. В то время роялисты были неласковы к бонапартистам!

– Милостивый государь, – отвечал Вильфор, парируя удар со свойственным ему хладнокровием и проворством, – я был роялистом, когда думал, что Бурбоны не только законные наследники престола, но и избранники народа; но чудесное возвращение, которого мы были свидетелями, доказало мне, что я ошибался. Гений Наполеона победил: только любимый монарх – монарх законный.

– В добрый час! – воскликнул Моррель с грубоватой откровенностью. – Приятно слушать, когда вы так говорите, и я вижу в этом хороший знак для бедного Эдмона.

– Погодите, – сказал Вильфор, перелистывая новый реестр, – я припоминаю: моряк, так, кажется? Он еще собирался жениться на каталанке? Да, да, теперь я вспоминаю; это было очень серьезное дело.

– Разве?

– Вы ведь знаете, что от меня его повели прямо в тюрьму при здании суда.

– Да, а потом?

– Потом я послал донесение в Париж и приложил бумаги, которые были найдены при нем. Я был обязан это сделать... Через неделю арестанта увезли.

– Увезли? – вскричал Моррель. – Но что же сделали с бедным малым?

– Не пугайтесь! Его, вероятно, отправили в Фенестрель, в Пиньероль или на острова Святой Маргариты, что называется – сослали; и в одно прекрасное утро он к вам вернется и примет командование на своем корабле.

– Пусть возвращается когда угодно: место за ним. Но как же он до сих пор не возвратился? Казалось бы, наполеоновская юстиция первым делом должна освободить тех, кого засадила в тюрьму юстиция роялистская.

– Не спешите обвинять, господин Моррель, – отвечал Вильфор, – во всяком деле требуется законность. Предписание о заключении в тюрьму было получено от высшего начальства; надо от высшего же начальства получить приказ об освобождении. Наполеон возвратился всего две недели тому назад; предписания об освобождении заключенных только еще пишут.

– Но разве нельзя, – спросил Моррель, – ускорить все эти формальности? Ведь мы победили. У меня есть друзья, есть связи; я могу добиться отмены приговора.

– Приговора не было.

– Так постановления об аресте.

– В политических делах нет арестантских списков; иногда правительство заинтересовано в том, чтобы человек исчез бесследно; списки могли бы помочь розыскам.

– Так, может статься, было при Бурбонах, но теперь...

– Так бывает во все времена, дорогой господин Моррель; правительства сменяют друг друга и похожи друг на друга; карательная машина, заведенная при Людовике Четырнадцатом, действует по сей день; нет только Бастилии. Император в соблюдении тюремного устава всегда был строже, чем даже Людовик Четырнадцатый, и количество арестантов, не внесенных в списки, неисчислимо.

Такая благосклонная откровенность обезоружила бы любую уверенность, а у Морреля не было даже подозрений.

– Но скажите, господин де Вильфор, что вы мне посоветуете сделать, чтобы ускорить возвращение бедного Дантеса?

– Могу посоветовать одно: подайте прошение министру юстиции.

– Ах, господин де Вильфор! Мы же знаем, что значат прошения: министр получает их по двести в день и не прочитывает и четырех.

– Да, – сказал Вильфор, – но он прочтет прошение, посланное мною, снабженное моей припиской и исходящее непосредственно от меня.

– И вы возьметесь препроводить ему это прошение?

– С величайшим удовольствием. Дантес раньше мог быть виновен, но теперь он не виновен; и я обязан возвратить ему свободу, так же как был обязан заключить его в тюрьму.

Вильфор предотвращал таким образом опасное для него следствие, мало вероятное, но все-таки возможное, – следствие, которое погубило бы его безвозвратно.

– А как нужно писать министру?

– Садитесь сюда, господин Моррель, – сказал Вильфор, уступая ему свое место. – Я вам продиктую.

– Вы будете так добры?

– Помилуйте! Но не будем терять времени, и так уж довольно потерян.

– Да, да! Вспомним, что бедняга ждет, страдает, может быть, отчаивается.

Вильфор вздрогнул при мысли об узнике, проклиная его в безмолвии и мраке; но он зашел слишком далеко и отступить уже нельзя было: Дантес должен был быть раздавлен жерновами его честолюбия.

– Я готов, – сказал Моррель, сев в кресло Вильфора и взявшись за перо.

И Вильфор продиктовал прошение, в котором, несомненно с наилучшими намерениями, преувеличивал патриотизм Дантеса и услуги, оказанные им делу бонапартистов. В этом прошении Дантес представал как один из главных пособников возвращения Наполеона. Очевидно, что министр, прочитав такую бумагу, должен был тотчас же восстановить справедливость, если это еще не было сделано.

Когда прошение было написано, Вильфор прочел его вслух.

– Хорошо, – сказал он, – теперь положитесь на меня.

– А когда вы отправите его?

– Сегодня же.

– С вашей припиской?

– Лучшей припиской будет, если я удостоверю, что все сказанное в прошении совершенная правда.

Вильфор сел в кресло и сделал нужную надпись в углу бумаги.

– Что же мне дальше делать? – спросил Моррель.

– Ждать, – ответил Вильфор. – Я все беру на себя.

Такая уверенность вернула Моррелю надежду; он ушел в восторге от помощника королевского прокурора и пошел известить старика Дантеса, что тот скоро увидит своего сына.

Между тем Вильфор, вместо того чтобы послать прошение в Париж, бережно сохранил его у себя; спасительное для Дантеса в настоящую минуту, оно могло стать для него гибельным впоследствии, если бы случилось то, чего можно было уже ожидать по положению в Европе и обороту, какой принимали события, – то есть вторичная реставрация.

Итак, Дантес остался узником; забытый и затерянный во мраке своего подземелья, он не слышал громоподобного падения Людовика XVIII и еще более страшного грохота, с которым рухнула Империя.

Но Вильфор зорко следил за всем, внимательно прислушивался ко всему. Два раза, за время короткого возвращения Наполеона, которое называется Сто дней, Моррель возобновлял атаку, настаивая на освобождении Дантеса, и оба раза Вильфор успокаивал его обещаниями и надеждами. Наконец наступило Ватерлоо. Моррель уже больше не являлся к Вильфору: он сделал для своего юного друга все, что было в человеческих силах; новые попытки, при второй реставрации, могли только понапрасну его скомпрометировать.

Людовик XVIII вернулся на престол. Вильфор, для которого Марсель был полон воспоминаний, терзавших его совесть, добился должности королевского прокурора в Тулузе; через две недели после переезда в этот город он женился на маркизе Рене де Сен-Меран, отец которой был теперь в особой милости при дворе.

Вот почему Дантес во время Ста дней и после Ватерлоо оставался в тюрьме, забытый если не людьми, то во всяком случае богом.

Данглар понял, какой удар он нанес Дантесу, когда узнал о возвращении Наполеона во Францию; донос его попал в цель, и, как все люди, обладающие известною одаренностью к преступлению и умеренными способностями в обыденной жизни, он назвал это странное совпадение «волею providения».

Но когда Наполеон вступил в Париж и снова раздался его повелительный и мощный голос, Данглар испугался. С минуты на минуту он ждал, что явится Дантес, Дантес, знающий все, Дантес, угрожающий и готовый на любое мщение. Тогда он сообщил г-ну Моррелю о своем

желании оставить морскую службу и просил рекомендовать его одному испанскому negociantu, к которому и поступил конторщиком в конце марта, то есть через десять или двенадцать дней после возвращения Наполеона в Тюильри; он уехал в Мадрид, и больше о нем не слышали.

Фернан – тот ничего не понял. Дантеса не было – это все, что ему было нужно. Что стало с Дантесом? Он даже не старался узнать об этом. Все его усилия были направлены на то, чтобы обманывать Мерседес вымышленными причинами невозвращения ее жениха, или же на обдумывание плана, как бы уехать и увезти ее; иногда он садился на вершине мыса Фаро, откуда видны и Марсель и Каталаны, и мрачно, неподвижным взглядом хищной птицы смотрел на обе дороги, не покажется ли вдали красавец моряк, который должен принести с собой суровое мщение. Фернан твердо решил застрелить Дантеса, а потом убить и себя, чтобы оправдать убийство. Но он обманывался; он никогда не наложил бы на себя руки, ибо все еще надеялся.

Между тем среди всех этих горестных тревожений император громовым голосом призывал под ружье последний разряд рекрутов, и все, кто мог носить оружие, выступили за пределы Франции.

Вместе со всеми отправился в поход и Фернан, покинув свою хижину и Мерседес и терзаясь мыслью, что в его отсутствие, быть может, возвратится соперник и женится на той, кого он любит.

Если бы Фернан был способен на самоубийство, он застрелился бы в минуту разлуки с Мерседес.

Его участие к Мерседес, притворное сочувствие ее горю, усердие, с которым он предупреждал малейшее ее желание, произвели действие, какое всегда производит преданность на великодушные сердца; Мерседес всегда любила Фернана как друга; эта дружба усугубилась чувством благодарности.

– Брат мой, – сказала она, привязывая ранец к плечам каталанца, – единственный друг мой, береги себя, не оставляй меня одну на этом свете, где я проливаю слезы и где у меня нет никого, кроме тебя.

Эти слова, сказанные в минуту расставания, оживили надежды Фернана. Если Дантес не вернется, быть может, наступит день, когда Мерседес станет его женой.

Мерседес осталась одна, на голой скале, которая никогда еще не казалась ей такой бесплодной, перед безграничной далью моря. Вся в слезах, как та безумная, чью печальную повесть рассказывают в этом краю, она беспрестанно бродила вокруг Каталан; иногда останавливалась под жгучим южным солнцем, неподвижная, немая, как статуя, и смотрела на Марсель; иногда сидела на берегу и слушала стенание волн, вечное, как ее горе, и спрашивала себя: не лучше ли наклониться вперед, упасть, низринуться в морскую пучину, чем выносить жестокую муку безнадежного ожидания? Не страх удержал Мерседес от самоубийства – она нашла утешение в религии, и это спасло ее.

Кадрусса тоже, как и Фернана, призвали в армию, но он был восемью годами старше каталанца и притом женат, и потому его оставили в третьем разряде, для охраны побережья.

Старик Дантес, который жил только надеждой, с падением императора потерял последние проблески ее.

Ровно через пять месяцев после разлуки с сыном, почти в тот же час, когда Эдмон был арестован, он умер на руках Мерседес.

Моррель взял на себя похороны и заплатил мелкие долги, сделанные стариком за время болезни.

Это был не только человеколюбивый, это был смелый поступок. Весь юг пылал пожаром междоусобиц, и помочь, даже на смертном одре, отцу такого опасного бонапартиста, как Дантес, было преступлением.

XIV. Арестант помешанный и арестант неистовый

Приблизительно через год после возвращения Людовика XVIII главный инспектор тюрем производил ревизию.

Дантес в своей подземной камере слышал стук и скрип, весьма громкие наверху, но внизу различимые только для уха заключенного, привыкшего подслушивать в ночной тишине паука, прядущего свою паутину, да мерное падение водяной капли, которой нужно целый час, чтобы скопиться на потолке подземелья.

Он понял, что у живых что-то происходит; он так долго жил в могиле, что имел право считать себя мертвецом.

Инспектор посещал поочередно комнаты, камеры, казематы. Некоторые заключенные удостоились расспросов: они принадлежали к числу тех, которые, по скромности или по тупости, заслужили благосклонность начальства. Инспектор спрашивал у них, хорошо ли их кормят и нет ли у них каких-либо просьб. Все отвечали в один голос, что кормят их отвратительно и что они просят свободы. Тогда инспектор спросил, не скажут ли они еще чего-нибудь. Они покачали головой. Чего могут просить узники, кроме свободы?

Инспектор, улыбаясь, оборотился к коменданту и сказал:

– Не понимаю, кому нужны эти бесполезные ревизии? Кто видел одну тюрьму, видел сто; кто выслушал одного заключенного, выслушал тысячу; везде одно и то же: их плохо кормят и они невинны. Других у вас нет?

– Есть еще опасные или сумасшедшие, которых мы держим в подземельях.

– Что ж, – сказал инспектор с видом глубокой усталости, – исполним наш долг до конца – спустимся в подземелья.

– Позвольте, – сказал комендант, – надо взять с собой хотя бы двух солдат; иногда заключенные решаются на отчаянные поступки, хотя бы уже потому, что чувствуют отвращение к жизни и хотят, чтобы их приговорили к смерти. Вы можете стать жертвой покушения.

– Так примите меры предосторожности, – сказал инспектор.

Явились двое солдат, и все начали спускаться по такой вонючей, грязной и сырой лестнице, что уже один спуск по ней был тягостен для всех пяти чувств.

– Черт возьми! – сказал инспектор, останавливаясь. – Кто же здесь может жить?

– Чрезвычайно опасный заговорщик; нас предупредили, что это человек, способный на все.

– Он один?

– Разумеется.

– Давно он здесь?

– Около года.

– И его сразу посадили в подземелье?

– Нет, после того, как он пытался убить сторожа, который носил ему пищу.

– Он хотел убить сторожа?

– Да, того самого, который нам сейчас светит. Верно, Антуан? – спросил комендант.

– Точно так, он хотел меня убить, – отвечал сторож.

– Да это сумасшедший!

– Хуже, – отвечал сторож, – это просто дьявол!

– Если хотите, можно на него пожаловаться, – сказал инспектор коменданту.

– Не стоит; он и так достаточно наказан; притом же он близок к сумасшествию, и мы знаем по опыту, что не пройдет и года, как он совсем сойдет с ума.

– Тем лучше для него, – сказал инспектор, – когда он сойдет с ума, он меньше будет страдать.

Как видите, инспектор был человеколюбив и вполне достоин своей филантропической должности.

– Вы совершенно правы, – отвечал комендант, – и ваши слова доказывают, что вы хорошо знаете заключенных. У нас здесь, тоже в подземной камере, куда ведет другая лестница, сидит старик аббат, бывший глава какой-то партии в Италии; он здесь с тысяча восемьсот одиннадцатого года и помешался в конце тысяча восемьсот тринадцатого года; с тех пор его узнать нельзя; прежде он все плакал, а теперь смеется; прежде худел, теперь толстеет. Не угодно ли вам посмотреть его вместо этого? Сумасшествие его веселое и никак не опечалит вас.

– Я посмотрю и того и другого, – отвечал инспектор, – надо исполнять долг службы добросовестно.

Инспектор еще в первый раз осматривал тюрьмы и хотел, чтобы начальство осталось довольным им.

– Пойдем прежде к этому, – добавил он.

– Извольте, – отвечал комендант и сделал знак сторожу.

Сторож отпер дверь.

Услышав лязг тяжелых засовов и скрежет заржавелых петель, поворачивающихся на крюках, Дантес, который сидел в углу и с неизъяснимым наслаждением ловил тоненький луч света, проникавший в узкую решетчатую щель, приподнял голову.

При виде незнакомого человека, двух сторожей с факелами, двух солдат и коменданта с шляпой в руках Дантес понял, в чем дело, и, видя наконец случай воззвать к высшему начальству, бросился вперед, умоляюще сложив руки.

Солдаты тотчас скрестили штыки, вообразив, что заключенный бросился к инспектору с дурным умыслом.

Инспектор невольно отступил на шаг.

Дантес понял, что его выдали за опасного человека.

Тогда он придал своему взору столько кротости, сколько может вместить сердце человеческое, и смиренной мольбой, удивившей присутствующих, попытался тронуть сердце своего высокого посетителя.

Инспектор выслушал Дантеса до конца; потом повернулся к коменданту.

– Он кончит благочестием, – сказал он вполголоса, – он уже и сейчас склоняется к кротости и умиротворению. Видите, ему знаком страх; он отступил, увидев штыки, а ведь сумасшедший ни перед чем не отступает. Я по этому вопросу сделал очень любопытные наблюдения в Шарантоне.

Потом он обратился к заключенному:

– Короче говоря, о чем вы просите?

– Я прошу сказать мне, в чем мое преступление: прошу суда, прошу следствия, прошу, наконец, чтобы меня расстреляли, если я виновен, и чтобы меня выпустили на свободу, если я невиновен.

– Хорошо ли вас кормят? – спросил инспектор.

– Да. Вероятно. Не знаю. Но это не важно. Важно, и не только для меня, несчастного узника, но и для властей, творящих правосудие, и для короля, который нами правит, чтобы невинный не стал жертвой подлого доноса и не умирал под замком, проклиная своих палачей.

– Вы сегодня очень смиренны, – сказал комендант, – вы не всегда были таким. Вы говорили совсем иначе, когда хотели убить сторожа.

– Это правда, – сказал Дантес, – и я от души прошу прощения у этого человека, который очень добр ко мне... Но что вы хотите? Я тогда был сумасшедший, бешеный.

– А теперь нет?

– Нет, тюрьма меня сломила, уничтожила. Я здесь уже так давно!

– Так давно?... Когда же вас арестовали? – спросил инспектор.

– Двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, в два часа пополудни. Инспектор принялся считать.

– Сегодня у нас тридцатое июля тысяча восемьсот шестнадцатого года. Что же вы говорите? Вы сидите в тюрьме всего семнадцать месяцев.

– Только семнадцать месяцев! – повторил Дантес. – Вы не знаете, что такое семнадцать месяцев тюрьмы, – это семнадцать лет, семнадцать веков! Особенно для того, кто, как я, был так близок к счастью, готовился жениться на любимой девушке, видел перед собою почетное поприще, – и лишился всего; для кого лучезарный день сменился непроглядной ночью, кто видит, что будущность его погибла, кто не знает, любит ли его та, которую он любил, не ведает, жив ли его старик отец! Семнадцать месяцев тюрьмы для того, кто привык к морскому воздуху, к вольному простору, к необозримости, к бесконечности! Семнадцать месяцев тюрьмы! Это слишком много даже за те преступления, которые язык человеческий называет самыми гнусными именами. Так сжальтесь надо мною и испросите для меня – не снисхождения, а строгости, не милости, а суда; судей, судей прошу я; в судьях нельзя отказать обвиняемому.

– Хорошо, – сказал инспектор, – увидим. – Затем, обращаясь к коменданту, он сказал: – В самом деле мне жаль этого беднягу. Когда вернемся наверх, вы покажете мне его дело.

– Разумеется, – отвечал комендант, – но боюсь, что вы там найдете самые неблагоприятные сведения о нем.

– Я знаю, – продолжал Дантес, – я знаю, что вы не можете освободить меня своей властью; но вы можете передать мою просьбу высшему начальству, вы можете произвести следствие, вы можете, наконец, предать меня суду. Суд! Вот все, чего я прошу; пусть мне скажут, какое я совершил преступление и к какому я присужден наказанию. Ведь неизвестность хуже всех казней в мире!

– Я наведу справки, – сказал инспектор.

– Я по голосу вашему слышу, что вы тронуты! – воскликнул Дантес. – Скажите мне, что я могу надеяться!

– Я не могу вам этого сказать, – отвечал инспектор, – я могу только обещать вам, что рассмотрю ваше дело.

– В таком случае я свободен, я спасен!

– Кто приказал арестовать вас? – спросил инспектор.

– Господин де Вильфор, – отвечал Дантес. – Снесите с ним.

– Господина де Вильфор уже нет в Марселе; вот уже год, как он в Тулузе.

– Тогда нечему удивляться! – прошептал Дантес. – Моего единственного покровителя здесь нет!

– Не имел ли господин де Вильфор каких-либо причин ненавидеть вас? – спросил инспектор.

– Никаких; он, напротив, был ко мне очень милостив.

– Так я могу доверять тем сведениям, которые он дал о вас или которые он мне сообщит?

– Вполне.

– Хорошо. Ждите.

Дантес упал на колени, поднял руки к небу и стал шептать молитву, в которой молил бога за этого человека, спустившегося к нему в темницу, подобно Спасителю, пришедшему вывести души из ада.

Дверь за инспектором затворилась, но надежда, которую он принес, осталась в камере Дантеса.

– Угодно вам сейчас просмотреть арестантские списки? – спросил комендант. – Или вы желаете зайти в подземелье к аббату?

– Прежде кончим осмотр, – отвечал инспектор. – Если я подымусь наверх, то у меня, быть может, не хватит духу еще раз спуститься.

– О, аббат не похож на этого, его сумасшествие веселое, не то, что разум его соседа.

– А на чем он помешался?

– На очень странной мысли: он вообразил себя владельцем несметных сокровищ. В первый год он предложил правительству миллион, если его выпустят, на второй – два миллиона, на третий – три и так далее. Теперь уж он пять лет в тюрьме; он попросит позволения переговорить с вами наедине и предложит вам пять миллионов.

– Это в самом деле любопытно, – сказал инспектор. – А как зовут этого миллионера?

– Аббат Фариа.

– Номер двадцать седьмой! – сказал инспектор.

– Да, он здесь. Отоприте, Антуан.

Сторож повиновался, и инспектор с любопытством заглянул в подземелье «сумасшедшего аббата», как все называли этого заключенного. Посреди камеры, в кругу, нацарапанном куском известки, отбитой от стены, лежал человек, почти нагой – платье его превратилось в лохмотья. Он чертил в этом кругу отчетливые геометрические линии и был так же поглощен решением задачи, как Архимед в ту минуту, когда его убил солдат Марцелла. Поэтому он даже не пошевелился при скрипе двери и очнулся только тогда, когда пламя факелов осветило необычным светом влажный пол, на котором он работал. Тут он обернулся и с изумлением посмотрел на многочисленных гостей, спустившихся в его подземелье.

Он быстро вскочил, схватил одеяло, лежавшее в ногах его жалкой постели, и поспешно накинул его на себя, чтобы явиться в более пристойном виде перед посетителями.

– О чем вы просите? – спросил инспектор, не изменяя своей обычной формулы.

– О чем я прошу? – переспросил аббат с удивлением. – Я ни о чем не прошу.

– Вы не понимаете меня, – продолжал инспектор, – я прислан правительством для осмотра тюрем и принимаю жалобы заключенных.

– А! Это другое дело, – живо воскликнул аббат, – и я надеюсь, мы пойдем друг друга.

– Вот видите, – сказал комендант, – начинается так, как я вам говорил.

– Милостивый государь, – продолжал заключенный, – я аббат Фариа, родился в Риме, двадцать лет был секретарем кардинала Роспильози; меня арестовали, сам не знаю за что, в начале тысяча восемьсот одиннадцатого года, и с тех пор я тщетно требую освобождения от итальянского и французского правительств.

– Почему от французского? – спросил комендант.

– Потому, что меня схватили в Пьембино, и я полагаю, что Пьембино, подобно Милану и Флоренции, стал главным городом какого-нибудь французского департамента.

Инспектор и комендант с улыбкой переглянулись.

– Ну, дорогой мой, – заметил инспектор, – ваши сведения об Италии не отличаются свежестью.

– Они относятся к тому дню, когда меня арестовали, – отвечал аббат Фариа, – а так как в то время его величество император создал Римское королевство для дарованного ему небом сына, то я полагал, что, продолжая пожирать лавры победы, он претворил мечту Макиавелли и Цезаря Борджиа, объединив всю Италию в единое и неделимое государство.

– К счастью, – возразил инспектор, – провидение несколько изменило этот грандиозный план, который, видимо, встречает ваше живое сочувствие.

– Это единственный способ превратить Италию в сильное, независимое и счастливое государство, – сказал аббат.

– Может быть, – отвечал инспектор, – но я пришел сюда не затем, чтобы рассматривать с вами курс итальянской политики, а для того, чтобы спросить у вас, что я и сделал, довольны ли вы помещением и пищей.

– Пища здесь такая же, как и во всех тюрьмах, то есть очень плохая, – отвечал аббат, – а помещение, как видите, сырое и нездоровое, но в общем довольно приличное для подземной тюрьмы. Дело не в этом, а в чрезвычайно важной тайне, которую я имею сообщить правительству.

– Начинается, – сказал комендант на ухо инспектору.

– Вот почему я очень рад вас видеть, – продолжал аббат, – хоть вы и помешали мне в очень важном вычислении, которое, если окажется успешным, быть может, изменит всю систему Ньютона. Могу я попросить у вас разрешения поговорить с вами наедине?

– Что я вам говорил? – шепнул комендант инспектору.

– Вы хорошо знаете своих постояльцев, – отвечал инспектор улыбаясь, затем обратился к аббату: – Я не могу исполнить вашу просьбу.

– Однако, если бы речь шла о том, чтобы доставить правительству возможность получить огромную сумму, пять миллионов, например?

– Удивительно, – сказал инспектор, обращаясь к коменданту, – вы предсказали даже сумму.

– Хорошо, – продолжал аббат, видя, что инспектор хочет уйти, – мы можем говорить и не наедине; господин комендант может присутствовать при нашей беседе.

– Дорогой мой, – перебил его комендант, – к сожалению, мы знаем наперед и наизусть все, что вы нам скажете. Речь идет о ваших сокровищах, да?

Фариа взглянул на насмешника глазами, в которых непредубежденный наблюдатель, несомненно, увидел бы трезвый ум и чистосердечие.

– Разумеется, – сказал аббат, – о чем же другом могу я говорить?

– Господин инспектор, – продолжал комендант, – я могу рассказать вам эту историю не хуже аббата; вот уже пять лет, как я беспрестанно ее слышу.

– Это доказывает, господин комендант, – проговорил аббат, – что вы принадлежите к тем людям, о которых в Писании сказано, что они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат.

– Милостивый государь, – сказал инспектор, – государство богато и, слава богу, не нуждается в ваших деньгах; поберегите их до того времени, когда вас выпустят из тюрьмы.

Глаза аббата расширились; он схватил инспектора за руку.

– А если я не выйду из тюрьмы, – сказал он, – если меня, вопреки справедливости, оставят в этом подземелье, если я здесь умру, не завещав никому моей тайны, – значит, эти сокровища пропадут даром? Не лучше ли, чтобы ими воспользовалось правительство и я вместе с ним? Я согласен на шесть миллионов; да, я уступлю шесть миллионов и удовольствуюсь остальным, если меня выпустят на свободу.

– Честное слово, – сказал инспектор вполголоса, – если не знать, что это сумасшедший, можно подумать, что все это правда: с таким убеждением он говорит.

– Я не сумасшедший и говорю сущую правду, – отвечал Фариа, который, по тонкости слуха, свойственной узникам, слышал все, что сказал инспектор. – Клад, о котором я говорю, действительно существует, и я предлагаю вам заключить со мной договор, в силу которого вы поведете меня на место, назначенное мною, при нас произведут раскопки, и если я солгал, если ничего не найдут, если я сумасшедший, как вы говорите, тогда отведите меня опять сюда, в это подземелье, и я останусь здесь навсегда и здесь умру, не утруждая ни вас, ни кого бы то ни было моими просьбами.

Комендант засмеялся.

– А далеко отсюда ваш клад? – спросил он.

– Милях в ста отсюда, – сказал Фариа.

– Недурно придумано, – сказал комендант. – Если бы все заключенные вздумали заниматься тюремщиков прогулкою за сто миль и если бы тюремщики на это согласились, то для

заклученных не было бы ничего легче, как бежать при первом удобном случае. А во время такой долгой прогулки случай, наверное, представился бы.

– Это способ известный, – сказал инспектор, – и господин аббат не может даже похвалиться, что он его изобрел.

Затем, обращаясь к аббату, он сказал:

– Я спрашивал вас, хорошо ли вас кормят?

– Милостивый государь, – отвечал Фариа, – поклянитесь Иисусом Христом, что вы меня освободите, если я сказал вам правду, и я укажу вам место, где зарыт клад.

– Хорошо ли вас кормят? – повторил инспектор.

– При таком условии вы ничем не рискуете: и вы видите, что я не ищущу случая бежать; я останусь в тюрьме, пока будут отыскивать клад.

– Вы не отвечаете на мой вопрос, – прервал инспектор с нетерпением.

– А вы на мою просьбу! – воскликнул аббат. – Будьте же прокляты, как и все те безумцы, которые не хотели мне верить! Вы не хотите моего золота – оно останется при мне; не хотите дать свободу – господь пошлет мне ее. Идите, мне больше нечего вам сказать.

И аббат, сбросив с плеч одеяло, поднял кусок известки, сел опять в круг и принялся за свои чертежи и вычисления.

– Что это он делает? – спросил инспектор, уходя.

– Считает свои сокровища, – отвечал комендант.

Фариа отвечал на эту насмешку взглядом, исполненным высшего презрения.

Они вышли. Сторож запер за ними дверь.

– Может быть, у него в самом деле были какие-нибудь сокровища, – сказал инспектор, поднимаясь по лестнице.

– Или он видел их во сне, – подхватил комендант, – и наутро проснулся сумасшедшим.

– Правда, – сказал инспектор с простодушием взяточника, – если бы он действительно был богат, то не попал бы в тюрьму.

Этим кончилось дело для аббата Фариа. Он остался в тюрьме, и после этого посещения слава об его забавном сумасшествии еще более упрочилась.

Калигула или Нерон, великие искатели кладов, мечтавшие о несбыточном, прислушались бы к словам этого несчастного человека и даровали бы ему воздух, о котором он просил, простор, которым он так дорожил, и свободу, за которую он предлагал столь высокую плату. Но владыки наших дней, ограниченные пределами вероятного, утратили волю к дерзаниям, они боятся уха, которое выслушивает их приказания, глаза, который следит за их действиями; они уже не чувствуют превосходства своей божественной природы, они – коронованные люди, и только. Некогда они считали или по крайней мере называли себя сынами Юпитера и кое в чем походили на своего бессмертного отца; не так легко проверить, что творится за облаками; ныне земные владыки досягаемы. Но так как деспотическое правительство всегда остерегается показывать при свете дня последствия тюрьмы и пыток, так как редки примеры, чтобы жертва любой инквизиции могла явить миру свои переломанные кости и кровоточащие раны, то и безумие, эта язва, порожденная в тюремной клоаке душевными муками, всегда заботливо прячется там, где оно возникло, а если оно и выходит оттуда, то его хоронят в какой-нибудь мрачной больнице, где врачи тщетно ищут человеческий облик и человеческую мысль в тех изуродованных останках, которые передают им тюремщики.

Аббат Фариа, потеряв рассудок в тюрьме, самым своим безумием был приговорен к пожизненному заключению.

Что же касается Дантеса, то инспектор сдержал данное ему слово. Возвратясь в кабинет коменданта, он потребовал арестантские списки. Заметка о Дантесе была следующего содержания:

ЭДМОН ДАНТЕС

*Отъявленный бонапартист; принимал деятельное участие
в возвращении узурпатора с острова Эльба.*

Соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором.

Заметка была написана не тем почерком и не теми чернилами, что остальной список; это доказывало, что ее прибавили после заключения Дантеса в тюрьму.

Обвинение было так категорично, что нельзя было спорить против него; поэтому инспектор приписал:

«Ничего нельзя сделать».

Посещение инспектора оживило Дантеса. С минуты заключения в тюрьму он забыл счет дням, но инспектор сказал ему число и месяц, и Дантес не забыл его. Куском известки, упавшим с потолка, он написал на стене: 30 июля 1816 и с тех пор каждый день делал отметку, чтобы не потерять счет времени.

Проходили дни, недели, месяцы. Дантес все ждал; сначала он назначил себе двухнедельный срок. Если бы даже инспектор проявил к его делу лишь половину того участия, которое он, по-видимому, выказал, то и в таком случае двух недель было достаточно. Когда эти две недели прошли, Дантес сказал себе, что нелепо было думать, будто инспектор займется его судьбой раньше, чем возвратится в Париж; а возвратится он в Париж только по окончании порученной ему ревизии, а ревизия эта может продлиться месяц или два. Поэтому он назначил новый срок – три месяца вместо двух недель. Когда эти три месяца истекли, ему пришли на помощь новые соображения, и он дал себе полгода сроку; а по прошествии этого полугода оказалось, если подсчитать дни, что он ждал уже девять с половиной месяцев.

За эти месяцы не произошло никакой перемены в его положении; он не получил ни одной утешительной вести; тюремщик по-прежнему был нем. Дантес перестал доверять своим чувствам, начал думать, что принял игру воображения за свидетельство памяти и что ангел-утешитель, явившийся в его тюрьму, слетел к нему на крыльях сновидения.

Через год коменданта сменили; ему поручили форт Гам; он увез с собой кое-кого из подчиненных и в числе их тюремщика Дантеса.

Приехал новый комендант; ему показалось скучно запоминать арестантов по именам; он велел представить себе только их номера. Эта страшная гостиница состояла из пятидесяти комнат; постояльцев начали обозначать номерами, и несчастный юноша лишился имени Эдмон и фамилии Дантес – он стал номером тридцать четвертым.

XV. Номер 34 и номер 27

Дантес прошел через все муки, какие только переживают узники, забытые в тюрьме.

Он начал с гордости, которую порождает надежда и сознание своей невиновности; потом он стал сомневаться в своей невиновности, что до известной степени подтверждало теорию коменданта о сумасшествии; наконец он упал с высоты своей гордыни, он стал умолять – еще не бога, но людей; бог – последнее прибежище. Человек в горе должен бы прежде всего обращаться к богу, но он делает это, только утратив все иные надежды.

Дантес просил, чтобы его перевели в другое подземелье, пусть еще более темное и сырое. Перемена, даже к худшему, все-таки была бы переменной и на несколько дней развлекла бы его. Он просил, чтобы ему разрешили прогулку, он просил воздуха, книг, инструментов. Ему не дали ничего, но он продолжал просить. Он приучился говорить со своим тюремщиком, хотя новый был, если это возможно, еще немее старого; но поговорить с человеком, даже с немым,

было все же отрадой. Дантес говорил, чтобы слышать собственный голос; он пробовал говорить в одиночестве, но тогда ему становилось страшно.

Часто в дни свободы воображение Дантеса рисовало ему страшные тюремные камеры, где бродяги, разбойники и убийцы в гнусном веселье празднуют страшную дружбу и справляют дикие оргии. Теперь он был бы рад попасть в один из таких вертепов, чтобы видеть хоть чьи-нибудь лица, кроме бесстрастного, безмолвного лица тюремщика, он жалел, что он не каторжник в позорном платье, с цепью на ногах и клеймом на плече. Каторжники – те хоть живут в обществе себе подобных, дышат воздухом, видят небо, – каторжники счастливы.

Он стал молить тюремщика, чтобы ему дали товарища, кто бы он ни был, хотя бы того сумасшедшего аббата, о котором он слышал. Под внешней суровостью тюремщика, даже самой грубой, всегда скрывается остаток человечности. Тюремщик Дантеса, хоть и не показывал вида, часто в душе жалел бедного юношу, так тяжело переносившего свое заточение; он передал коменданту просьбу номера 34; но комендант с осторожностью, достойной политического деятеля, вообразив, что Дантес хочет возмутить заключенных или заручиться товарищем для побега, отказал.

Дантес истощил все человеческие средства. Поэтому он обратился к богу.

Тогда все благочестивые мысли, которыми живут несчастные, придавленные судьбою, оживили его душу; он вспомнил молитвы, которым его учила мать, и нашел в них смысл, дотоле ему неведомый; ибо для счастливых молитва остается однообразным и пустым набором слов, пока горе не вложит глубочайший смысл в проникновенные слова, которыми несчастные говорят с богом. Он молился не с усердием, а с неистовством. Молясь вслух, он уже не пугался своего голоса; он впадал в какое-то исступление при каждом слове, им произносимом, он видел бога; все события своей смиренной и загубленной жизни он приписывал воле могущественного бога, извлекал из них уроки, налагал на себя обеты и все молитвы заканчивал корыстными словами, с которыми человек гораздо чаще обращается к людям, чем к богу: и отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим.

Несмотря на жаркие молитвы, Дантес остался в тюрьме.

Тогда дух его омрачился, и словно туман застлал ему глаза. Дантес был человек простой, необразованный; наука не приподняла для него завесу, которая скрывает прошлое. Он не мог в уединении тюрьмы и в пустыне мысли воссоздать былые века, воскресить отжившие народы, возродить древние города, которые воображение наделяет величием и поэзией и которые проходят перед внутренним взором, озаренные небесным огнем, как вавилонские картины Мартина¹¹. У Дантеса было только короткое прошлое, мрачное настоящее и неведомое будущее; девятнадцать светлых лет, о которых ему предстояло размышлять в бескрайней, быть может, ночи! Поэтому он ничем не мог развлечься – его предприимчивый ум, который с такой радостью устремил бы свой полет сквозь века, был заключен в тесные пределы, как орел в клетку. И тогда он хватался за одну мысль, за мысль о своем счастье, разрушенном без причины, по роковому стечению обстоятельств; над этой мыслью он бился, выворачивал ее на все лады и, если можно так выразиться, впивался в нее зубами, как в дантовском аду безжалостный Уголино грызет череп архиепископа Руджиери. Дантес имел лишь мимолетную веру, основанную на мысли о всемогуществе; он скоро потерял ее, как другие теряют ее, дождавшись успеха. Но только он успеха не дождался.

Благочестие сменилось исступлением. Он изрыгал богохульства, от которых тюремщик пятился в ужасе; он колотился головой о тюремные стены от малейшего беспокойства, причиненного ему какой-нибудь пылинкой, соломинкой, струей воздуха. Донос, который он видел, который Вильфор ему показывал, который он держал в своих руках, беспрестанно вспоми-

¹¹ Джон Мартин – английский художник (1789–1854).

нался ему; каждая строка пылала огненными буквами на стене, как «Мене, Текел, Фарес»¹² Вальтасара. Он говорил себе, что ненависть людей, а не божия кара, ввергла его в пропасть; он предавал этих не известных ему людей всем казням, какие только могло изобрести его пламенное воображение, и находил их слишком милостивыми и, главное, недостаточно продолжительными: ибо после казни наступает смерть, а в смерти – если не покой, то по крайней мере бесчувствие, похожее на покой.

Беспрерывно при мысли о своих врагах повторяя себе, что смерть – это покой и что для жестокой кары должно казнить не смертью, он впал в угрюмое оцепенение, приходящее с мыслями о самоубийстве. Горе тому, кто на скорбном пути задержится на этих мрачных мыслях! Это – мертвое море, похожее на лазурь прозрачных вод, но в нем пловец чувствует, как ноги его вязнут в смолистой тине, которая притягивает его, засасывает и хоронит. Если небо не подаст ему помощи, все кончено, и каждое усилие к спасению только еще глубже погружает его в смерть.

И все же эта нравственная агония не так страшна, как муки, ей предшествующие, и как наказание, которое, быть может, последует за нею; в ней есть опьяняющее утешение, она показывает зияющую пропасть, но на дне пропасти – небытие. Эдмон нашел утешение в этой мысли; все его горести, все его страдания, вся вереница призраков, которую они владели за собой, казалось, отлетели из того угла тюрьмы, куда ангел смерти готовился ступить своей легкой стопой. Дантес взглянул на свою прошлую жизнь спокойно, на будущую – с ужасом и выбрал то, что казалось ему прибежищем.

– Во время дальних плаваний, – говорил он себе, – когда я еще был человеком и когда этот человек, свободный и могущественный, отдавал другим людям приказания, которые тотчас же исполнялись, мне случалось видеть, как небо заволакивается тучами, волны вздымаются и бушуют, на краю неба возникает буря и, словно исполинский орел, машет крыльями над горизонтом, тогда я чувствовал, что мой корабль – уютное пристанище, ибо он трепетал и колыхался, словно перышко на ладони великана; под грозный грохот валов я смотрел на острые скалы, предвещавшие мне смерть, и смерть страшила меня, и я всеми силами старался отразить ее, и, собрав всю мощь человека и все умение моряка, я вступал в единоборство с богом!.. Но тогда я был счастлив; тогда возвратиться к жизни значило возвратиться к счастью; та смерть была неведомой смертью, и я не выбирал ее; я не хотел уснуть навеки на ложе водорослей и камней и с негодованием думал о том, что я, сотворенный по образу и подобию божью, послужу пищей ястребам и чайкам. Иное дело теперь: я лишился всего, что привязывало меня к жизни; теперь смерть улыбается мне, как кормилица, убаюкивающая младенца; теперь я умираю добровольно, засыпаю усталый и разбитый, как засыпал после приступов отчаяния и бешенства, когда делал по три тысячи кругов в этом подземелье – тридцать тысяч шагов, около десяти лье!

Когда эта мысль запала в душу Дантеса, он стал кротче, веселее; легче мирился с жесткой постелью и черным хлебом; ел мало, не спал вовсе и находил сносной эту жизнь, которую в любую минуту мог с себя сбросить, как сбрасывают изношенное платье.

Было два способа умереть; один был весьма прост: привязать носовой платок к решетке окна и повеситься; другой состоял в том, чтобы только делать вид, что ешь, и умереть с голоду. К первому способу Дантес чувствовал отвращение; он был воспитан в ненависти к пиратам, которых вешают на мачте; поэтому петля казалась ему позорной казнью, и он отверг ее. Он решил на второе средство и в тот же день начал приводить его в исполнение.

Пока Дантес проходил через все эти мытарства, протекло около четырех лет. К концу второго года Дантес перестал делать отметки на стене и опять, как до посещения инспектора, потерял счет дням.

¹² «Сочтено, взвешено, разделено» (библ.).

Он сказал себе: «Я хочу умереть», – и сам избрал род смерти, тогда он тщательно все обдумал и, чтобы не отказаться от своего намерения, дал себе клятву умереть с голода. «Когда мне будут приносить обед или ужин, – решил он, – я стану бросать пищу за окно; будут думать, что я все съел».

Так он и делал. Два раза в день в решетчатое отверстие, через которое он видел только клочок неба, он выбрасывал приносимую ему пищу, сначала весело, потом с раздумьем, наконец с сожалением; только воспоминание о клятве давало ему силу для страшного замысла. Эту самую пищу, которая прежде внушала ему отвращение, острозубый голод рисовал ему заманчивой на вид и восхитительно пахнущей; иногда он битый час держал в руках тарелку и жадными глазами смотрел на гнилую говядину или на вонючую рыбу и кусок черного заплесневелого хлеба. И последние проблески жизни инстинктивно сопротивлялись в нем и иногда брали верх над его решимостью. Тогда тюрьма казалась ему не столь уже мрачной, судьба его – не столь отчаянной; он еще молод, ему, вероятно, не больше двадцати пяти – двадцати шести лет, ему осталось еще жить лет пятьдесят, а значит, вдвое больше того, что он прожил. За этот бесконечный срок любые события могли сорвать тюремные двери, проломить стены замка Иф и возвратить ему свободу. Тогда он подносил ко рту пищу, в которой, добровольный Тантал, он себе отказывал; но тотчас вспоминал данную клятву и, боясь пасть в собственных глазах, собирал все свое мужество и крепился. Непреклонно и безжалостно гасил он в себе искры жизни, и настал день, когда у него не хватило сил встать и бросить ужин в окно.

На другой день он ничего не видел, едва слышал. Тюремщик решил, что он тяжело болен; Эдмон надеялся на скорую смерть.

Так прошел день. Эдмон чувствовал, что им овладевает какое-то смутное оцепенение, впрочем, довольно приятное. Резь в желудке почти прошла; жажда перестала мучить; когда он закрывал глаза, перед ним кружился рой блестящих точек, похожих на огоньки, блуждающие по ночам над болотами, – это была заря той неведомой страны, которую называют смертью.

Вдруг вечером, часу в девятом, он услышал глухой шум за стеной, у которой стояла его койка.

Столько омерзительных тварей возилось в этой тюрьме, что мало-помалу Эдмон привык спать, не смущаясь такими пустяками; но на этот раз, потому ли, что его чувства были обострены голодом, или потому, что шум был громче обычного, или, наконец, потому, что в последние мгновения жизни все приобретает значимость, Эдмон поднял голову и прислушался.

То было равномерное поскребывание по камню, производимое либо огромным когтем, либо могучим зубом, либо каким-нибудь орудием.

Мысль, никогда не покидающая заключенных, – свобода! – мгновенно пронзила затуманенный мозг Дантеса.

Этот звук донесся до него в ту самую минуту, когда все звуки должны были навсегда умолкнуть для него, и он невольно подумал, что бог наконец сжалился над его страданиями и посылает ему этот шум, чтобы остановить его у края могилы, в которой он уже стоял одной ногой. Как знать, может быть, кто-нибудь из его друзей, кто-нибудь из тех дорогих его сердцу, о которых он думал до изнеможения, сейчас печется о нем и пытается уменьшить разделяющее их расстояние?

Не может быть, вероятно, ему просто почудилось, и это только сон, реющий на пороге смерти.

Но Эдмон все же продолжал прислушиваться. Поскребывание длилось часа три. Потом Эдмон услышал, как что-то посыпалось, после чего все стихло.

Через несколько часов звук послышался громче и ближе. Эдмон мысленно принимал участие в этой работе и уже не чувствовал себя столь одиноким; и вдруг вошел тюремщик.

Прошла неделя с тех пор, как Дантес решил умереть, уже четыре дня он ничего не ел; за это время он ни разу не заговаривал с тюремщиком, не отвечал, когда тот спрашивал, чем он болен, и отворачивался к стене, когда тот смотрел на него слишком пристально. Но теперь все изменилось: тюремщик мог услышать глухой шум, насторожиться, прекратить его и разрушить последний проблеск смутной надежды, одна мысль о которой оживила умирающего Дантеса.

Тюремщик принес завтрак.

Дантес приподнялся на постели и, возвысив голос, начал говорить о чем попало – о дурной пище, о сырости; он роптал и бранился, чтобы иметь предлог кричать во все горло, к великой досаде тюремщика, который только что выпросил для больного тарелку бульона и свежий хлеб. К счастью, он решил, что Дантес бредит, поставил, как всегда, завтрак на хромоногий стол и вышел. Эдмон вздохнул свободно и с радостью принялся слушать.

Шум стал настолько отчетлив, что он уже слышал его, не напрягая слуха.

– Нет сомнения, – сказал он себе, – раз этот шум продолжается и днем, то это, верно, какой-нибудь несчастный заключенный вроде меня трудится ради своего освобождения. Если бы я был подле него, как бы я помогал ему!

Потом внезапная догадка черной тучей затмила зарю надежды; ум, привыкший к несчастью, лишь с трудом давал веру человеческой радости. Он почти не сомневался, что это стучат рабочие, присланные комендантом для какой-нибудь починки в соседней камере.

Удостовериться в этом было не трудно, но как решиться задать вопрос? Конечно, проще всего было бы подождать тюремщика, указать ему на шум и посмотреть, с каким выражением он будет его слушать; но не значило ли это ради мимолетного удовлетворения рисковать, быть может, спасением?.. Голова Эдмона шла кругом; он так ослабел, что мысли его растекались, точно туман, и он не мог сосредоточить их на одном предмете. Эдмон видел только одно средство возвратить ясность своему уму: он обратил глаза на еще не остывший завтрак, оставленный тюремщиком на столе, встал, шатаясь, добрался до него, взял чашку, поднес к губам и выпил бульон с чувством неизъяснимого блаженства.

У него хватило твердости удовольствоваться этим; он слышал, что, когда моряки, побитые в море после кораблекрушения, с жадностью набрасывались на пищу, они умирали от этого. Эдмон положил на стол хлеб, который поднес было ко рту, и снова лег. Он уже не хотел умирать.

Вскоре он почувствовал, что ум его проясняется, мысли его, смутные, почти безотчетные, снова начали выстраиваться в положенном порядке на той волшебной шахматной доске, где одно лишнее поле, быть может, предопределяет превосходство человека над животными. Он мог уже мыслить и подкреплять свою мысль логикой.

Итак, он сказал себе:

– Надо попытаться узнать, никого не выдав. Если тот, кто там скребется, просто рабочий, то мне стоит только постучать в стену, и он тотчас же прекратит работу и начнет гадать, кто стучит и зачем. Но так как работа его не только дозволенная, но и предписанная, то он опять примется за нее. Если же, напротив, это заключенный, то мой стук испугает его; он побоится, что его поймают за работой, бросит долбить и примется за дело не раньше вечера, когда, по его мнению, все лягут спать.

Эдмон тотчас же встал с койки. Ноги уже не подкашивались, в глазах не рябило. Он пошел в угол камеры, вынул из стены камень, подточенный сыростью, и ударил им в стену, по тому самому месту, где стук слышался всего отчетливее.

При первом же ударе стук прекратился, словно по волшебству.

Эдмон весь превратился в слух. Прошел час, прошло два часа – ни звука. Удар Эдмона породил за стеной мертвое молчание.

Окрыленный надеждой, Эдмон поел немного хлеба, выпил глоток воды и благодаря могучему здоровью, которым наградила его природа, почти восстановил силы.

День прошел, молчание не прерывалось.

Пришла ночь, но стук не возобновлялся.

«Это заключенный», – подумал Эдмон с невыразимой радостью. Он уже не чувствовал апатии; жизнь пробудилась в нем с новой силой – она стала деятельной.

Ночь прошла в полной тишине.

Всю эту ночь Эдмон не смыкал глаз.

Настало утро; тюремщик принес завтрак. Дантес уже съел остатки вчерашнего обеда и с жадностью принялся за еду. Он напряженно прислушивался, не возобновится ли стук, трепетал при мысли, что, быть может, он прекратился навсегда, делал по десять, по двенадцать лье в своей темнице, по целым часам тряс железную решетку окна, старался давно забытыми упражнениями возратить упругость и силу своим мышцам, чтобы быть во всеоружии для смертельной схватки с судьбой; так борец, выходя на арену, натирает тело маслом и разминаят руки. Иногда он останавливался и слушал, не раздастся ли стук, досадуя на осторожность узника, который не догадывался, что его работа была прервана другим таким же узником, столь же пламенно жаждавшим освобождения.

Прошло три дня, семьдесят два смертельных часа, отсчитанных минута за минутой!

Наконец однажды вечером, после ухода тюремщика, когда Дантес в сотый раз прикладывал ухо к стене, ему показалось, будто едва приметное содрогание глухо отдается в его голове, прильнувшей к безмолвным камням.

Дантес отодвинулся, чтобы вернуть равновесие своему потрясенному мозгу, обошел несколько раз вокруг камеры и опять приложил ухо к прежнему месту.

Сомнения не было: за стеною что-то происходило; по-видимому, узник понял, что прежний способ опасен, и избрал другой; чтобы спокойнее продолжать работу, он, вероятно, заменил долото рычагом.

Ободренный своим открытием, Эдмон решил помочь неумолимому труженику. Он отодвинул свою койку, потому что именно за ней, как ему казалось, совершалось дело освобождения, и стал искать глазами, чем бы расковырять стену, отбить сырую известку и вынуть камень.

Но у него ничего не было, ни ножа, ни острого орудия; были железные прутья решетки; но он так часто убеждался в ее крепости, что не стоило и пытаться расшатать ее.

Вся обстановка его камеры состояла из кровати, стула, стола, ведра и кувшина.

У кровати были железные скобы, но они были привинчены к дереву винтами. Требовалась отвертка, чтобы удалить винты и снять скобы.

У стола и стула – ничего, у ведра прежде была ручка, но и ту сняли.

Дантесу оставалось одно: разбить кувшин и работать его остроконечными черепками.

Он бросил кувшин на пол: кувшин разлетелся вдребезги.

Дантес выбрал два-три острых черепка, спрятал их в тюфяк, а прочие оставил на полу. Разбитый кувшин – дело обыкновенное, он не мог навести на подозрения.

Эдмон мог бы работать всю ночь; но в темноте дело шло плохо; действовать приходилось ощупью, и вскоре он заметил, что его жалкий инструмент тупится о твердый камень. Он опять придвинул кровать к стене и решил дожидаться дня. Вместе с надеждой к нему вернулось и терпение.

Всю ночь он прислушивался к подземной работе, которая шла за стеной, не прекращаясь до самого утра.

Настало утро; когда явился тюремщик, Дантес сказал ему, что он вечером захотел напиться и кувшин выпал у него из рук и разбился. Тюремщик, ворча, пошел за новым кувшином, не подобрав даже черепков.

Вскоре он воротился, посоветовал быть поосторожнее и вышел.

С невыразимой радостью Дантес услышал лязг замка; а прежде при этом звуке у него каждый раз сжималось сердце. Едва затихли шаги тюремщика, как он бросился к кровати,

отодвинул ее и при свете бледного луча солнца, проникавшего в его подземелье, увидел, что напрасно трудился полночи, – он долбил камень, тогда как следовало скрести вокруг него.

Сырость размягчила известку.

Сердце у Дантеса радостно забилося, когда он увидел, что штукатурка поддается; правда, она отваливалась кусками не больше песчинки, но все же за четверть часа Дантес отбил целую горсть. Математик мог бы сказать ему, что, работая таким образом года два, можно, если не наткнуться на скалу, прорыть ход в два квадратных фута длиною в двадцать футов.

И Дантес горько пожалел, что не употребил на эту работу минувшие бесконечные часы, которые были потрачены даром на пустые надежды, молитвы и отчаяния.

За шесть лет, что он сидел в этом подземелье, какую работу, даже самую кропотливую, не успел бы он кончить!

Эта мысль удвоила его рвение.

В три дня, работая с невероятными предосторожностями, он сумел отбить всю штукатурку и обнажить камень. Стена была сложена из бутового камня, среди которого местами, для большей крепости, были вставлены каменные плиты. Одну такую плиту он и обнажил, и теперь ее надо было расшатать.

Дантес попробовал пустить в дело ногти, но оказалось, что это бесполезно.

Когда он вставлял в щели черепки и пытался действовать ими как рычагом, они ломались.

Напрасно промучившись целый час, Дантес в отчаянии бросил работу.

Неужели ему придется отказаться от всех попыток и ждать в бездействии, пока сосед сам закончит работу?

Вдруг ему пришла в голову новая мысль; он встал и улыбнулся, вытирая вспотевший лоб.

Каждый день тюремщик приносил ему суп в жестяной кастрюле. В этой кастрюле, по-видимому, носили суп и другому арестанту: Дантес заметил, что она бывала либо полна, либо наполовину пуста, смотря по тому, начинал тюремщик раздачу пищи с него или с его соседа.

У кастрюли была железная ручка; эта-то железная ручка и нужна была Дантесу, и он с радостью отдал бы за нее десять лет жизни.

Тюремщик, как всегда, вылил содержимое кастрюли в тарелку Дантеса. Эту тарелку, выхлебав суп деревянной ложкой, Дантес сам вымывал каждый день.

Вечером Дантес поставил тарелку на пол, на полпути от двери к столу; тюремщик, войдя в камеру, наступил на нее, и тарелка разбилась.

На этот раз Дантеса ни в чем нельзя было упрекнуть; он напрасно оставил тарелку на полу, это правда, но и тюремщик был виноват, потому что не смотрел себе под ноги.

Тюремщик только проворчал; потом поискал глазами, куда бы вылить суп, но вся посуда Дантеса состояла из одной этой тарелки.

– Оставьте кастрюлю, – сказал Дантес, – возьмете ее завтра, когда принесете мне завтрак.

Такой совет понравился тюремщику; это избавляло его от необходимости подняться наверх, спуститься и снова подняться.

Он оставил кастрюлю.

Дантес затрепетал от радости.

Он быстро съел суп и говядину, которую, по тюремному обычаю, клали прямо в суп. Потом, выждав целый час, чтобы убедиться, что тюремщик не передумал, он отодвинул кровать, взял кастрюлю, всунул конец железной ручки в щель, пробитую им в штукатурке, между плитой и соседними камнями, и начал действовать ею как рычагом. Легкое сотрясение стены показало Дантесу, что дело идет на лад.

И действительно, через час камень был вынут; в стене осталась выемка фута в полтора в диаметре.

Дантес старательно собрал куски известки, перенес их в угол, черепком кувшина наскоблil сероватой земли и прикрыл ею известку.

Потом, чтобы не потерять ни минуты этой ночи, во время которой благодаря случаю или, вернее, своей изобретательности он мог пользоваться драгоценным инструментом, он с остервенением продолжал работу.

Как только рассвело, он вложил камень обратно в отверстие, придвинул кровать к стене и лег спать.

Завтрак состоял из куска хлеба. Тюремщик вошел и положил кусок хлеба на стол.

– Вы не принесли мне другой тарелки? – спросил Дантес.

– Нет, не принес, – отвечал тюремщик, – вы все бьете; вы разбили кувшин; по вашей вине я разбил вашу тарелку; если бы все заключенные столько ломали, правительство не могло бы их содержать. Вам оставят кастрюлю и будут наливать в нее суп; может быть, тогда вы перестанете бить посуду.

Дантес поднял глаза к небу и молитвенно сложил руки под одеялом. Этот кусок железа, который очутился в его руках, пробудил в его сердце такой порыв благодарности, какого он никогда еще не чувствовал, даже в минуты величайшего счастья.

Только одно огорчало его. Он заметил, что с тех пор, как он начал работать, того, другого, не стало слышно.

Но из этого отнюдь не следовало, что он должен отказаться от своего намерения; если сосед не идет к нему, он сам придет к соседу.

Весь день он работал без передышки; к вечеру благодаря новому инструменту он извлек из стены десять с лишним горстей щебня и известки.

Когда настал час обеда, он выпрямил, как мог, искривленную ручку и поставил на место кастрюлю. Тюремщик влил в нее обычную порцию супа с говядиной или, вернее, с рыбой, потому что день был постный, а заключенных три раза в неделю заставляли поститься. Это тоже могло бы служить Дантесу календарем, если бы он давно не бросил считать дни.

Тюремщик налил суп и вышел.

На этот раз Дантес решил удостовериться, точно ли его сосед перестал работать.

Он принялся слушать.

Все было тихо, как в те три дня, когда работа была приостановлена.

Дантес вздохнул; очевидно, сосед опасался его.

Однако он не пал духом и продолжал работать; но, потрудившись часа три, наткнулся на препятствие.

Железная ручка не забирала больше, а скользила по гладкой поверхности.

Дантес ощупал стену руками и понял, что уперся в балку.

Она загораживала все отверстие, сделанное им.

Теперь надо было рыть выше или ниже балки.

Несчастный юноша и не подумал о возможности такого препятствия.

– Боже мой, боже мой! – вскричал он. – Я так молил тебя, я надеялся, что ты услышишь мои мольбы! Боже, ты отнял у меня приволье жизни, отнял покой смерти, воззвал меня к существованию, так жалься надо мной, боже, не дай мне умереть в отчаянии!

– Кто в таком порыве говорит о боге и об отчаянии? – произнес голос, доносившийся словно из-под земли; заглушенный толщею стен, он прозвучал в ушах узника, как зов из могилы.

Эдмон почувствовал, что у него волосы становятся дыбом; не вставая с колен, он попятился от стены.

– Я слышу человеческий голос! – прошептал он.

В продолжение четырех-пяти лет Эдмон слышал только голос тюремщика, а для узника тюремщик – не человек; это живая дверь вдобавок к дубовой двери, это живой прут вдобавок к железным прутьям.

– Ради бога, – вскричал Дантес, – говорите, говорите еще, хоть голос ваш и устранил меня. Кто вы?

– А вы кто? – спросил голос.

– Несчастный узник, – не задумываясь, отвечал Дантес.

– Какой нации?

– Француз.

– Ваше имя?

– Эдмон Дантес.

– Ваше звание?

– Моряк.

– Как давно вы здесь?

– С двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года.

– За что?

– Я невиновен.

– Но в чем вас обвиняют?

– В участии в заговоре с целью возвращения императора.

– Как! Возвращение императора? Разве император больше не на престоле?

– Он отрекся в Фонтенбло в тысяча восемьсот четырнадцатом году и был отправлен на остров Эльба. Но вы сами – как давно вы здесь, что вы этого не знаете?

– С тысяча восемьсот одиннадцатого года.

Дантес вздрогнул. Этот человек находился в тюрьме четырьмя годами дольше, чем он.

– Хорошо, бросьте рыть, – торопливо заговорил голос. – Но скажите мне только, на какой высоте отверстие, которое вы вырыли?

– Вровень с землей.

– Чем оно скрыто?

– Моей кроватью.

– Двигали вашу кровать за то время, что вы в тюрьме?

– Ни разу.

– Куда выходит ваша комната?

– В коридор.

– А коридор?

– Ведет во двор.

– Какое несчастье! – произнес голос.

– Боже мой! Что такое? – спросил Дантес.

– Я ошибся; несовершенство моего плана ввело меня в заблуждение; отсутствие циркуля меня погубило; ошибка в одну линию на плане составила пятнадцать футов в действительности; я принял вашу стену за наружную стену крепости!

– Но ведь вы дорылись бы до моря?

– Я этого и хотел.

– И если бы вам удалось...

– Я бросился бы вплавь, доплыл до одного из островов, окружающих замок Иф, до острова Дом, или до Тибулена, или до берега и был бы спасен.

– Разве вы могли бы переплыть такое пространство?

– Господь дал бы мне силу. А теперь все погибло.

– Все?

– Все. Заделайте отверстие как можно осторожнее, не ройте больше, ничего не делайте и ждите известий от меня.

– Да кто вы?.. Скажите мне по крайней мере, кто вы?

– Я... я – номер двадцать седьмой.

– Вы мне не доверяете? – спросил Дантес.

Горький смех долетел до его ушей.

– Я добрый христианин! – вскричал он, инстинктивно почувствовав, что неведомый собеседник хочет покинуть его. – И я клянусь богом, что я скорее дам себя убить, чем открою хоть тень правды вашим и моим палачам. Но ради самого неба не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса; или, клянусь вам, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои приходят к концу, и смерть моя ляжет на вашу совесть.

– Сколько вам лет? Судя по голосу, вы молоды.

– Я не знаю, сколько мне лет, потому что я потерял здесь счет времени. Знаю только, что, когда меня арестовали, двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, мне было неполных девятнадцать.

– Так вам нет еще двадцати шести лет, – сказал голос. – В эти годы еще нельзя быть предателем.

– Нет! Нет! Клянусь вам! – повторил Дантес. – Я уже сказал вам и еще раз скажу, что скорее меня изрежут на куски, чем я вас выдам.

– Вы хорошо сделали, что поговорили со мной, хорошо сделали, что попросили меня, а то я уже собирался составить другой план и хотел отдалиться от вас. Но ваш возраст меня успокаивает, я приду к вам, ждите меня.

– Когда?

– Это надо высчитать; я подам вам знак.

– Но вы меня не покинете, вы не оставите меня одного, вы придете ко мне или позволите мне прийти к вам? Мы убежим вместе, а если нельзя бежать, будем говорить – вы о тех, кого любите, я – о тех, кого я люблю. Вы же любите кого-нибудь?

– Я один на свете.

– Так вы полюбите меня: если вы молоды, я буду вашим товарищем; если вы старик, я буду вашим сыном. У меня есть отец, которому теперь семьдесят лет, если он жив; я любил только его и девушку, которую звали Мерседес. Отец не забыл меня, в этом я уверен; но она... как знать, вспоминает ли она обо мне! Я буду любить вас, как любил отца.

– Хорошо, – сказал узник, – до завтра.

Эти слова прозвучали так, что Дантес сразу поверил им; больше ему ничего не было нужно; он встал, спрятал, как всегда, извлеченный из стены мусор и придвинул кровать к стене.

Потом он безраздельно отдался своему счастью. Теперь уж он, наверное, не будет один; а может быть, удастся и бежать. Если он даже останется в тюрьме, у него все же будет товарищ; разделенная тюрьма – это уже только наполовину тюрьма. Жалобы, произносимые сообща, – почти молитвы; молитвы, воссылаемые вдвоем, – почти благодать.

Весь день Дантес прошагал взад и вперед по своему подземелью. Радость душила его. Иногда он садился на постель, прижимая руку к груди. При малейшем шуме в коридоре он подбегал к двери. То и дело его охватывал страх, как бы его не разлучили с этим человеком, которого он не знал, но уже любил, как друга. И он решил: если тюремщик отодвинет кровать и наклонится, чтобы рассмотреть отверстие, он размозжит ему голову камнем, на котором стоит кувшин с водой.

Его приговорят к смерти, он это знал; но разве он не умирал от тоски и отчаяния в ту минуту, когда услышал этот волшебный стук, возвративший его к жизни?

Вечером пришел тюремщик. Дантес лежал на кровати; ему казалось, что так он лучше охраняет недоделанное отверстие. Вероятно, он странными глазами посмотрел на докучливого посетителя, потому что тот сказал ему:

– Что? Опять с ума сходите?

Дантес не отвечал. Он боялся, что его дрожащий голос выдаст его. Тюремщик вышел, покачивая головой.

Когда наступила ночь, Дантес надеялся, что сосед его воспользуется тишиной и мраком для продолжения начатого разговора; но он ошибся: ночь прошла, ни единым звуком не успокоив его лихорадочного ожидания. Но наутро, после посещения тюремщика, отодвинув кровать от стены, он услышал три мерных удара; он бросился на колени.

– Это вы? – спросил он. – Я здесь.

– Ушел тюремщик? – спросил голос.

– Ушел, – отвечал Дантес, – и придет только вечером; в нашем распоряжении двенадцать часов.

– Так можно действовать? – спросил голос.

– Да, да, скорее, сию минуту, умоляю вас!

Тотчас же земля, на которую Дантес опирался обеими руками, подалась под ним; он отпрянул, и в тот же миг груды земли и камней посыпалась в яму, открывшуюся под вырытым им отверстием. Тогда из темной ямы, глубину которой он не мог измерить глазом, показалась голова, плечи и наконец весь человек, который не без ловкости выбрался из пролома.

XVI. Итальянский ученый

Дантес сжал в своих объятиях этого нового друга, так давно и с таким нетерпением ожидаемого, и подвел его к окну, чтобы слабый свет, проникавший в подземелье, мог осветить его всего.

Это был человек невысокого роста, с волосами, поседевшими не столько от старости, сколько от горя, с пронизательными глазами, скрытыми под густыми седеющими бровями, и с черной еще бородой, доходившей до середины груди; худоба его лица, изрытого глубокими морщинами, смелые и выразительные черты изобличали в нем человека, более привыкшего упражнять свои духовные силы, нежели физические. По лбу его струился пот. Что касается его одежды, то не было никакой возможности угадать ее первоначальный покров; от нее остались одни лохмотья. На вид ему казалось не менее шестидесяти пяти лет, движения его были еще достаточно энергичны, чтобы предположить, что причина его дряхлости не возраст, что, быть может, он еще не так стар и лишь изнурен долгим заточением.

Ему была, видимо, приятна восторженная радость молодого человека; казалось, его оледенелая душа на миг согрелась и оттаяла, соприкоснувшись с пламенной душой Дантеса. Он тепло поблагодарил его за радушный прием, хоть и велико было его разочарование, когда он нашел только другую темницу там, где думал найти свободу.

– Прежде всего, – сказал он, – посмотрим, нельзя ли скрыть от наших сторожей следы моего подкопа. Все будущее наше спокойствие зависит от этого.

Он нагнулся к отверстию, поднял камень и без особого труда, несмотря на его тяжесть, вставил на прежнее место.

– Вы вынули этот камень довольно небрежно, – сказал он, покачав головой. – Разве у вас нет инструментов?

– А у вас есть? – спросил Дантес с удивлением.

– Я себе кое-какие смастерил. Кроме напильника, у меня есть все, что нужно: долото, клещи, рычаг.

– Как я хотел бы взглянуть на эти плоды вашего терпения и искусства, – сказал Дантес.

– Извольте – вот долото.

И он показал железную полоску, крепкую и отточенную, с буковой рукояткой.

– Из чего вы это сделали? – спросил Дантес.

– Из скобы моей кровати. Этим орудием я и прорыл себе дорогу, по которой пришел сюда, почти пятьдесят футов.

– Пятьдесят футов! – вскричал Дантес с ужасом.

– Говорите тише, молодой человек, говорите тише; у дверей заключенных часто подслушивают.

– Да ведь знают, что я один.

– Все равно.

– И вы говорите, что прорыли дорогу в пятьдесят футов?

– Да, приблизительно такое расстояние отделяет мою камеру от вашей; только я неверно вычислил кривую, потому что у меня не было геометрических приборов, чтобы установить масштаб; вместо сорока футов по эллипсу оказалось пятьдесят. Я думал, как уже говорил вам, добраться до наружной стены, пробить ее и броситься в море. Я рыл вровень с коридором, куда выходит ваша камера, вместо того чтобы пройти под ним; все мои труды пропали даром, потому что коридор ведет во двор, полный стражи.

– Это правда, – сказал Дантес, – но коридор идет только вдоль одной стороны моей камеры, а ведь у нее четыре стороны.

– Разумеется; но вот эту стену образует утес; десять рудокопов, со всеми необходимыми орудиями, едва ли пробьют этот утес в десять лет; та стена упирается в фундамент помещения коменданта; через нее мы попадем в подвал, без сомнения, запираемый на ключ, и нас поймут; а эта стена выходит... Постойте!.. Куда же выходит эта стена?

В этой стене была пробита бойница, через которую проникал свет; бойница эта, суживаясь, шла сквозь толщу стены: в нее не протискался бы и ребенок; тем не менее ее защищали три ряда железных прутьев, так что самый подозрительный тюремщик мог не опасаться побега. Гость, задав вопрос, подвинул стол к окну.

– Становитесь на стол, – сказал он Дантесу.

Дантес повиновался, взобрался на стол и, угадав намерение товарища, уперся спиной в стену и подставил обе ладони.

Тогда старик, который назвал себя номером своей камеры и настоящего имени которого Дантес еще не знал, проворнее, чем от него можно было ожидать, с легкостью кошки или ящерицы взобрался сперва на стол, потом со стола на ладони Дантеса, а оттуда на его плечи; согнувшись, потому что низкий свод мешал ему выпрямиться, он просунул голову между прутьями и посмотрел вниз.

Через минуту он быстро высвободил голову.

– Ого! – сказал он. – Я так и думал.

И он спустился с плеч Дантеса на стол, а со стола соскочил на пол.

– Что такое? – спросил Дантес с беспокойством, прыгнув со стола вслед за ним.

Старик задумался.

– Да, – сказал он. – Так и есть; четвертая стена вашей камеры выходит на наружную галерею, нечто вроде круговой дорожки, где ходят патрули и стоят часовые.

– Вы в этом уверены?

– Я видел кивер солдата и кончик его ружья; я потому и отдернул голову, чтобы он меня не заметил.

– Так что же? – сказал Дантес.

– Вы сами видите, через вашу камеру бежать невозможно.

– Что ж тогда? – продолжал Дантес.

– Тогда, – сказал старик, – да будет воля божия!

И выражение глубокой покорности легло на его лицо.

Дантес с восхищением посмотрел на человека, так спокойно отказывавшегося от надежды, которую он лелеял столько лет.

– Теперь скажите мне, кто вы? – спросил Дантес.

– Что ж, пожалуй, если вы все еще хотите этого теперь, когда я ничем не могу быть вам полезен.

– Вы можете меня утешить и поддержать, потому что вы кажетесь мне сильнейшим из сильных.

Узник горько улыбнулся.

– Я аббат Фариа, – сказал он, – и сижу в замке Иф, как вы знаете, с тысяча восемьсот одиннадцатого года; но перед тем я просидел три года в Фенестрельской крепости. В тысяча восемьсот одиннадцатом году меня перевели из Пьемонта во Францию. Тут я узнал, что судьба, тогда, казалось, покорная Наполеону, послала ему сына и что этот сын в колыбели наречен римским королем. Тогда я не предвидел того, что узнал от вас; не воображал, что через четыре года исполн будет свергнут. Кто же теперь царствует во Франции? Наполеон Второй?

– Нет, Людовик Восемнадцатый.

– Людовик Восемнадцатый, брат Людовика Шестнадцатого! Пути провидения неисповедимы. С какой целью унизило оно того, кто был им вознесен, и вознесло того, кто был им унижен?

Дантес не сводил глаз с этого человека, который, забывая о собственной участи, размышлял об участи мира.

– Да, да, – продолжал тот, – как в Англии: после Карла Первого – Кромвель; после Кромвеля – Карл Второй и, быть может, после Якова Второго – какой-нибудь шурин или другой родич, какой-нибудь принц Оранский; бывший штатгальтер станет королем, и тогда опять – уступки народу, конституция, свобода! Вы это еще увидите, молодой человек, – сказал он, поворачиваясь к Дантесу и глядя на него вдохновенным взором горящих глаз, какие, должно быть, бывали у пророков. – Вы еще молоды, вы это увидите!

– Да, если выйду отсюда.

– Правда, – отвечал аббат Фариа. – Мы в заточении, бывают минуты, когда я об этом забываю и думаю, что свободен, потому что глаза мои проникают сквозь стены тюрьмы.

– Но за что же вас заточили?

– Меня? За то, что я в тысяча восемьсот седьмом году мечтал о том, что Наполеон хотел осуществить в тысяча восемьсот одиннадцатом; за то, что я, как Макиавелли, вместо мелких княжеств, гнездящихся в Италии и управляемых слабыми деспотами, хотел видеть единую, великую державу, целостную и мощную; за то, что мне показалось, будто я нашел своего Цезаря Борджиа в коронованном глупце, который притворялся, что согласен со мной, чтобы легче предать меня. Это был замысел Александра Шестого и Климента Седьмого; он обречен на неудачу, они тщетно брались за его осуществление, и даже Наполеон не сумел завершить его; поистине над Италией тяготеет проклятие!

Старик опустил голову на грудь.

Дантесу было непонятно, как может человек рисковать жизнью из таких побуждений; правда, если он знал Наполеона, потому что видел его и говорил с ним, то о Клименте Седьмом и Александре Шестом он не имел ни малейшего представления.

– Не вы ли, – спросил Дантес, начиная разделять всеобщее мнение в замке Иф, – не вы ли тот священник, которого считают... больным?

– Сумасшедшим, хотите вы сказать?

– Я не осмелился, – сказал Дантес с улыбкой.

– Да, – промолвил Фариа с горьким смехом, – да, меня считают сумасшедшим; я уже давно служу посмешищем для жителей этого замка и потешал бы детей, если бы в этой обители безысходного горя были дети.

Дантес стоял неподвижно и молчал.

– Так вы отказываетесь от побега? – спросил он.

– Я убедился, что бежать невозможно, предпринимать невозможное – значит восставать против бога.

– Зачем отчаиваться? Желать немедленной удачи – это тоже значит требовать от провидения слишком многого. Разве нельзя начать подкоп в другом направлении?

– Да знаете ли вы, чего мне стоил этот подкоп? Знаете ли вы, что я четыре года потратил на одни инструменты? Знаете ли вы, что я два года рыл землю, твердую, как гранит? Знаете ли вы, что я вытаскивал камни, которые прежде не мог бы сдвинуть с места; что я целые дни проводил в этой титанической работе; что иной раз, вечером, я считал себя счастливым, если мне удавалось отбить квадратный дюйм затвердевшей, как камень, известки? Знаете ли вы, что, для того чтобы прятать землю и камни, которые я выкапывал, мне пришлось пробить стену и сбрасывать все это под лестницу и что теперь там все полно доверху, так что мне некуда было бы девать горсть пыли? Знаете ли вы, что я уже думал, что достиг цели моих трудов, чувствовал, что моих сил хватит только на то, чтобы кончить работу, и вдруг бог не только отодвигает эту цель, но и переносит ее неведомо куда? Нет! Я вам сказал и повторю еще раз: отныне я и пальцем не шевельну, ибо господу угодно, чтобы я был навеки лишен свободы!

Эдмон опустил голову, чтобы не показать старику, что радость иметь его своим товарищем мешает ему в должной мере сочувствовать горю узника, которому не удалось бежать.

Аббат Фариа опустил на постель.

Эдмон никогда не думал о побеге. Иные предприятия кажутся столь несбыточными, что даже не приходит в голову браться за них; какой-то инстинкт заставляет избегать их. Прорыть пятьдесят футов под землей, посвятить этому труду три года, чтобы дорыться, в случае удачи, до отвесного обрыва над морем; броситься с высоты в пятьдесят, шестьдесят, а то и сто футов, чтобы разmozжить себе голову об утесы, если раньше не убьет пуля часового, а если удастся избежать всех этих опасностей, проплыть целую милю, – этого было больше чем достаточно, чтобы покориться неизбежности, и мы убедились, что эта покорность привела Дантеса на порог смерти.

Но, увидев старика, который цеплялся за жизнь с такой энергией и подавал пример отчаянной решимости, Дантес стал размышлять и измерять свое мужество. Другой попытался сделать то, о чем он даже не мечтал; другой, менее молодой, менее сильный, менее ловкий, чем он, трудом и терпением добыл себе все инструменты, необходимые для этой гигантской затеи, которая не удалась только из-за ошибки в расчете; другой сделал все это, стало быть, и для него нет ничего невозможного. Фариа прорыл пятьдесят футов, он пророем сто; пятидесятилетний Фариа трудился три года, он вдвое моложе Фариа и проработает шесть лет; Фариа, аббат, ученый, священнослужитель, решился проплыть от замка Иф до острова Дом, Ратонно или Лемер; а он, Дантес, моряк, смелый водолаз, так часто нырявший на дно за коралловой ветвью, неужели не проплывет одной мили? Сколько надобно времени, чтобы проплыть милю? Час? Так разве ему не случалось по целым часам качаться на волнах, не выходя на берег? Нет, нет, ему нужен был только ободряющий пример. Все, что сделал или мог бы сделать другой, сделает и Дантес.

Он задумался, потом сказал:

– Я нашел то, что вы искали.

Фариа вздрогнул.

– Вы? – спросил он, подняв голову, и видно было, что если Дантес сказал правду, то отчаяние его сотоварища продлится недолго. – Что же вы нашли?

– Коридор, который вы пересекли, тянется в том же направлении, что и наружная галерея?

– Да.

– Между ними должно быть шагов пятнадцать.

– Самое большее.

– Так вот: от середины коридора мы проложим путь под прямым углом. На этот раз вы сделаете расчет более тщательно. Мы выберемся на наружную галерею, убьем часового и убе-

жим. Для этого нужно только мужество, оно у вас есть, и сила – у меня ее довольно. Не говорю о терпении – вы уже доказали свое на деле, а я постараюсь доказать свое.

– Пойдите, – сказал аббат, – вы не знаете, какого рода мое мужество и на что я намерен употребить свою силу. Терпения у меня, по-видимому, довольно: я каждое утро возобновлял ночную работу и каждую ночь – дневные труды. Но тогда мне казалось, – вслушайтесь в мои слова, молодой человек, – тогда мне казалось, что я служу богу, пытаюсь освободить одно из его созданий, которое, будучи невиновным, не могло быть осуждено.

– А разве теперь не то? – спросил Дантес. – Или вы признали себя виновным, с тех пор как мы встретились?

– Нет, но я не хочу стать им. До сих пор я имел дело только с вещами, а вы предлагаете мне иметь дело с людьми. Я мог пробить стену и уничтожить лестницу, но я не стану пробивать грудь и уничтожать чью-нибудь жизнь.

Дантес с удивлением посмотрел на него.

– Как? – сказал он. – Если бы вы могли спастись, такие соображения удержали бы вас?

– А вы сами, – сказал Фариа, – почему вы не убили тюремщика ножкой от стола, не надели его платья и не попытались бежать?

– Потому что мне это не пришло в голову, – отвечал Дантес.

– Потому что в вас природой заложено отвращение к убийству: такое отвращение, что вы об этом даже не подумали, – продолжал старик, – в делах простых и дозволенных наши естественные побуждения ведут нас по прямому пути. Тигру, который рожден для пролития крови – это его дело, его назначение, – нужно только одно: чтобы обоняние дало ему знать о близости добычи. Он тотчас же бросается на нее и разрывает на куски. Это его инстинкт, и он ему повинует. Но человеку, напротив, кровь претит; не законы общества запрещают нам убийство, а законы природы.

Дантес смутился. Слова аббата объяснили ему то, что бессознательно происходило в его уме или, лучше сказать, в его душе, потому что иные мысли рождаются в мозгу, а иные в сердце.

– Кроме того, – продолжал Фариа, – сидя в тюрьме двенадцать лет, я перебрал в уме все знаменитые побеги. Я увидел, что они удавались редко. Счастливые побеги, увенчанные полным успехом, это те, над которыми долго думали, которые медленно готовились. Так герцог Бофор бежал из Венсенского замка, аббат Дюбюкуа из Фор-Левака, а Латюд из Бастилии. Есть еще побеги случайные; это – самые лучшие, поверьте мне, подождем благоприятного случая и, если он представится, воспользуемся им.

– Вы-то могли ждать, – прервал Дантес со вздохом, – ваш долгий труд занимал вас ежеминутно, а когда вас не развлекал труд, вас утешала надежда.

– Я занимался не только этим, – сказал аббат.

– Что же вы делали?

– Писал или занимался.

– Так вам дают бумагу, перья, чернила?

– Нет, – сказал аббат, – но я их делаю сам.

– Вы делаете бумагу, перья и чернила? – воскликнул Дантес.

– Да.

Дантес посмотрел на старого аббата с восхищением; но он еще плохо верил его словам. Фариа заметил, что он сомневается.

– Когда вы придете ко мне, – сказал он, – я покажу вам целое сочинение, плод мыслей, изысканий и размышлений всей моей жизни, которое я обдумывал в тени Колизея в Риме, у подножия колонны святого Марка в Венеции, на берегах Арно во Флоренции, не подозревая, что мои тюремщики дадут мне досуг написать его в стенах замка Иф. Это «Трактат о возможности всеединой монархии в Италии». Он составит толстый том in quarto.

– И вы написали его?

– На двух рубашках. Я изобрел вещество, которое делает холст гладким и плотным, как пергамент.

– Так вы химик?

– Отчасти. Я знал Лавуазье и был дружен с Кабанисом.

– Но для такого труда вы нуждались в исторических материалах. У вас были книги?

– В Риме у меня была библиотека в пять тысяч книг. Читая и перечитывая их, я убедился, что сто пятьдесят хорошо подобранных сочинений могут дать если не полный итог человеческих знаний, то, во всяком случае, все, что полезно знать человеку. Я посвятил три года жизни на изучение этих ста пятидесяти томов и знал их почти наизусть, когда меня арестовали. В тюрьме, при небольшом усилии памяти, я все их припомнил. Я мог бы вам прочесть наизусть Фукидида, Ксенофонта, Плутарха, Тита Ливия, Тацита, Страду, Иорнанду, Данте, Монтеня, Шекспира, Спинозу, Макиавелли и Боссюэ. Я вам называю только первостепенных.

– Вы знаете несколько языков?

– Я говорю на пяти живых языках: по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски и по-испански; с помощью древнегреческого понимаю нынешний греческий язык; правда, я еще плохо говорю на нем, но я изучаю его.

– Вы изучаете греческий язык? – спросил Дантес.

– Да, я составил лексикон слов, мне известных; я их расположил всеми возможными способами так, чтобы их было достаточно для выражения моих мыслей. Я знаю около тысячи слов, больше мне и не нужно, хотя в словарях их содержится чуть ли не сто тысяч. Красноречивым я не буду, но понимать меня будут вполне, а этого мне довольно.

Все более и более изумляясь, Эдмон начинал находить способности этого странного человека почти сверхъестественными. Он хотел поймать его на чем-нибудь и продолжал:

– Но если вам не давали перьев, то чем же вы написали такую толстую книгу?

– Я сделал себе прекрасные перья, – их предпочли бы гусиным, если бы узнали о них, – из головных хрящей тех огромных мерланов, которые нам иногда подают в постные дни. И я очень люблю среду, пятницу и субботу, потому что эти дни приумножают запас моих перьев, а исторические труды мои, признаюсь, мое любимое занятие. Погружаясь в прошлое, я не думаю о настоящем; свободно и независимо прогуливаясь по истории, я забываю, что я в тюрьме.

– А чернила? – спросил Дантес. – Из чего вы сделали чернила?

– В моей камере прежде был камин, – отвечал Фариас. – Трубу его заложили, по-видимому, незадолго до того, как я там поселился, но в течение долгих лет его топили, и все его стенки обросли сажой. Я растворяю эту сажу в вине, которое мне дают по воскресеньям, и таким образом добываю превосходные чернила. Для некоторых заметок, которые должны бросаться в глаза, я накалываю палец и пишу кровью.

– А когда мне можно увидеть все это? – спросил Дантес.

– Когда вам угодно, – сказал Фариас.

– Сейчас же!

– Так ступайте за мною, – сказал аббат.

Он спустился в подземный ход и исчез в нем; Дантес последовал за ним.

XVII. Камера аббата

Пройдя довольно легко, хоть и согнувшись, подземным ходом, Дантес достиг конца коридора, прорытого аббатом. Тут проход суживался, и в него едва можно было пролезть ползком. Пол в камере аббата был вымощен плитами; подняв одну из них, в самом темном углу, он и начал трудную работу, окончание которой видел Дантес.

Проникнув в камеру и став на ноги, Эдмон с любопытством стал оглядываться по сторонам. С первого взгляда в этой камере не было ничего необыкновенного.

– Так, – сказал аббат, – теперь только четверть первого, и у нас остается еще несколько часов.

Дантес посмотрел кругом, ища глазами часы, по которым аббат определял время с такой точностью.

– Посмотрите, – сказал аббат, – на солнечный луч, проникающий в мое окно, и на эти линии, вычерченные мною на стене. По этим линиям я определяю время вернее, чем если бы у меня были часы, потому что часы могут испортиться, а солнце и земля всегда работают исправно.

Дантес ничего не понял из этого объяснения; видя, как солнце встает из-за гор и опускается в Средиземное море, он всегда думал, что движется солнце, а не земля. Незаметное для него двойное движение земного шара, на котором он жил, казалось ему неправдоподобным; в каждом слове его собеседника ему чудились тайны науки, столь же волшебные, как те золотые и алмазные копи, которые он видел еще мальчиком во время путешествия в Гузерат и Голконду.

– Мне не терпится, – сказал он аббату, – увидеть ваши богатства.

Аббат подошел к очагу и с помощью долота, которое он не выпускал из рук, вынул камень, некогда служивший полом и прикрывавший довольно просторное углубление; в этом углублении и хранились все те вещи, о которых он говорил Дантесу.

– Что же вам показать сперва? – спросил он.

– Покажите ваше сочинение о монархии в Италии.

Фариа вытащил из тайника четыре свитка, скатанные, как листы папируса. Свитки состояли из холщовых полос шириной в четыре дюйма и длиной дюймов в восемнадцать. Полосы были пронумерованы, и Дантес без труда прочел несколько строк. Сочинение было написано на родном языке аббата, то есть по-итальянски, а Дантес, уроженец Прованса, отлично понимал этот язык.

– Видите, тут все; неделю тому назад я написал «конец» на шестьдесят восьмой полосе. Две рубашки и все мои носовые платки ушли на это; если я когда-нибудь выйду на свободу, если в Италии найдется типограф, который отважится напечатать мою книгу, я прославлюсь.

– Да, – отвечал Дантес, – вижу. А теперь, прошу вас, покажите мне перья, которыми написана эта книга.

– Вот, смотрите, – сказал Фариа.

И он показал Дантесу палочку шести дюймов в длину, толщиной в полдюйма; к ней при помощи нитки был привязан рыбий хрящик, запачканный чернилами; он был заострен и расщеплен, как обыкновенное перо.

Дантес рассмотрел перо и стал искать глазами инструмент, которым оно было так хорошо очинено.

– Вы ищете перочинный ножик? – сказал Фариа. – Это моя гордость. Я сделал и его, и этот большой нож из старого железного подсвечника.

Ножик резал, как бритва, а нож имел еще то преимущество, что мог служить и ножом и кинжалом.

Дантес рассматривал все эти вещи с таким же любопытством, с каким, бывало, в марсельских лавках редкостей разглядывал орудия, сделанные дикарями и привезенные с южных островов капитанами дальнего плавания.

– Что же касается чернил, – сказал Фариа, – то вы знаете, из чего я их делаю; я изготавливаю их по мере надобности.

– Теперь я удивляюсь только одному, – сказал Дантес, – как вам хватило дней на всю эту работу.

– Я работал и по ночам, – сказал Фариа.

– По ночам? Что же вы, как кошка, видите ночью?

– Нет; но бог дал человеку ум, который возмещает несовершенство чувств; я создал себе освещение.

– Каким образом?

– От говядины, которую мне дают, я срезаю жир, растапливаю его и извлекаю чистое сало; вот мой светильник.

И аббат показал Дантесу плошку вроде тех, которыми освещают улицы в торжественные дни.

– А огонь?

– Вот два кремня и трут, сделанный из лоскута рубашки.

– А спички?

– Я притворился, что у меня кожная болезнь, и попросил серы; мне ее дали.

Дантес положил все вещи на стол и опустил голову, потрясенный упорством и силою этого ума.

– Это еще не все, – сказал Фариа, – ибо не следует прятать все свои сокровища в одно место. Закроем этот тайник.

Они вдвинули камень на прежнее место; аббат посыпал его пылью и растер ее ногою, чтобы не было заметно, что камень вынимали; потом подошел к кровати и отодвинул ее.

За изголовьем было отверстие, почти герметически закрытое камнем; в этом отверстии лежала веревочная лестница футов тридцати длиною. Дантес испробовал ее; она могла выдерживать любую тяжесть.

– Где вы достали веревку для этой превосходной лестницы? – спросил Дантес.

– Во-первых, из моих рубашек, а потом из простынь, которые я раздирал в продолжение трех лет, пока сидел в Фенестреле. Когда меня перевели сюда, я ухитрился захватить с собою заготовленный материал; здесь я продолжал работу.

– И никто не замечал, что ваши простыни не подрублены?

– Я их зашивал.

– Чем?

– Вот этой иглой.

И аббат достал из-под лохмотьев своего платья длинную и острую рыбью кость с продетой в нее ниткой.

– Дело в том, – продолжал Фариа, – что я сначала хотел выпилить решетку и бежать через окно, оно немного шире вашего, как вы видите; я бы его еще расширил перед самым побегом; но я заметил, что оно выходит во внутренний двор, и отказался от этого намерения. Однако я сохранил лестницу на тот случай, если бы, как я вам уже говорил, представилась возможность непредвиденного побега.

Но Дантес, рассматривая лестницу, думал совсем о другом. В голове его мелькнула новая мысль. Быть может, этот человек, такой умный, изобретательный, ученый, разберется в его несчастье, которое для него самого всегда было окутано тьмою.

– О чем вы думаете? – спросил аббат с улыбкой, принимая задумчивость Дантеса за высшую степень восхищения.

– Во-первых, о том, какую огромную силу ума вы потратили, чтобы дойти до цели. Что совершили бы вы на свободе!

– Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума; для того чтобы порох дал взрыв, его надо сжать. Тюрьма сосредоточила все мои способности, рассеянные в разных направлениях; они столкнулись на узком пространстве, – а вы знаете, из столкновения туч рождается электричество, из электричества молния, из молнии – свет.

– Нет, я ничего не знаю, – отвечал Дантес, подавленный своим невежеством. – Некоторые ваши слова лишены для меня всякого смысла. Какое счастье быть таким ученым, как вы!

Аббат улыбнулся.

– Но вы еще о чем-то думали?

– Да.

– Об одном вы мне сказали, а второе?

– Второе вот что: вы мне рассказали свою жизнь, а моей не знаете.

– Ваша жизнь так еще коротка, что не может заключать в себе важных событий.

– Она заключает огромное несчастье, – сказал Дантес, – несчастье, которого я ничем на заслужил. И я бы желал, чтобы никогда больше не богохульствовать, убедиться в том, что в моем несчастье виноваты люди.

– Так вы считаете себя невиновным в том преступлении, которое вам приписывают?

– Я невинен, клянусь жизнью тех, кто мне дороже всего на свете: жизнью моего отца и Мерседес.

– Хорошо, – сказал аббат, закрывая тайник и подвигая кровать на прежнее место. – Расскажите мне вашу историю.

И Дантес рассказал то, что аббат назвал его историей; она ограничивалась путешествием в Индию и двумя-тремя поездками на Восток; рассказал про свой последний рейс, про смерть капитана Леклера, поручение к маршалу, свидание с ним, его письмо к г-ну Нуартье; рассказал про возвращение в Марсель, свидание с отцом, про свою любовь к Мерседес, про обручение, арест, допрос, временное заключение в здании суда и, наконец, окончательное заточение в замке Иф. Больше он ничего не знал; не знал даже, сколько времени находится в тюрьме.

Выслушав его рассказ, аббат глубоко задумался.

– В науке права, – сказал он, помолчав, – есть мудрая аксиома, о которой я вам уже говорил; кроме тех случаев, когда дурные мысли порождены испорченной натурой, человек сторонится преступления. Но цивилизация сообщила нам искусственные потребности, пороки и желания, которые иногда заглушают в нас доброе начало и приводят ко злу. Отсюда положение: если хочешь найти преступника, ищи того, кому совершенное преступление могло принести пользу. Кому могло принести пользу ваше исчезновение?

– Да никому. Я так мало значил.

– Не отвечайте опрометчиво; в вашем ответе нет ни логики, ни философии. На свете все относительно, дорогой друг, начиная с короля, который мешает своему преемнику, до канцеляриста, который мешает сверхштатному писцу. Когда умирает король, его преемник наследует корону; когда умирает канцелярист, писец наследует тысячу двести ливров жалованья. Эти тысяча двести ливров – его цивильный лист; они ему так же необходимы, как королю двенадцать миллионов. Каждый человек сверху донизу общественной лестницы образует вокруг себя мирок интересов, где есть свои вихри и свои крючковые атомы, как в мирах Декарта. Чем ближе к верхней ступени, тем эти миры больше. Это опрокинутая спираль, которая держится на острие благодаря эквилибристике вокруг точки равновесия. Итак, вернемся к вашему миру. Вас хотели назначить капитаном «Фараона»?

– Да.

– Вы хотели жениться на красивой девушке?

– Да.

– Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном «Фараона»? Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес? Отвечайте сперва на первый вопрос: последовательность – ключ ко всем загадкам. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном «Фараона»?

– Никому; меня очень любили на корабле. Если бы матросам разрешили выбрать начальника, то они, я уверен, выбрали бы меня. Только один человек имел причину не жаловать меня: я поссорился с ним, предлагал ему дуэль, но он отказался.

– Ага! Как его звали?

- Данглар.
- Кем он был на корабле?
- Бухгалтером.
- Заняв место капитана, вы бы оставили его в прежней должности?
- Нет, если бы это от меня зависело; я заметил в его счетах кое-какие неточности.
- Хорошо. Присутствовал ли кто-нибудь при вашем последнем разговоре с капитаном Леклером?
- Нет; мы были одни.
- Мог ли кто-нибудь слышать ваш разговор?
- Да, дверь была открыта... и даже... постойте... да, да, Данглар проходил мимо в ту самую минуту, когда капитан Леклер передавал мне пакет для маршала.
- Отлично, мы напали на след. Брали вы кого-нибудь с собой, когда сошли на острове Эльба?
- Никого.
- Там вам вручили письмо?
- Да, маршал вручил.
- Что вы с ним сделали?
- Положил в бумажник.
- Так при вас был бумажник? Каким образом бумажник с официальным письмом мог поместиться в кармане моряка?
- Вы правы, бумажник оставался у меня в каюте.
- Так, стало быть, вы только в своей каюте положили письмо в бумажник?
- Да.
- От Порто-Феррайо до корабля где было письмо?
- У меня в руках.
- Когда вы поднимались на «Фараон», любой мог видеть, что у вас в руках письмо?
- Да.
- И Данглар мог видеть?
- Да, и Данглар мог видеть.
- Теперь слушайте внимательно и напрягите свою память; помните ли вы, как был написан донос?
- О, да; я прочел его три раза, и каждое слово врезалось в мою память.
- Повторите его мне.
- Дантес задумался.
- Вот он, слово в слово:
«Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже. В случае его ареста письмо будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».
- Аббат пожал плечами.
- Ясно как день, – сказал он, – и велико же ваше простодушие, что вы сразу не догадались.
- Так вы думаете?.. – вскричал Дантес. – Какая подлость!
- Какой был почерк у Данглара?
- Очень красивый и четкий, с наклоном вправо.
- А каким почерком был написан донос?
- С наклоном влево.
- Аббат улыбнулся.
- Измененным!

- Почерк настолько твердый, что едва ли он был изменен.
- Постойте, – сказал аббат.

Он взял перо или, вернее, то, что называл пером, обмакнул в чернила и написал левой рукой, на холсте, заменяющем бумагу, первые строки доноса.

Дантес отпрянул и со страхом взглянул на аббата.

- Невероятно! – воскликнул он. – Как этот почерк похож на тот!
- Донос написан левой рукой. А я сделал любопытное наблюдение, – продолжал аббат.
- Какое?
- Все почерки правой руки разные, а почерки левой все похожи друг на друга.
- Все-то вы изучили!.. Все знаете!
- Будем продолжать.
- Да, да.
- Перейдем ко второму вопросу.
- Я слушаю вас.
- Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес?
- Да, одному молодому человеку, который любил ее.
- Его имя?
- Фернан.
- Имя испанское.
- Он каталанец.
- Считаете ли вы, что он мог написать донос?
- Нет, он ударил бы меня ножом, только и всего.
- Да, это в испанском духе: убийство, но не подлость.
- Да он и не знал подробностей, описанных в доносе.
- Вы никому их не рассказывали?
- Никому.
- Даже невесте?
- Даже ей.
- Так это Данглар.
- Теперь я в этом уверен.
- Постойте... Знал ли Данглар Фернана?
- Нет... Да... Вспомнил!
- Что?

– За день до моей свадьбы они сидели за одним столом в кабачке старика Памфила. Данглар был дружелюбен и весел, а Фернан бледен и смущен.

– Их было только двое?

– Нет, с ними сидел третий, мой хороший знакомый: он-то, верно, и познакомил их... портной Кадрусс. Но он был уже пьян... Постойте... постойте... Как я не вспомнил этого раньше! На столе, где они пили, стояла чернильница, лежала бумага, перья. – Дантес провел рукою по лбу. – О! Подлецы, подлецы!

– Хотите знать еще что-нибудь? – спросил аббат с улыбкой.

– Да, да, вы так все разбираете, так ясно все видите. Я хочу знать, почему меня допрашивали только один раз, почему меня обвинили без суда?

– Это уже посложнее, – сказал аббат. – Пути правосудия темны и загадочны, в них трудно разобраться. Проследить поведение обоих ваших врагов – это было просто детской игрой, а теперь вам придется дать мне самые точные показания.

– Извольте, спрашивайте. Вы поистине лучше знаете мою жизнь, чем я сам.

– Кто вас допрашивал? Королевский прокурор, или его помощник, или следователь?

– Помощник.

- Молодой, старый?
- Молодой, лет двадцати семи.
- Так, еще не испорченный, но уже честолюбивый, – сказал аббат. – Как он с вами обращался?
- Скорее ласково, нежели строго.
- Вы все ему рассказали?
- Все.
- Обращение его менялось во время допроса?
- На одно мгновение, когда он прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем.
- Вашим несчастьем?
- Да.
- И вы уверены, что он скорбел именно о вашем несчастье?
- Во всяком случае, он дал мне явное доказательство своего участия.
- Какое именно?
- Он сжег единственную улику, которая могла мне повредить.
- Которую? Донос?
- Нет, письмо.
- Вы уверены в этом?
- Это произошло на моих глазах.
- Тут что-то не то. Сдается мне, что этот помощник прокурора более низкий негодяй, чем можно предположить.
- Честное слово, меня бросает в дрожь, – сказал Дантес, – неужели мир населен только тиграми и крокодилами?
- Да; но только двуногие тигры и крокодилы куда опаснее всех других.
- Пожалуйста, будем продолжать!
- Извольте. Вы говорите, он сжег письмо?
- Да, и прибавил: «Видите, против вас имеется только эта улика, и я уничтожаю ее».
- Такой поступок слишком благороден и потому неестествен.
- Вы думаете?
- Я уверен. К кому было письмо?
- К господину Нуартье, в Париже, улица Кок-Эрон, номер тринадцать.
- Не думаете ли вы, что помощник прокурора мог быть заинтересован в том, чтобы это письмо исчезло?
- Может быть; он несколько раз заставил меня обещать – будто бы для моей же пользы – не говорить никому об этом письме и взял с меня клятву, что я никогда не произнесу имени, написанного на конверте.
- Нуартье! – повторил аббат. – Нуартье! Я знал одного Нуартье при дворе бывшей королевы Этрурии; знал Нуартье – жирондиста во время революции. А как звали вашего помощника прокурора?
- Де Вильфор.
- Аббат расхохотался.
- Дантес посмотрел на него с изумлением.
- Что с вами? – сказал он.
- Видите этот солнечный луч? – спросил аббат.
- Вижу.
- Ну, так вот: теперь ваше дело для меня яснее этого луча. Бедный мальчик! И он был ласков с вами?
- Да.

– Этот достойный человек сжег, уничтожил письмо?

– Да.

– Благородный поставщик палача взял с вас клятву, что вы никогда не произнесете имени Нуартье?

– Да.

– А этот Нуартье, несчастный вы слепец, да знаете ли вы, кто такой этот Нуартье? Этот Нуартье – его отец!

Если бы молния ударила у ног Дантеса и разверзла перед ним пропасть, на дне которой он увидел бы ад, она не поразила бы его так внезапно и так ошеломляюще, как слова аббата. Он вскочил и схватился руками за голову.

– Его отец! Его отец! – вскричал он.

– Да, его отец, которого зовут Нуартье де Вильфор, – отвечал аббат.

И тогда ослепительный свет озарил мысли Дантеса; все, что прежде казалось ему темным, внезапно засияло в ярких лучах. Изменчивое поведение Вильфора во время допроса, уничтожение письма, требование клятвы, просительный голос судьи, который не грозил, а, казалось, умолял, – все пришло ему на память. Он закричал, зашатался, как пьяный; потом бросился к подкопу, который вел из камеры аббата в его темницу.

– Мне надо побыть одному! – воскликнул он. – Я должен обдумать все это!

И, добравшись до своей камеры, он бросился на постель. Вечером, когда пришел тюремщик, Дантес сидел на койке с остановившимся взглядом и искаженным лицом, неподвижный и безмолвный, как статуя.

В эти долгие часы размышления, пролетевшие, как секунды, он принял грозное решение и поклялся страшной клятвой.

Дантеса пробудил от задумчивости человеческий голос, голос аббата Фариа, который после ухода тюремщика пришел пригласить Эдмона отужинать с ним. Звание сумасшедшего, и притом забавного сумасшедшего, давало старому узнику некоторые привилегии, а именно: право на хлеб побелее и на графинчик вина по воскресеньям. Было как раз воскресенье, и аббат пришел звать своего молодого товарища разделить с ним хлеб и вино.

Дантес последовал за ним. Лицо его прояснилось и приняло прежнее выражение, но в глазах были жестокость и твердость, свидетельствовавшие о том, что в юноше созрело какое-то решение. Аббат посмотрел на него пристально.

– Я сожалею о том, что помог вам в ваших поисках правды, и сожалею о словах, сказанных мною.

– Почему? – спросил Дантес.

– Потому что я поселил в вашей душе чувство, которого там не было, – жажду мщения. Дантес улыбнулся.

– Поговорим о другом, – сказал он.

Аббат еще раз взглянул на него и печально покачал головой. Но, уступая просьбе Дантеса, заговорил о другом. Беседа с аббатом, как с любым собеседником, много перенесшим, много страдавшим, была поучительна и неизменно занимательна, но в ней не было эгоизма, этот страдалец никогда не говорил о своих страданиях.

Дантес с восторгом ловил каждое его слово; иные слова аббата отвечали мыслям, ему уже знакомым, и его знаниям моряка; другие касались предметов, ему неведомых, и, как северное сияние, которое светит мореплавателям в полуночных широтах, открывали ему новые просторы, освещенные фантастическими отблесками. Он понял, какое счастье для просвещенного человека сопутствовать этому возвышенному уму на высотах нравственных, философских и социальных идей, где он привык парить.

– Научите меня чему-нибудь из того, что вы знаете, – сказал Дантес, – хотя бы для того, чтобы не соскучиться со мной. Боюсь, что вы предпочитаете уединение обществу такого необ-

разованного и ничтожного товарища, как я. Если вы согласитесь на мою просьбу, я обещаю вам не говорить больше о побеге.

Аббат улыбнулся.

– Увы, дитя мое, – сказал он, – знание человеческое весьма ограничено, и когда я научу вас математике, физике, истории и трем-четырем живым языкам, на которых я говорю, вы будете знать то, что я сам знаю; и все эти знания я передам вам в какие-нибудь два года.

– Два года! Вы думаете, что я могу изучить все эти науки в два года?

– В их приложении – нет; в их основах – да. Выучиться не значит знать; есть знающие и есть ученые, – одних создает память, других – философия.

– А разве нельзя научиться философии?

– Философии не учатся; философия есть сочетание приобретенных знаний и высокого ума, применяющего их; философия – это сверкающее облако, на которое ступил Христос, возносясь на небо.

– Чему же вы станете учить меня сначала? – спросил Дантес. – Мне хочется поскорее начать, я жажду знания.

– Всему! – отвечал аббат.

В тот же вечер узники составили план обучения и на другой день начали приводить его в исполнение. Дантес обладал удивительной памятью и необыкновенной понятливостью; математический склад его ума помогал ему усваивать все путем исчисления, а романтизм моряка смягчал чрезмерную прозаичность доказательств, сводящихся к сухим цифрам и прямым линиям; кроме того, он уже знал итальянский язык и отчасти новогреческий, которому научился во время своих путешествий на Восток. При помощи этих двух языков он скоро понял строй остальных и через полгода начал уже говорить по-испански, по-английски и по-немецки.

Потому ли, что наука доставляла ему развлечение, заменявшее свободу, потому ли, что он, как мы убедились, умел держать данное слово, во всяком случае, он, как обещал аббату, не заговаривал больше о побеге, и дни текли для него быстро и содержательно. Через год это был другой человек.

Что же касается аббата Фариа, то, несмотря на развлечение, доставляемое ему обществом Дантеса, старик с каждым днем становился мрачнее. Казалось, какая-то неотступная мысль занимала его ум; он то впадал в глубокую задумчивость, тяжело вздыхал, то вдруг вскакивал и, скрестив руки на груди, часами шагал по камере.

Как-то раз он внезапно остановился и воскликнул:

– Если бы не часовой!

– Будет часовой или нет, это зависит от вас, – сказал Дантес, читавший мысли аббата, словно его череп был из стекла.

– Я уже сказал вам, что убийство претит мне.

– Но это убийство, если оно совершится, будет совершено по инстинкту самосохранения, для самозащиты.

– Все равно я не могу.

– Однако вы думаете об этом?

– Неустанно, – прошептал аббат.

– И вы нашли способ? – живо спросил Дантес.

– Нашел, если бы на галерею поставили часового, который был бы слеп и глух.

– Он будет и слеп и глух, – отвечал Эдмон с твердостью, испугавшей аббата.

– Нет, нет, – крикнул он, – это невозможно!

Дантес хотел продолжать этот разговор, но аббат покачал головой и не стал отвечать.

Прошло три месяца.

– Вы сильный? – спросил однажды Дантеса аббат.

Дантес вместо ответа взял долото, согнул его подковой и снова выпрямил.

– Дадите честное слово, что убьете часового только в случае крайней необходимости?

– Даю честное слово.

– Тогда мы можем исполнить наше намерение, – сказал аббат.

– А сколько потребуется времени на то, чтобы его исполнить?

– Не меньше года.

– И можно приняться за работу?

– Хоть сейчас.

– Вот видите, мы потеряли целый год! – вскричал Дантес.

– По-вашему, потеряли?

– Простите меня, ради бога! – воскликнул Эдмон, покраснев.

– Полно! – сказал аббат. – Человек всегда только человек, а вы еще один из лучших, каких я знал. Так слушайте, вот мой план.

И аббат показал Дантесу сделанный им чертеж; то был план его камеры, камеры Дантеса и прохода, соединявшего их. Посредине этого прохода ответвлялся боковой ход вроде тех, какие прокладывают в рудниках. Этот боковой ход кончался под галереей, где шагал часового; тут предполагалось сделать широкую выемку, подрывая и расшатывая одну из плит, образующих пол галереи: в нужную минуту плита осядет под тяжестью солдата, и он провалится в выемку; оглушенный падением, он не в силах будет защищаться, и в этот миг Дантес кинется на него, свяжет, заткнет ему рот, и оба узника, выбравшись через окно галереи, спустятся по наружной стене при помощи веревочной лестницы и убегут.

Дантес захлопал в ладоши, и глаза его заблистали радостью; план был так прост, что непременно должен был удался.

В тот же день наши землекопы принялись за работу; они трудились тем более усердно, что этот труд следовал за долгим отдыхом и, по-видимому, отвечал заветному желанию каждого из них.

Они рыли без усталости, бросая работу только в те часы, когда принуждены были возвращаться к себе и ждать посещения тюремщика. Впрочем, они научились уже издали различать его шаги, и ни одного из них ни разу не застали врасплох. Чтобы земля, вынутая из нового подкопа, не завалила старый, они выкидывали ее понемногу и с невероятными предосторожностями в окно камеры Дантеса или Фариа; ее тщательно измельчали в порошок, и ночной ветер уносил ее.

Более года ушло на эту работу, выполненную долотом, ножом и деревянным рычагом; весь этот год аббат продолжал учить Дантеса, говорил с ним то на одном, то на другом языке, рассказывал ему историю народов и тех великих людей, которые время от времени оставляют за собою блистательный след, называемый славою. К тому же аббат, как человек светский, принадлежавший к высшему обществу, в обращении своем сохранял какую-то грустную величавость; Дантес благодаря врожденной переимчивости сумел усвоить изящную учтивость, которой ему недоставало, и аристократические манеры, приобретаемые обычно только в общении с высшими классами или в обществе просвещенных людей.

Через пятнадцать месяцев проход был вырыт; под галереей была сделана выемка; можно было слышать шаги часового, расхаживавшего взад и вперед; и узники, вынужденные для успешности побега ждать темной и безлунной ночи, боялись одного: что земля не выдержит и сама прежде времени осыплется под ногами солдата. Чтобы предотвратить эту опасность, узники поставили подпорку, которую нашли в фундаменте.

Дантес как раз был занят этим, когда вдруг услышал, что аббат Фариа, остававшийся в его камере, где он обтачивал гвоздь, предназначенный для укрепления веревочной лестницы, зовет его испуганным голосом. Дантес поспешил к нему и увидел, что аббат стоит посреди камеры, бледный, в поту, с судорожно стиснутыми руками.

– Боже мой! – вскрикнул Дантес. – Что такое? Что с вами?

– Скорей, скорей! – сказал аббат. – Слушайте!

Дантес посмотрел на посеревшее лицо аббата, на его глаза, окруженные синевой, на белые губы, на взъерошенные волосы и в страхе выронил из рук долото.

– Что случилось? – воскликнул он.

– Я погиб! – сказал аббат. – Слушайте. Мною овладевает страшная, быть может, смертельная болезнь; припадок начинается, я чувствую; я уже испытал это за год до тюрьмы. Есть только одно средство против этой болезни, я назову вам его; бегите ко мне, поднимите ножку кровати, она полая, в ней вы найдете пузырек с красным настоем. Принесите его сюда... или, нет, нет, постойте! Меня могут застать здесь; помогите мне дотащиться к себе, пока у меня есть еще силы. Кто знает, что может случиться и сколько времени продолжится припадок.

Дантес не потерял присутствия духа, несмотря на страшное несчастье, обрушившееся на него; он спустился в подкоп, таща за собой бедного аббата; с неимоверными усилиями он довел больного до его камеры и уложил в постель.

– Благодарю, – сказал аббат, дрожа всем телом, как будто он только что вышел из холодной воды. – Припадок сейчас начнется, я буду в каталепсии; может быть, буду лежать без движения, не издавая ни единого стога, а может быть, на губах выступит пена, я буду корчиться и кричать. Сделайте так, чтобы не было слышно моих криков; это самое важное; иначе меня, чего доброго, переведут в другую камеру и нас разлучат навеки. Когда вы увидите, что я застыл, окостенел, словом, все равно что мертвец, тогда – только тогда, слышите? – разожмите мне зубы ножом и влейте в рот десять капель настоя; и, может быть, я очнусь.

– Может быть? – скорбно воскликнул Дантес.

– Помогите! Помогите! – закричал аббат. – Я... я ум...

Припадок начался с такой быстротой и силой, что несчастный узник не успел даже кончить начатого слова. Тень мелькнула на его челе, быстрая и мрачная, как морская буря; глаза раскрылись, рот искривился, щеки побагровели; он бился, рычал, на губах выступила пена. Исполняя его приказание, Дантес зажал ему рот одеялом. Так продолжалось два часа. Наконец, бесчувственный, как камень, холодный и бледный, как мрамор, беспомощный, как растоптанная былинка, он забился в последних судорогах, потом вытянулся на постели и остался недвижим.

Эдмон ждал, пока эта мнимая смерть завладеет всем телом и оледенит самое сердце. Тогда он взял нож, просунул его между зубами, с величайшими усилиями разжал стиснутые челюсти, влил одну за другой десять капель красного настоя и стал ждать.

Прошел час, старик не шевелился. Дантес испугался, что ждал слишком долго, и смотрел на него с ужасом, схватившись за голову. Наконец легкая краска показалась на щеках; в глазах, все время остававшихся открытыми и пустыми, мелькнуло сознание; легкий вздох вылетел из уст; старик пошевелился.

– Спасен! Спасен! – закричал Дантес.

Больной еще не мог говорить, но с явной тревогой протянул руку к двери. Дантес насто-рожился и услышал шаги тюремщика. Было уже семь часов, а Дантесу было не до того, чтобы следить за временем.

Эдмон бросился в подкоп, заложил за собою камень и очутился в своей камере.

Через несколько мгновений дверь отворилась, и тюремщик, как и всегда, увидел узника сидящим на постели.

Едва успел он выйти, едва затих шум его шагов, как Дантес, терзаемый беспокойством, забыв про обед, поспешил обратно и, подняв камень, воротился в камеру аббата.

Аббат пришел в чувство, но еще лежал пластом, совершенно обессиленный.

– Я уж думал, что больше не увижу вас, – сказал он Эдмону.

– Почему? – спросил тот. – Разве вы боялись умереть?

– Нет; но все готово к побегу, и я думал, что вы убежите.

Краска негодования залила щеки Дантеса.

– Без вас! – вскричал он. – Неужели вы в самом деле думали, что я на это способен?

– Теперь вижу, что ошибался, – сказал больной. – Ах, как я слаб, разбит, уничтожен!

– Не падайте духом, силы восстановятся, – сказал Дантес, садясь возле постели аббата и беря его за руки.

Аббат покачал головой.

– Последний раз, – сказал он, – припадок продолжался полчаса, после чего мне захотелось есть, и я встал без посторонней помощи, а сегодня я не могу пошевелить ни правой ногой, ни правой рукой; голова у меня тяжелая, что указывает на кровоизлияние в мозг. При третьем припадке меня разобьет паралич или я сразу умру.

– Нет, нет, успокойтесь, вы не умрете; третий припадок, если и будет, застанет вас на свободе. Тогда мы вас вылечим, как и в этот раз, и даже лучше; ведь у нас будет все необходимое.

– Друг мой, – отвечал старик, – не обманывайте себя; этот припадок осудил меня на вечное заточение: для побега надо уметь ходить...

– Так что ж? Мы подождем неделю, месяц, два месяца, если нужно; тем временем силы воротятся к вам; все готово к нашему побегу; мы можем сами выбрать день и час. Как только вы почувствуете, что можете плавать, мы тотчас же бежим.

– Мне уже больше не плавать, – отвечал Фариа, – эта рука парализована, и не на один день, а навсегда. Поднимите ее, и вы увидите, как она тяжела.

Дантес поднял руку больного; она упала как камень. Он вздохнул.

– Теперь вы убедились, Эдмон? – сказал Фариа. – Верьте мне, я знаю, что говорю. С первого приступа моей болезни я не переставал думать о ней. Я ждал ее, потому что она у меня наследственная – мой отец умер при третьем припадке, дед тоже. Врач, который дал мне рецепт настоя, а это не кто иной, как знаменитый Кабанис, предсказал мне такую же участь.

– Врач ошибается, – воскликнул Дантес, – а паралич ваш не помешает нам: я возьму вас на плечи и поплыву вместе с вами!

– Дитя, – сказал аббат, – вы моряк, вы опытный пловец, стало быть, вы должны знать, что человек с такой ношей недалеко уплывет в море. Бросьте обольщать себя пустыми надеждами, которым не верит даже ваше доброе сердце. Я останусь здесь, пока не пробьет час моего освобождения, час смерти. А вы спасайтесь, бегите! Вы молоды, ловки и сильны; не считайтесь со мной, я возвращаю вам ваше честное слово.

– Хорошо, – сказал Дантес. – В таком случае и я остаюсь.

Он встал и торжественно простер руку над стариком:

– Клянусь кровью Христовой, что не оставляю вас до вашей смерти.

Фариа посмотрел на юношу, такого благородного, великодушного и безыскусственного, и на лице его, одушевленном самой чистой преданностью, прочел искренность его любви и чистосердечие его клятвы.

– Хорошо, – сказал больной, – я принимаю вашу жертву. Спасибо.

И он протянул Эдмону руку.

– Быть может, ваша бескорыстная преданность будет вознаграждена, – сказал он, – но так как я не могу, а вы не хотите уйти отсюда, то нам надо заложить ход под галереей. Часовой может обратить внимание на гулкое место и позвать надзирателя; тогда все откроется, и нас разлучат. Ступайте, займитесь этим делом, в котором, к сожалению, я уже не могу вам помочь. Употребите на это всю ночь, если нужно, и возвращайтесь завтра утром после обхода. Мне нужно сказать вам нечто очень важное.

Дантес пожал руку аббату, который успокоил его улыбкой, и послушно и почтительно вышел от своего старого друга.

XVIII. Сокровища аббата Фариа

Наутро, войдя в камеру своего товарища по заключению, Дантес застал аббата сидящим на постели. Лицо его было спокойно; луч солнца, проникавший через узкое окно, падал на клочок бумаги, который он держал в левой руке, – правой, как читатель помнит, он не владел; листок долго хранился в виде туго свернутой трубки и, вероятно, поэтому плохо раскручивался.

Аббат молча указал Дантесу на бумагу.

– Что это такое? – спросил Дантес.

– Посмотрите хорошенько, – отвечал аббат с улыбкой.

– Я смотрю во все глаза, – отвечал Дантес, – и вижу только обгоревшую бумажку, на которой какими-то странными чернилами написаны готические буквы.

– Эта бумага, друг мой, – сказал Фариа, – теперь я вам все могу открыть, ибо я испытал вас, – эта бумага – мое сокровище, половина которого, начиная с этой минуты, принадлежит вам.

Холодный пот выступил на лбу Дантеса. До сего дня он старался не говорить с аббатом об этом сокровище, из-за которого несчастный старик прослыл сумасшедшим; в силу врожденного такта Эдмон не хотел касаться этого больного места, сам Фариа тоже молчал; это молчание Эдмон принимал за возвращение рассудка. И вот теперь эти слова, вырвавшиеся у старика после тяжелого припадка, казалось, свидетельствовали о новом приступе душевного недуга.

– Ваше сокровище? – прошептал Дантес.

Фариа улыбнулся.

– Да, – отвечал он, – у вас благородная душа, Эдмон, и я понимаю по вашей бледности, по вашему трепету, что происходит в вас. Успокойтесь, я не сумасшедший. Это сокровище существует, Дантес, и если мне не дано было им владеть, то вы – вы будете владеть им. Никто не хотел ни слушать меня, ни верить мне, потому что все считали меня сумасшедшим; но вы-то знаете, что я в полном разуме; так выслушайте меня, а потом верьте или не верьте, как хотите.

«Увы! – подумал Дантес. – Он опять сошел с ума; недоставало только этого несчастья!»

Потом прибавил вслух:

– Друг мой, припадок изнурил вас; не лучше ли вам отдохнуть? Завтра, если угодно, я выслушаю ваш рассказ, а сегодня мне хочется просто поухаживать за вами; к тому же, – прибавил он улыбаясь, – не такое уж для нас с вами спешное дело это сокровище!

– Очень спешное, Эдмон! – отвечал старик. – Кто знает, может быть, завтра или послезавтра случится третий припадок. Ведь тогда все будет кончено! Правда, я часто с горькой радостью думал об этих богатствах, которые могли бы составить счастье десяти семейств; они потеряны для тех, кто меня преследовал. Мысль эта была моим мщением, и я упивался ею во мраке тюрьмы. Но теперь, когда я простил миру ради любви к вам, теперь, когда я вижу в вас молодость и будущее, когда я думаю, какое счастье вам может принести моя тайна, я боюсь опоздать, боюсь лишиться такого достойного владельца, как вы, обладания этим зарытым богатством.

Эдмон со вздохом отвернулся.

– Вы все еще не верите, Эдмон, – продолжал Фариа, – слова мои не убедили вас. Я вижу, вам нужны доказательства. Извольте. Прочтите эти строчки, которых я никогда никому не показывал.

– Завтра, друг мой, – отвечал Эдмон, не в силах потворствовать безумию старика. – Ведь мы условились поговорить об этом завтра.

– Говорить мы будем завтра, а записку прочтите сегодня.

«Не надо сердить его», – подумал Дантес.

Он взял полусгоревший клочок бумаги и прочитал:

*в этих пещерах: клад зарыт в самом даль
каковой клад завещаю ему и отдаю в по
единственному моему наследнику.*

25 апреля 149
Чез

– Ну что? – спросил Фариа, когда Дантес кончил.

– Да тут только начала строчек, – отвечал Дантес, – слова без связи: половина сгорела, и смысл непонятен.

– Для вас, потому что вы читаете в первый раз, но не для меня, который просидел над этим клочком много ночей, воссоздал каждую фразу, каждую мысль.

– И вы полагаете, что восстановили утраченный смысл?

– Я в этом уверен; судите сами; но прежде выслушайте историю этого документа.

– Тише! – вскричал Дантес. – Шаги!.. Я ухожу!.. Прощайте!

Дантес, радуясь, что может уклониться от рассказа и от объяснения, которые только подтверждали бы ему сумасшествие его друга, скользнул, как змея, в подземный ход, а Фариа, собрав последние силы, толкнул ногою плиту и прикрыл ее рогожей, чтобы не заметили щелей, которых он не успел присыпать землей.

Вошел комендант; узнав от сторожа о болезни аббата, он пожелал сам взглянуть на него.

Фариа принял его сидя, избегая всякого неловкого движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что правая сторона его тела парализована. Он боялся, что комендант из сострадания к нему велит перевести его в другую, лучшую камеру и таким образом разлучит с его молодым товарищем. Но, к счастью, этого не случилось, и комендант удалился в полном убеждении, что у бедного безумца, к которому он в глубине души питал некоторую привязанность, просто легкое недомогание.

Тем временем Дантес, сидя на постели и опустив голову на руки, старался собраться с мыслями. За время своего знакомства с аббатом он видел столько доказательств ясного ума, глубочайшей рассудительности и логической последовательности, что не мог понять, каким образом высочайшая мудрость может проявляться во всем и только относительно одного предмета уступать место помешательству. Кто заблуждается: Фариа, говоря о своем сокровище, или все, считая Фарию сумасшедшим?

Дантес просидел у себя весь день, не решаясь вернуться к своему другу. Он старался отдалить ту страшную минуту, когда он убедится, что Фариа – сумасшедший.

Вечером, после обычного обхода, не дождавшись Эдмона, Фариа сам попытался преодолеть разделявшее их расстояние. Эдмон услышал шорох и содрогнулся, представив себе мучительные усилия, с которыми полз разбитый параличом старик. Эдмон принужден был втащить его к себе, потому что старик никак не мог пролезть в узкое отверстие, ведущее в камеру Дантеса.

– Видите, с каким ожесточением я вас преследую, – сказал Фариа, ласково улыбаясь, – вы думали уклониться от моей щедрости, но это вам не удастся. Итак, слушайте.

Эдмон, видя, что иного выхода нет, посадил старика на свою кровать, а сам примостился возле него на табурете.

– Вам известно, – сказал аббат, – что я был секретарем, доверенным другом кардинала Спада, последнего представителя древнего рода. Этому достойному вельможе я обязан всем счастьем, которое я знал в жизни. Он не был богат, хотя богатства его рода стали притчей во языцех, и мне часто приходилось слышать выражение: «Богат, как Спада». И он и молва жили

за счет этих пресловутых богатств. Его дворец был раем для меня. Я учил его племянников, которые потом скончались, и когда он остался один на свете, то я отплатил ему беззаветной преданностью за все, что он для меня сделал в продолжение десяти лет.

В доме кардинала от меня не было тайн; не раз видел я, как он усердно перелистывает старинные книги и жадно роется в пыли фамильных рукописей. Когда я как-то упрекнул его за бесполезные бессонные ночи, после которых он впадал в болезненное уныние, он взглянул на меня с горькой улыбкой и раскрыл передо мною историю города Рима. В этой книге, в двадцатой главе жизнеописания папы Александра Шестого, я прочел следующие строки, навсегда оставшиеся в моей памяти.

Походы в Романье закончились; Цезарь Борджиа, завершив свои завоевания, нуждался в деньгах, чтобы купить всю Италию. Папа тоже нуждался в деньгах, чтобы покончить с французским королем Людовиком Двенадцатым, все еще грозным, несмотря на понесенные им поражения. Необходимо было задумать выгодное дело, что становилось затруднительным в разоренной Италии.

Его святейшеству пришла счастливая мысль. Он решил назначить двух новых кардиналов.

Выбор двух римских вельмож, притом непременно богатых, давал святому отцу следующие выгоды: во-первых, он мог продать доходные места и высокие должности, занимаемые обоими будущими кардиналами; во-вторых, он мог надеяться на щедрую плату за две кардинальские шапки.

Оставалась еще третья сторона дела, о которой мы скоро узнаем.

Папа и Цезарь Борджиа наметили двух кардиналов: Джованни Роспильози, занимавшего четыре важнейшие должности при святейшем престоле, и Чезаре Спада, одного из благороднейших и богатейших вельмож Рима. Оба дорого ценили папскую милость. Оба были честолюбивы. Затем Цезарь Борджиа нашел покупателей на их должности.

Таким образом Роспильози и Спада заплатили за кардинальство, а еще восемь человек заплатили за должности, прежде занимаемые двумя новыми кардиналами. Сундуки ловких дельцов пополнились восемьюстами тысячами скудо.

Перейдем к третьей части сделки. Обласкав Роспильози и Спада, возложив на них знаки кардинальского звания и зная, что для уплаты весьма ощутимого долга благодарности и для переезда на жительство в Рим они должны обратить свои состояния в наличные деньги, папа, вкупе с Цезарем Борджиа, пригласил обоих кардиналов на обед.

По этому поводу между отцом и сыном завязался спор. Цезарь считал, что достаточно применить одно из тех средств, которые он всегда держал наготове для своих ближайших друзей, а именно: пресловутый ключ, которым то одного, то другого просили отпереть некий шкаф. На ключе был крохотный железный шип – недосмотр слесаря. Каждый, кто трудился над тугим замком, накалывал себе палец и на другой день умирал. Был еще перстень с львиной головой, который Цезарь надевал, когда хотел пожать руку той или иной особе. Лев впивался в кожу этих избранных рук, и через сутки наступала смерть.

Поэтому Цезарь предложил отцу либо послать обоих кардиналов отпереть шкаф, либо дружески пожать руку обоим. Но Александр Шестой отвечал ему:

«Не поскупимся на обед ради достойнейших кардиналов Спада и Роспильози. Сдается мне, что мы вернем расходы. Притом ты забываешь, Цезарь, что несварение желудка сказывается тотчас же, а укол или укус действует только через день-два».

Цезарь согласился с таким рассуждением. Вот почему обоих кардиналов позвали обедать.

Стол накрыли в папских виноградниках возле Сан-Пьетро-ин-Винколи, в прелестном уголке, понаслышке знакомом кардиналам.

Роспильози, в восторге от своего нового звания и предвкушая пир, явился с самым веселым лицом. Спада, человек осторожный и очень любивший своего племянника, молодого офи-

цера, подававшего блистательные надежды, взял лист бумаги, перо и написал свое завещание. Потом он послал сказать племяннику, чтобы тот ждал его у виноградников; но посланный, по видимому, не застал того дома.

Спада знал, что значит приглашение на обед. С тех пор как христианство – глубоко цивилизующая сила – восторжествовало в Риме, уже не центурион являлся объявить от имени тирана: «Цезарь желает, чтобы ты умер», а любезный легат с улыбкой говорил от имени папы: «Его святейшество желает, чтобы вы с ним отобедали».

В два часа дня Спада отправился на виноградники Сан-Пьетро-ин-Винколи; папа уже ждал его. Первый, кого он там увидел, был его племянник, разодетый и веселый; Цезарь Борджиа осыпал его ласками. Спада побледнел, а Цезарь бросил на него насмешливый взгляд, давая понять, что он все предвидел и подстроил ловушку.

Сели обедать. Спада успел только спросить племянника: «Видел ты моего посланного?» Племянник отвечал, что нет, отлично понимая значение вопроса. Но было уже поздно; он успел выпить стакан превосходного вина, особо налитый ему папским чашником. В ту же минуту подали еще бутылку, из которой щедро угостили кардинала Спада. Через час врач объявил, что оба они отравились сморчками. Спада умер у входа в виноградник, а племянник скончался у ворот своего дома, пытаясь что-то сообщить своей жене, но она не поняла его.

Тотчас же Цезарь и папа захватили наследство под тем предлогом, что следует рассмотреть бумаги покойных. Но все наследство состояло из листа бумаги, на котором Спада написал: «Завещаю возлюбленному моему племяннику мои сундуки и книги, между коими мой молитвенник с золотыми углами, дабы он хранил его на память о любящем дяде».

Наследники все обыскали, полюбовались молитвенником, наложили руку на мебель, дивясь, что богач Спада оказался на поверку беднейшим из дядей. Сокровищ – ни следа, если не считать сокровищ знания, заключенных в библиотеке и лабораториях.

Больше не нашлось ничего. Цезарь и его отец искали, рылись, выводывали, но наскребли самую малость: золотых и серебряных вещей на какую-нибудь тысячу скудо и столько же наличных денег; но племянник успел сказать жене, возвратясь домой: «Ищите в бумагах дяди, там должно быть подлинное завещание».

Родня покойного принялась искать с еще большим усердием, быть может, чем державные наследники. Тщетно: ей достались два дворца да виноградник за Палатином. В те времена недвижимость ценилась дешево – оба дворца и виноградник остались во владении семейства покойного, как слишком ничтожные для алчности папы и его сына.

Прошли месяцы, годы. Александр Шестой, как известно, умер от яда благодаря ошибке; Цезарь, отравившийся вместе с ним, отделался тем, что, как змея, сбросил кожу и облекся в новую, на которой яд оставил пятна, похожие на тигровые; наконец, вынужденный покинуть Рим, он бесславно погиб в какой-то ночной стычке, почти забытый историей.

После смерти папы, после изгнания его сына все ожидали, что фамилия Спада опять заживет по-княжески, как жила во времена кардинала Спада. Ничуть не бывало. Спада жили в сомнительном довольстве, вечная тайна тяготела над этим темным делом. Молва решила, что Цезарь, бывший похитрее отца, похитил у него наследство обоих кардиналов; говорю обоих, потому что кардинал Роспильози, не принявший никаких мер предосторожности, был ограблен до нитки.

– До сих пор, – сказал Фариа с улыбкой, прерывая свой рассказ, – вы не слышали ничего особенно безрассудного, правда?

– Напротив, – отвечал Дантес, – мне кажется, что я читаю занимательнейшую летопись. Продолжайте, прошу вас.

– Продолжаю.

Спада привыкли к безвестности. Прошли годы. Среди их потомков были военные, дипломаты; иные приняли духовный сан, иные стали банкирами; одни разбогатели, другие совсем

разорились. Дохожу до последнего в роде, до того графа Спада, у которого я служил секретарем.

Он часто жаловался на несоответствие своего состояния с его положением; я посоветовал ему обратить все оставшееся у него небольшое имущество в пожизненную ренту; он последовал моему совету и удвоил свои доходы.

Знаменитый молитвенник остался в семье и теперь принадлежал графу Спада; он переходил от отца к сыну, превратившись, благодаря загадочной статье единственного обнаруженного завещания, в своего рода святыню, хранившуюся с суеверным благоговением. Это была книга с превосходными готическими миниатюрами и до такой степени отягченная золотом, что в торжественные дни ее нес перед кардиналом слуга.

Увидав всякого рода документы, акты, договоры, пергаменты, оставшиеся после отравленного кардинала и сохраняемые в семейном архиве, я тоже начал разбирать эти огромные связки бумаг, как их разбирали до меня двадцать служителей, двадцать управляющих, двадцать секретарей. Несмотря на терпеливые и ревностные розыски, я ровно ничего не нашел. А между тем я много читал, я даже написал подробную, чуть ли не подневную историю фамилии Борджиа только для того, чтобы узнать, не умножились ли их богатства со смертью моего Чезаре Спада, и нашел, что они пополнились только имуществом кардинала Роспильози, его товарища по несчастью.

Я был почти убежден, что наследство Спада не досталось ни его семье, ни Борджиа, а пребывает без владельца, как клады арабских сказок, лежащие в земле под охраной духа. Я изучал, подсчитывал, проверял тысячу раз приходы и расходы фамилии Спада за триста лет; все было напрасно: я оставался в неведении, а граф Спада в нищете.

Мой покровитель умер. Обращая имущество в пожизненную ренту, он оставил себе только семейный архив, библиотеку в пять тысяч томов и знаменитый молитвенник. Все это он завещал мне и еще тысячу римских скудо наличными, с условием, чтобы я каждый год служил заупокойную мессу по нем и составил родословное древо и историю его фамилии, что я и исполнил в точности...

Терпение, дорогой Эдмон, мы приближаемся к концу.

В тысяча восемьсот седьмом году, за месяц до моего ареста и через две недели после смерти графа, двадцать пятого декабря (вы сейчас поймете, почему это число осталось в моей памяти), я в тысячный раз перечитывал бумаги, которые приводил в порядок. Дворец был продан, и я собирался переселиться из Рима во Флоренцию со всем моим имуществом, состоявшим из двенадцати тысяч ливров, библиотеки и знаменитого молитвенника. Утомленный усердной работой и чувствуя некоторую вялость после чрезмерно сытного обеда, я опустил голову на руки и заснул. Было три часа пополудни.

Когда я проснулся, часы били шесть.

Я поднял голову; кругом было совсем темно. Я позвонил, чтобы спросить огня, но никто не пришел. Тогда я решил помочь делу сам. К тому же мне следовало привыкать к образу жизни философа. Одной рукой я взял спичку, а другой, так как спичек в коробке не оказалось, стал искать какую-нибудь бумажку, чтобы зажечь ее в камине, где еще плясал огонек; я боялся взять в темноте какой-нибудь ценный документ вместо бесполезного клочка бумаги, как вдруг вспомнил, что в знаменитом молитвеннике, который был тут же на столе, вместо закладки лежит пожелтевший листок, так благоговейно сохранный наследниками. Я нащупал эту ненужную бумажку, скомкал ее и поднес к огню.

И вдруг, словно по волшебству, по мере того как разгорался огонь, на белой бумаге начали проступать желтоватые буквы; мне стало страшно: я сжал бумагу ладонями, погасил огонь, зажег свечку прямо в камине, с неизъяснимым волнением расправил смятый листок и убедился, что эти буквы написаны симпатическими чернилами, выступающими только при сильном нагревании. Огонь уничтожил более трети записки; это та самая, которую вы читали

сегодня утром. Перечтите еще раз, Дантес, и, когда перечтете, я восполню пробелы и в словах и в смысле.

И Фариа с торжеством подал листок Дантесу, который на этот раз с жадностью прочел следующие слова, написанные рыжими, похожими на ржавчину чернилами:

*Сего 25 апреля 1498 года, бу
Александром VI и опасаясь, что он, не
пожелает стать моим наследником и го
и Бендивольо, умерших от яда,
единственному моему наследнику, что я зар
ибо он посещал его со мною, а именно в
ка Монте-Кристо, все мои зол
ни, алмазы и драгоценности; что один я
ценностью до двух мил
найдет его под двадцатой ска
малого восточного залива по прямой линии. Два отв
в этих пещерах; клад зарыт в самом даль
каковой клад завещаю ему и отдаю в по
единственному моему наследнику.*

*25 апреля 149
Чез*

– А теперь, – сказал аббат, – прочтите вот это. – И он протянул Дантесу другой листок. Дантес взял его и прочел:

*дучи приглашен к обеду его святейшеством
довольствуясь платою за кардинальскую шапку,
товит мне участь кардиналов Капрафа
объявляю племяннику моему Гвидо Спада,
ыл в месте, ему известном,
пещерах островотые слитки, монеты, кам-
знаю о существовании этого клада,
лионов римских скудо, и что он
лой, если идти отверстия вырыты
нем углу второго отверстия;
лную собственность как*

*8 года
афе Спада».*

Фариа следил за ним пылающим взглядом.

– Теперь, – сказал он, видя, что Дантес дошел до последней строки, – сложите оба куса и судите сами.

Дантес повиновался; из соединенных кусков получилось следующее:

«Сего 25 апреля 1498 года, бу... дучи приглашен к обеду его святейшеством Александром VI и, опасаясь, что он, не... довольствуясь платою за кардинальскую шапку, пожелает стать моим наследником и го... товит мне участь кардиналов Капфа и Бендивольо, умерших от яда... объявляю племяннику моему Гвидо Спада, единственному моему наследнику, что я зар... ыл в месте, ему известном, ибо он посещал его со мною, а именно в... пещерах островка Монте-Кристо, все мои зол... отые слитки, монеты, камни, алмазы и драгоценности, что один я... знаю о существовании этого клада, ценностью до двух мил... лионов римских скудо, и что он найдет его под двадцатой ска... лой, если идти от малого восточного залива по прямой линии. Два отв... ерстия вырыты в этих пещерах: клад зарыт в самом даль... нем углу второго отверстия; каковой клад завещаю ему и отдаю в по... лную собственность как единственному моему наследнику.

*25 апреля 149...8 года.
Чез... аре Спада».*

– Понимаете теперь? – спросил Фариа.

– Это заявление кардинала Спада и завещание, которое так долго искали? – отвечал Эдмон, все еще не вполне убежденный.

– Да, тысячу раз да.

– Кто же восстановил его?

– Я. По уцелевшему отрывку я разгадал остальное, соразмеряя длину строк с шириной бумаги, проникая в скрытый смысл по смыслу видимому, как отыскиваешь путь в подземелье по слабому свету, падающему сверху.

– И что же вы сделали, когда у вас не осталось сомнений?

– Я тотчас же отправился в путь, захватив с собою начатое мною большое сочинение о едином итальянском королевстве; но императорская полиция уже давно следила за мной; в то время Наполеон стремился к разобщению провинций, в противоположность тому, чего он пожелал впоследствии, когда у него родился сын. Спешный отъезд мой, причин которого никто не знал, возбудил подозрение, и в ту минуту, как я садился на корабль в Пьомбино, меня арестовали.

– Теперь, – продолжал Фариа, взглянув на Дантеса с почти отеческой нежностью, – теперь, друг мой, вы знаете столько же, сколько я. Если мы когда-нибудь бежим вместе, то половина моего сокровища принадлежит вам; если я умру здесь и вы спасетесь один, оно принадлежит вам целиком.

– Однако, – возразил Дантес нерешительно, – нет ли у этого клада более законного владельца, чем мы?

– Нет, нет, будьте спокойны, вся семья вымерла; притом последний граф Спада назначил меня своим наследником; завещав мне этот знаменательный молитвенник, он тем самым завещал мне все, что в нем содержалось. Если это богатство достанется нам, мы можем пользоваться им со спокойной совестью.

– И вы говорите, что этот клад оценивается в...

– Два миллиона римских скудо, около тринадцати миллионов на наши деньги.

– Не может быть! – вскричал Дантес, устрешенный огромностью суммы.

– Почему же не может быть? – сказал старик. – Род Спада был один из древнейших и могущественнейших в пятнадцатом веке. Притом же в те времена, когда не было ни крупных денежных сделок, ни промышленности, такие накопления золота и драгоценностей не были редкостью; и теперь еще в Риме есть семьи, которые умирают с голоду, обладая миллионом в алмазах и драгоценных камнях, составляющих наследственный майорат, к которому они не смеют прикоснуться.

Эдмону казалось, что он видит сон; он колебался между неверием и радостью.

– Я долго хранил от вас эту тайну, – продолжал Фариа, – потому, во-первых, что хотел вас испытать, а во-вторых, потому, что хотел изумить вас. Если бы мы бежали до моего припадка, я бы вас повез на Монте-Кристо. Теперь, – прибавил он со вздохом, – вы повезете меня. Что же, Дантес, вы меня не благодарите?

– Это сокровище принадлежит вам, друг мой, – сказал Дантес, – оно принадлежит вам одному, я не имею на него никакого права; я не ваш родственник.

– Вы мой сын, Дантес! – воскликнул старик. – Вы дитя моей неволи! Мой сан обрек меня на безбрачие; бог послал мне вас, чтобы утешить человека, который не мог стать отцом, и узника, который не мог стать свободным.

И Фариа протянул Эдмону здоровую руку; тот со слезами обнял старика.

XIX. Третий припадок

Теперь, когда это сокровище, бывшее столь долгое время предметом размышлений аббата Фариа, могло осчастливить того, кого он полюбил, как родного сына, оно стало вдвое дороже его сердцу; ежедневно он говорил об этом несметном богатстве, рисовал Дантесу, сколько добра в современном мире можно сделать своим друзьям, обладая состоянием в тринадцать-четырнадцать миллионов; тогда лицо Дантеса омрачалось; он вспоминал о страшной клятве, которой он поклялся самому себе, и думал, сколько в современном мире, имея тринадцать или четырнадцать миллионов, можно сделать зла своим врагам.

Аббат не знал острова Монте-Кристо, но Дантес знал его; он часто проходил мимо этого острова, лежащего в двадцати пяти милях от Пианозы, между Корсикой и Эльбой, и как-то раз даже останавливался там. Остров Монте-Кристо всегда был, да и теперь еще остается пустынным и необитаемым; это утес почти конической формы, по-видимому, поднятый из морских глубин на поверхность вулканическим потрясением. Дантес чертил аббату план острова, а Фариа давал Дантесу советы, каким способом отыскать клад.

Но Дантес далеко не был так увлечен, как старый аббат, а главное, не разделял его уверенности. Конечно, теперь он знал, что Фариа отнюдь не сумасшедший, и находчивость, благодаря которой аббат сделал открытие, создавшее ему славу помешанного, только увеличивала восхищение Дантеса; но в то же время ему не верилось, чтобы этот клад, пусть он даже когда-нибудь и был, существовал еще и теперь; если он не считал его вымышленным, то, во всяком случае, считал его исчезнувшим.

Между тем словно судьба хотела лишить узников последней надежды и дать им понять, что они осуждены на вечное заключение, их постигло новое несчастье: наружную галерею, давно угрожавшую обвалом, перестроили; починили фундамент и заложили огромными камнями отверстие, уже наполовину заваленное Дантесом. Не прими он этой предосторожности, которую, как мы помним, ему посоветовал аббат, их постигла бы еще большая беда: их приготовления к побегу были бы обнаружены, и их, несомненно, разлучили бы. Итак, за ними захлопнулась новая дверь, еще более прочная и неумолимая, чем все прежние.

– Вот видите, – с тихой грустью говорил Дантес аббату, – богу угодно, чтобы даже в моей преданности вам не было моей заслуги. Я обещал вам навсегда остаться с вами и теперь поневоле должен сдержать свое слово. Клад не достанется ни мне, ни вам, и мы никогда отсюда не

выйдем. Впрочем, истинный клад, дорогой друг, это не тот, который ждал меня под темными скалами Монте-Кристо; это – ваше присутствие, это наше общение по пять, по шесть часов в день, вопреки нашим тюремщикам, это те лучи знания, которыми вы озарили мой ум, это чужие наречия, которые вы насадили в моей памяти и которые разрастаются в ней всеми своими филологическими разветвлениями; это науки, ставшие для меня такими доступными благодаря глубине ваших познаний и ясности принципов, к которым вы их свели. Вот мое сокровище, дорогой друг, вот чем вы дали мне и богатство и счастье. Поверьте мне и утешьтесь, это больше на благо мне, нежели бочки с золотом и сундуки с алмазами, даже если бы они не были призрачны, как те облака, которые ранним утром носятся над поверхностью моря и кажутся твердою землею, но испаряются и исчезают по мере приближения к ним. Быть подле вас как можно долее, слушать ваш проникновенный голос, просвещать свой ум, закалять душу, готовить себя к свершению великих и грозных деяний, – если мне суждено когда-нибудь вырваться на свободу, навсегда покончить с отчаянием, которому я предавался до знакомства с вами, – вот мое богатство; оно не призрачно; этим подлинным богатством я обязан вам, и все власти мира, будь они Цезарями Борджиа, не отнимут его у меня.

Итак, время потекло для двух несчастных узников если не счастливо, то по крайней мере довольно быстро. Фариа, столько лет молчавший о своем сокровище, теперь не переставал говорить о нем. Как он и предвидел, его правая рука и нога остались парализованными, и он почти потерял надежду самому воспользоваться кладом; но он по-прежнему мечтал, что его младший товарищ будет выпущен из тюрьмы или сумеет бежать, и радовался за него. Опасаясь, как бы записка как-нибудь не затерялась или не пропала, он заставил Дантеса выучить ее наизусть, и Дантес знал ее на память от первого слова до последнего. Тогда он уничтожил вторую половину записки, будучи уверен, что если бы даже нашли первую половину, то смысла ее не разберут. Иногда Фариа по целым часам давал Дантесу наставления, которые могли быть ему полезны впоследствии в случае освобождения; с первого же дня, с первого часа, с первого мгновения свободы Дантесом должна была владеть одна-единственная мысль – во что бы то ни стало добраться до Монте-Кристо, не возбуждая подозрений, остаться там одному под каким-нибудь предлогом, постараться отыскать волшебные пещеры и начать рыть в указанном месте. Указанным местом, как мы помним, был самый отдаленный угол второго отверстия.

Между тем время проходило не то чтобы незаметно, но, во всяком случае, сносно. Фариа, как мы уже говорили, хоть и был разбит параличом, снова обрел прежнюю ясность ума и мало-помалу научил своего молодого товарища, кроме отвлеченных наук, о которых уже шла речь, тому терпеливому и высокому искусству узника, которое состоит в том, чтобы делать что-нибудь из ничего. Они постоянно были чем-нибудь заняты, Фариа – страхась старости, Дантес – чтобы не вспоминать о своем прошлом, почти угасшем и мерцавшем в глубине его памяти лишь как далекий огонек, затерянный в ночи. И жизнь их походила на жизнь людей, устоявших перед несчастьем, которая течет спокойно и размеренно под оком providения.

Но под этим наружным спокойствием в сердце юноши, а быть может, и в сердце старика таились насильно сдерживаемые душевные порывы; быть может, подавленный стон вырывался у них из груди, когда Фариа оставался один и Эдмон возвращался в свою камеру.

Однажды ночью Эдмон внезапно проснулся; ему почудилось, что кто-то зовет его. Напрягая зрение, он пытался проникнуть в ночной мрак.

Он услышал свое имя или, вернее, жалобный голос, силившийся произнести его.

Он приподнялся на кровати и, похолодев от страха, начал прислушиваться. Сомнения не было: стон доносился из подземелья аббата.

– Великий боже! – прошептал Дантес. – Неужели?..

Он отодвинул кровать, вынул камень, бросился в подкоп и пополз до противоположного конца: плита была поднята.

При тусклом свете самодельной плошки, о которой мы уже говорили, Эдмон увидел старика: он был мертвенно бледен и едва стоял на ногах, держась за кровать. Черты его лица были обезображены теми зловещими признаками, которые были уже знакомы Эдмону и которые так испугали его, когда он увидел их в первый раз.

– Вы понимаете, друг мой, – коротко произнес Фариа. – Мне не нужно объяснять вам.

Эдмон застонал и, обезумев от горя, бросился к двери с криком:

– Помогите! Помогите!

У Фариа хватило сил удержать его за руку.

– Молчите! – сказал он. – Не то вы погибли. Будем думать только о вас, мой друг, о том, как бы сделать сносным ваше заключение или возможным ваш побег. Вам потребовались бы годы, чтобы сделать заново все то, что я здесь сделал и что тотчас же будет уничтожено, если наши тюремщики узнают о нашем общении. Притом же не тревожьтесь, друг мой; камера, которую я покидаю, не останется долго пустой; другой несчастный узник заступит мое место. Этому другому вы явитесь, как ангел-избавитель. Он, может быть, будет молод, силен и терпелив, как вы, он сумеет помочь вам бежать, между тем как я только мешал вам. Вы уже не будете прикованы к полутрупу, парализующему все ваши движения. Положительно, бог наконец вспомнил о вас; он дает вам больше, чем отнимает, и мне давно пора умереть.

В ответ Эдмон только сложил руки и воскликнул:

– Друг мой, замолчите, умоляю вас!

Потом, оправившись от внезапного удара и вернув себе твердость духа, которой слова старика лишили его, он воскликнул:

– Я спас вас однажды, спасу и в другой раз!

Он приподнял ножку кровати и достал оттуда склянку, еще на одну треть наполненную красным настоем.

– Смотрите, – сказал он, – вот он – спасительный напиток! Скорей, скорей скажите мне, что надо делать. Дайте мне указания! Говорите, мой друг, я слушаю.

– Надежды нет, – отвечал Фариа, качая головой, – но все равно: богу угодно, чтобы человек, которого он создал и в сердце которого он вложил столь сильную любовь к жизни, делал все возможное для сохранения этого существования, порой столь тягостного, но неизменно столь драгоценного.

– Да, да, – воскликнул Дантес, – я вас спасу!

– Пусть так! Я уже холодею; я чувствую, что кровь приливает к голове; эта дрожь, от которой у меня стучат зубы и ноют кости, охватывает меня всего: через пять минут начнется припадок, через четверть часа я стану трупом.

– Боже! – вскричал Дантес в душевной муке.

– Поступите, как в первый раз, только не ждите так долго. Все мои жизненные силы уже истощены, и смерти, – продолжал он, показывая на свою руку и ногу, разбитые параличом, – остается только половина работы. Влейте мне в рот двенадцать капель этой жидкости вместо десяти и, если вы увидите, что я не прихожу в себя, влейте все остальное. Теперь помогите мне лечь, я больше не могу держаться на ногах.

Эдмон взял старика на руки и уложил на кровать.

– Друг мой, – сказал Фариа, – вы единственная отрада моей загубленной жизни, отрада, которую небо послало мне, хоть и поздно, но все же послало, – я благодарю его за этот неоценимый дар и, расставаясь с вами навеки, желаю вам всего того счастья и благополучия, которых вы достойны. Сын мой, благословляю тебя!

Дантес упал на колени и принял головой к постели старика.

– Но прежде всего выслушайте внимательно, что я вам скажу в эти последние минуты: сокровище кардинала Спада существует. По милости божьей для меня нет больше ни расстояний, ни препятствий. Я вижу его отсюда в глубине второй пещеры; взоры мои проникают

в недра земли и видят ослепительные богатства. Если вам удастся бежать, то помните, что бедный аббат, которого все считали сумасшедшим, был вовсе не безумец. Спешите на Монте-Кристо, овладейте нашим богатством, насладитесь им, вы довольно страдали.

Судорога оборвала речь старика. Дантес поднял голову и увидел, что глаза аббата наливаются кровью. Казалось, кровавая волна хлынула от груди к голове.

– Прощайте! Прощайте! – прошептал старик, схватив Эдмона за руку. – Прощайте!

– Нет! Нет! – воскликнул тот. – Не оставь нас, господи боже мой, спаси его!.. Помогите!.. Помогите!..

– Тише, тише! – пролепетал умирающий. – Молчите, а то нас разлучат, если вы меня спасете!

– Вы правы. Будьте спокойны, я спасу вас! Хотя вы очень страдаете, но, мне кажется, меньше, чем в первый раз.

– Вы ошибаетесь: я меньше страдаю потому, что во мне осталось меньше сил для страдания. В ваши лета верят в жизнь, верить и надеяться – привилегия молодости. Но старость яснее видит смерть. Вот она!.. Подходит!.. Кончено!.. В глазах темнеет!.. Рассудок мутится!.. Вашу руку, Дантес!.. Прощайте!.. Прощайте!..

И, собрав остаток своих сил, он приподнялся в последний раз.

– Монте-Кристо! – произнес он. – Помните – Монте-Кристо!

И упал на кровать.

Припадок был ужасен: сведенные судорогою члены, вздувшиеся веки, кровавая пена, бесчувственное тело – вот что осталось на этом ложе страданий от разумного существа, лежавшего на нем за минуту перед тем.

Дантес взял плоску и поставил ее у изголовья постели на выступивший из стены камень; мерцающий свет бросал причудливый отблеск на искаженное лицо и бездыханное, оцепеневшее тело.

Устремив на него неподвижный взор, Дантес бестрепетно ждал той минуты, когда надо будет применить спасительное средство.

Наконец он взял нож, разжал зубы, которые поддались легче, чем в прошлый раз, отсчитал двенадцать капель и стал ждать; в склянке оставалось еще почти вдвое против того, что он вылил.

Он прождал десять минут, четверть часа, полчаса – Фариа не шевелился. Дрожа всем телом, чувствуя, что волосы у него встали дыбом и лоб покрылся испариной, Дантес считал секунды по биению своего сердца.

Тогда он решил, что настало время испытать последнее средство; он поднес склянку к посиневшим губам аббата и влил в раскрытый рот весь остаток жидкости.

Снадобье произвело гальваническое действие: страшная дрожь потрясла члены старика, глаза его дико раскрылись, он испустил вздох, похожий на крик, потом мало-помалу трепещущее тело снова стало неподвижным.

Только глаза остались открытыми.

Прошло полчаса, час, полтора часа. В продолжение этих мучительных полутора часов Эдмон, склонившись над своим другом и приложив руку к его сердцу, чувствовал, как тело аббата холодеет и биение сердца замирает, становясь все глуше и невнятное.

Наконец все кончилось; сердце дрогнуло в последний раз, лицо посинело; глаза остались открытыми, но взгляд потускнел.

Было шесть часов утра, заря занималась, и бледные лучи солнца, проникая в камеру, боролись с тусклым пламенем плоски. Отблески света скользили по лицу мертвеца, и порой казалось, что оно живое. Пока продолжалась эта борьба света с мраком, Дантес мог еще сомневаться, но, когда победил свет, он понял, что перед ним лежит труп.

Тогда неодолимый ужас овладел им; он не смел пожать эту руку, свесившуюся с постели, не смел взглянуть в эти белые и неподвижные глаза, которые он тщетно пытался закрыть. Он погасил плашку, тщательно спрятал ее и бросился прочь, задвинув как можно лучше плиту над своей головой.

К тому же медлить было нельзя; скоро должен был явиться тюремщик.

На этот раз он начал обход с Дантеса; от него он намеревался идти к аббату, которому нес завтрак и белье.

Впрочем, ничто не указывало, чтобы он знал о случившемся. Он вышел.

Тогда Дантес почувствовал непреодолимое желание узнать, что произойдет в камере его бедного друга; он снова вошел в подземный ход и услышал возгласы тюремщика, звавшего на помощь.

Вскоре пришли другие тюремщики; потом слышались тяжелые и мерные шаги, какими ходят солдаты, даже когда они не в строю. Вслед за солдатами вошел комендант.

Эдмон слышал скрип кровати, на которой переворачивали тело. Он слышал, как комендант велел sprysнуть водой лицо мертвеца и, видя, что узник не приходит в себя, послал за врачом.

Комендант вышел, и до Эдмона донеслись слова сожаления вместе с насмешками и хохотом.

– Ну, вот, – говорил один, – сумасшедший отправился к своим сокровищам, счастливого пути!

– Ему не на что будет при всех своих миллионах купить саван, – говорил другой.

– Саваны в замке Иф стоят недорого, – возразил третий.

– Может быть, ради него пойдут на кое-какие издержки – все-таки духовное лицо.

– В таком случае его удостоят мешка.

Эдмон слушал, не пропуская ни слова, но понял из всего этого немного. Вскоре голоса умолкли, и ему показалось, что все вышли из камеры.

Однако он не осмелился войти – там могли оставить тюремщика караулить мертвое тело.

Поэтому он остался на месте и продолжал слушать, не шевелясь и затаив дыхание.

Через час снова слышался шум.

В камеру возвратился комендант в сопровождении врача и нескольких офицеров.

На минуту все смолкло. Очевидно, врач подошел к постели и осматривал труп.

Потом начались расспросы.

Врач, освидетельствовав узника, объявил, что он мертв.

В вопросах и ответах звучала небрежность, возмущившая Дантеса. Ему казалось, что все должны чувствовать к бедному аббату хоть долю той сердечной привязанности, которую он сам питал к нему.

– Я очень огорчен, – сказал комендант в ответ на заявление врача, что старик умер, – это был кроткий и безобидный арестант, который всех забавлял своим сумасшествием, а главное, за ним легко было присматривать.

– За ним и вовсе не нужно было смотреть, – вставил тюремщик. – Он просидел бы здесь пятьдесят лет и, ручаюсь вам, ни разу не попытался бы бежать.

– Однако, – сказал комендант, – мне кажется, что, несмотря на ваше заверение, – не потому, чтобы я сомневался в ваших познаниях, но для того, чтобы не быть в ответе, – нужно удостовериться, что арестант в самом деле умер.

Наступила полная тишина; Дантес, прислушиваясь, решил, что врач еще раз осматривает и ощупывает тело.

– Вы можете быть спокойны, – сказал наконец доктор, – он умер, ручаюсь вам за это.

– Но вы знаете, – возразил комендант, – что в подобных случаях мы не довольствуемся одним осмотром; поэтому, несмотря на видимые признаки, благоволите исполнить формальности, предписанные законом.

– Ну, что же, раскалите железо, – сказал врач, – но, право же, это излишняя предосторожность.

При этих словах о раскаленном железе Дантес вздрогнул.

Послышались торопливые шаги, скрип двери, снова шаги, и через несколько минут тюремщик сказал:

– Вот жаровня и железо.

Снова наступила тишина; потом послышался треск прижигаемого тела и тяжелый, отвратительный запах проник даже сквозь стену, за которой притаился Дантес. Почувствовав запах горелого человеческого мяса, Эдмон весь покрылся холодным потом, и ему показалось, что он сейчас потеряет сознание.

– Теперь вы видите, что он мертв, – сказал врач. – Прижигание пятки – самое убедительное доказательство. Бедный сумасшедший излечился от помешательства и вышел из темницы.

– Его звали Фариа? – спросил один из офицеров, сопровождавших коменданта.

– Да, и он уверял, что это старинный род. Впрочем, это был человек весьма ученый и довольно разумный во всем, что не касалось его сокровища. Но в этом пункте, надо сознаться, он был несносен.

– Это болезнь, которую мы называем мономанией, – сказал врач.

– Вам никогда не приходилось жаловаться на него? – спросил комендант у тюремщика, который носил аббату пищу.

– Никогда, господин комендант, – отвечал тюремщик, – решительно никогда; напротив того, сперва он очень веселил меня, рассказывал разные истории; а когда жена моя заболела, он даже прописал ей лекарство и вылечил ее.

– Вот как! – сказал врач. – Я и не знал, что имею дело с коллегой. Надеюсь, господин комендант, – прибавил он смеясь, – что вы обойдетесь с ним поучтивее.

– Да-да, будьте спокойны, он будет честь честью зашит в самый новый мешок, какой только найдется. Вы удовлетворены?

– Прикажете сделать это при вас, господин комендант? – спросил тюремщик.

– Разумеется. Но только поскорее, не торчать же мне целый день в этой камере.

Снова началась ходьба взад и вперед; вскоре Дантес услышал шуршание холстины, кровать заскрипела, послышались грузные шаги человека, поднимающего тяжесть, потом кровать опять затрещала.

– До вечера, – сказал комендант.

– Отпевание будет? – спросил один из офицеров.

– Это невозможно, – отвечал комендант. – Тюремный священник отпросился у меня вчера на неделю в Гьер. Я на это время поручился ему за своих арестантов. Если бы бедный аббат не так спешил, то его отпели бы, как следует.

– Не беда, – сказал врач со свойственным людям его звания вольнодумством, – он особа духовная; господь бог уважит его сан и не доставит аду удовольствие заполучить священника.

Громкий хохот последовал за этой пошлой шуткой.

Тем временем тело укладывали в мешок.

– До вечера! – повторил комендант, когда все кончилось.

– В котором часу? – спросил тюремщик.

– Часов в десять, в одиннадцать.

– Оставить караульного у тела?

– Зачем? Заприте его, как живого, вот и все.

Затем шаги удалились, голоса стали глуше, слышался резкий скрип замыкаемой двери и скрежет засовов; угрюмая тишина, тишина уже не одиночества, а смерти, объяла все, вплоть до оледеневшей души Эдмона.

Тогда он медленно приподнял плиту головой и бросил в камеру испытующий взгляд. Она была пуста. Дантес вышел из подземного хода.

XX. Кладбище замка Иф

На кровати, в тусклом свете туманного утра, проникавшем в окошко тюрьмы, лежал мешок из грубой холстины, под складками которого смутно угадывались очертания длинного, неподвижного тела: это и был саван аббата, который, по словам тюремщиков, так дешево стоил.

Итак, все было кончено. Дантес физически был уже разлучен со своим старым другом. Он уже не мог ни видеть его глаза, оставшиеся открытыми, словно для того, чтобы глядеть по ту сторону смерти, ни пожать его неутомимую руку, которая приподняла перед ним завесу, скрывавшую тайны мира. Фариа, отзывчивый, опытный товарищ, к которому он так сильно привязался, существовал только в его воспоминаниях. Тогда он сел у изголовья страшного ложа и предался горькой, безутешной скорби.

Один! Снова один! Снова окружен безмолвием, снова лицом к лицу с небытием!

Один! Уже не видеть, не слышать единственного человека, который привязывал его к жизни! Не лучше ли, подобно Фариа, спросить у бога разгадку жизни, хотя бы для этого пришлось пройти через страшную дверь страданий?

Мысль о самоубийстве, изгнанная другом, отстраняемая его присутствием, снова возникла, точно призрак, у тела Фариа.

– Если бы я мог умереть, – сказал он, – я последовал бы за ним и, конечно, увидел бы его. Но как умереть? Ничего нет легче, – продолжал он, усмехнувшись. – Я останусь здесь, брошусь на первого, кто войдет, задушу его, и меня казнят.

Но в сильных горестях, как и при сильных бурях, пропасть лежит между двумя гребнями волн; Дантес ужаснулся позорной смерти и вдруг перешел от отчаяния к неутолимой жажде жизни и свободы.

– Умереть? Нет! – воскликнул он. – Не стоило столько жить, столько страдать, чтобы теперь умереть! Умереть! Я мог бы это сделать прежде, много лет тому назад, когда я решился; но теперь я не желаю играть в руку моей злосчастной судьбе. Нет, я хочу жить; хочу бороться до конца; хочу отвоевать счастье, которое у меня отняли! Прежде чем умереть, я должен наказать моих палачей и, может быть, – кто знает? – наградить немногих друзей. Но меня забыли здесь, в моей тюрьме, и я выйду только так, как Фариа.

При этих словах он замер, глядя прямо перед собой, как человек, которого осенила внезапная мысль, но мысль страшная. Он вскочил, прижал руку ко лбу, словно у него закружилась голова, прошелся по камере и снова остановился у кровати.

– Кто внушил мне эту мысль? – прошептал он. – Не ты ли, господи? Если только мертвецы выходят отсюда, – зайдем место мертвеца.

И, стараясь не думать, торопливо, чтобы размышление не успело помешать безрассудству отчаяния, он наклонился, распорол страшный мешок ножом аббата, вытащил труп из мешка, перенес его в свою камеру, положил на свою кровать, обернул ему голову тряпкой, которой имел обыкновение повязываться, накрыл его своим одеялом, поцеловал последний раз холодное чело, попытался закрыть упрямые глаза, которые по-прежнему глядели страшным, бездумным взглядом, повернул мертвеца лицом к стене, чтобы тюремщик, когда принесет ужин, подумал, что узник лег спать; потом спустился в подземный ход, придвинул кровать к стене, вернулся в камеру аббата, достал из тайника иголку с ниткой, снял с себя свое рубище, чтобы

под холстиною чувствовалось голое тело, влез в распоротый мешок, принял в нем то же положение, в каком находился труп, и заделал шов изнутри.

Если бы на беду в эту минуту кто-нибудь вошел, стук сердца выдал бы Дантеса.

Он мог бы подождать и сделать все это после вечернего обхода. Но он боялся, как бы комендант не передумал и не велел вынести труп раньше назначенного часа. Тогда рухнула бы его последняя надежда.

Так или иначе – решение было принято.

План его был таков.

Если по пути на кладбище могильщики догадаются, что они несут живого человека, Дантес, не давая им опомниться, сильным ударом ножа распорет мешок сверху донизу, воспользуется их смятением и убежит. Если они захотят схватить его, он пустит в дело нож.

Если они отнесут его на кладбище и опустят в могилу, то он даст засыпать себя землей; так как это будет происходить ночью, то, едва могильщики уйдут, он разгребет рыхлую землю и убежит. Он надеялся, что тяжесть земли будет не настолько велика, чтобы он не мог поднять ее. Если же окажется, что он ошибся, если земля будет слишком тяжела, то он задохнется, и тем лучше: все будет кончено.

Дантес не ел со вчерашнего дня, но утром он не чувствовал голода, да и теперь не думал о нем. Положение его было так опасно, что он не имел времени сосредоточиться ни на чем другом.

Первая опасность, которая грозила Дантесу, заключалась в том, что тюремщик, войдя с ужином в семь часов вечера, заметит подмену. К счастью, уже много раз, то от тоски, то от усталости, Дантес дожидался ужина лежа; в таких случаях тюремщик обыкновенно ставил суп и хлеб на стол и уходил, не говоря ни слова.

Но на этот раз тюремщик мог изменить своей привычке, заговорить с Дантесом и, видя, что Дантес не отвечает, подойти к постели и обнаружить обман.

Чем ближе к семи часам, тем сильнее становился страх Дантеса. Прижав руку к сердцу, он старался умирить его биение, а другой рукой вытирал пот, ручьями струившийся по лицу. Иногда дрожь пробегала по его телу, и сердце сжималось, как в ледяных тисках. Ему казалось, что он умирает. Но время шло, в замке было тихо, и Дантес понял, что первая опасность миновала. Это было хорошим предзнаменованием. Наконец в назначенный комендантом час на лестнице послышались шаги. Эдмон понял, что долгожданный миг настал; он собрал все свое мужество и затаил дыхание; он горько сожалел, что не может, подобно дыханию, удержать стремительное биение своего сердца.

Шаги остановились у дверей. Дантес различил двойной топот ног и понял, что за ним пришли два могильщика. Эта догадка превратилась в уверенность, когда он услышал стук поставленных на пол носилок.

Дверь отворилась, сквозь покрывавшую его холстину Дантес различил две тени, подошедшие к его кровати. Третья остановилась у дверей, держа в руках фонарь. Могильщики взялись за мешок, каждый за свой конец.

– Такой худой старичишка, а не легонький, – сказал один из них, поднимая Дантеса за голову.

– Говорят, что каждый год в костях прибавляется полфунта весу, – сказал другой, беря его за ноги.

– Узел приготовил? – спросил первый.

– Зачем нам тащить лишнюю тяжесть? – отвечал второй. – Там сделаю.

– И то правда; ну, идем.

«Что это за узел?» – подумал Дантес.

Мнимого мертвеца сняли с кровати и понесли к носилкам. Эдмон напрягал мышцы, чтобы больше походить на окоченевшее тело. Его положили на носилки, и шествие, освещаемое сторожем с фонарем, двинулось по лестнице.

Вдруг свежий и терпкий ночной воздух обдал Дантеса; он узнал мистраль. Это внезапное ощущение было исполнено наслаждения и мучительной тревоги.

Носильщики прошли шагов двадцать, потом остановились и поставили носилки на землю.

Один из них отошел в сторону, и Дантес услышал стук его башмаков по плитам.

«Где я?» – подумал он.

– А знаешь, он что-то больно тяжел, – сказал могильщик, оставшийся подле Дантеса, садясь на край носилок.

Первой мыслью Дантеса было высвободиться из мешка, но, к счастью, он удержался.

– Да посвети же мне, болван, – сказал носильщик, отошедший в сторону, – иначе я никогда не найду, что мне нужно.

Человек с фонарем повиновался, хотя приказание было выражено довольно грубо.

«Что это он ищет? – подумал Дантес. – Заступ, должно быть».

Радостное восклицание возвестило, что могильщик нашел то, что искал.

– Наконец, – сказал второй, – насилу-то.

– Что ж, – отвечал первый, – ему спешить некуда.

При этих словах он подошел к Эдмону и положил подле него какой-то тяжелый и гулкий предмет. В ту же минуту ему больно стянули ноги веревкой.

– Ну что, привязал? – спросил второй могильщик.

– В лучшем виде! – отвечал другой. – Без ошибки.

– Ну так – марш!

И, подняв носилки, они двинулись дальше.

Прошли шагов пятьдесят, потом остановились, отперли какие-то ворота и опять пошли дальше. Шум волн, разбивающихся о скалы, на которых высился замок, все отчетливее долетал до слуха Дантеса, по мере того как носильщики подвигались вперед.

– А погода плохая! – сказал один из носильщиков. – Худо быть в море в такую ночь!

– Да! Как бы аббат не подмок, – сказал другой.

И оба громко захохотали.

Дантес не понял шутки, но волосы у него встали дыбом.

– Вот и пришли, – сказал первый.

– Дальше, дальше, – возразил другой, – забыл, как в прошлый раз он не долетел до места и разбился о камни, и еще комендант назвал нас на другой день лодырями.

Они прошли еще пять или шесть шагов, поднимаясь все выше; потом Дантес почувствовал, что его берут за голову, за ноги и раскачивают.

– Раз! – сказал могильщик.

– Два!

– Три!

В ту же секунду Дантес почувствовал, что его бросают в неизмеримую пустоту, что он рассекает воздух, как раненая птица, и падает, падает в ледящем сердце ужасе. Хотя что-то тяжелое влекло его книзу, ускоряя быстроту его полета, ему казалось, что он падает целую вечность. Наконец с оглушительным шумом он вонзился, как стрела, в ледяную воду и испустил было крик, но тотчас же захлебнулся.

Дантес был брошен в море, и тридцатишестифунтовое ядро, привязанное к ногам, тянуло его на дно.

Море – кладбище замка Иф.

XXI. Остров Тибулен

Дантес, оглушенный, почти задохшийся, все же догадался сдержать дыхание; и так как он в правой руке держал нож наготове, то он быстро вспорол мешок, высунул руку, потом голову; но, несмотря на все его усилия приподнять ядро, оно продолжало тянуть его ко дну; тогда он согнулся, нащупал веревку, которой были связаны его ноги, и, сделав последнее усилие, перерезал ее в тот самый миг, когда начинал уже задыхаться; оттолкнувшись ногами, он вынырнул на поверхность, между тем как ядро увлекало в морскую пучину грубый холст, едва не ставший его саваном.

Дантес только один раз перевел дыхание и снова нырнул, ибо больше всего боялся, как бы его не заметили.

Когда он вторично вынырнул, он был уже по меньшей мере в пятидесяти шагах от места падения; он увидел над головой черное грозное небо, по которому быстро неслись облака, открывая иногда небольшой уголок лазури с мерцающей звездой; перед ним расстилась мрачная и бурная ширь, на которой, предвещая грозу, начинали закипать волны, а позади, чернее моря, чернее неба, подобно грозному призраку, высилась гранитная громада, и ее темный шпиль казался рукой, протянутой за ускользнувшей добычей; на самом высоком утесе мигал свет фонаря, освещая две тени.

Дантесу казалось, что обе тени с беспокойством наклоняются к морю. Эти своеобразные могильщики, вероятно, слышали его крик при падении. Поэтому Дантес снова нырнул и поплыл под водой. Этот прием был ему некогда хорошо знаком и собирал вокруг него, в бухте Фаро, многочисленных поклонников, не раз провозглашавших его самым искусным пловцом в Марселе.

Когда он вынырнул на поверхность, фонарь исчез. Он начал осматриваться. Из островов, окружающих замок Иф, Ратонно и Помег – ближайшие; но Ратонно и Помег населены, населен и маленький остров Дом, а потому самыми надежными были острова Тибулен и Лемер; оба они расположены в миле от замка Иф.

Дантес тем не менее решил доплыть до одного из этих островов. Но как найти их во мраке ночи, который с каждым мгновением становится все непрогляднее?

В эту минуту он увидел сиявший, подобно звезде, маяк Планье.

Держа прямо на маяк, он оставлял остров Тибулен немного влево. Следовательно, взяв немного левее, он должен был встретить этот остров на своем пути.

Но мы уже сказали, что от замка Иф до этого острова по крайней мере целая миля.

Не раз в тюрьме Фариа говорил Эдмону, видя, что он предается унынию и лени: «Дантес, опасайтесь бездействия, вы утонете, пытаетесь спастись, если не будете упражнять свои силы».

Теперь, чувствуя на себе смертоносную тяжесть воды, Дантес вспомнил совет старика; он поспешил вынырнуть и начал рассекал волны, чтобы проверить, не утратил ли он былую силу; он с радостью убедился, что вынужденное бездействие несколько не убавило его выносливости и ловкости, и почувствовал, что по-прежнему владеет стихией, к которой привык с младенчества.

К тому же страх, этот неотступный гонитель, удваивал силы Дантеса. Рассекая волну, он прислушивался, не раздастся ли подозрительный шум. Всякий раз, как его поднимало на гребень, он быстрым взглядом окидывал горизонт, пытаясь проникнуть в густой мрак. Каждая волна, вздымавшаяся выше других, казалась ему лодкой, высланной в погоню за ним, и тогда он плыл быстрее, что, конечно, сокращало его путь, но вместе с тем истощало его силы.

Но он плыл и плыл, и грозный замок мало-помалу сливался с ночным туманом. Он уже не различал его, но все еще чувствовал.

Так прошел целый час, в продолжение которого Дантес, воодушевленный живительным чувством свободы, продолжал рассекать волны в принятом им направлении.

«Скоро час, как я плыву, – говорил он себе, – но ветер противный, и я, должно быть, потерял четверть моей скорости. Все же если я не сбился с пути, то, вероятно, я уже недалеко от Тибулена. Но что, если я сбился!»

Дрожь пробежала по телу пловца. Он хотел для отдыха лечь на спину; но море становилось все более бурным, и он скоро понял, что передышка, на которую он надеялся, невозможна.

– Ну, что ж, – сказал он, – буду плыть, пока можно, пока руки не устанут, пока меня не сведет судорога, а там пойду ко дну!

И он поплыл дальше с силою и упорством отчаяния.

Вдруг ему показалось, что небо, и без того уже черное, еще более темнеет, что густая, тяжелая, плотная туча нависает над ним; в ту же минуту он почувствовал сильную боль в колене. Воображение мгновенно подсказало ему, что это удар пули и что он сейчас услышит звук выстрела; но выстрела не было. Дантес протянул руку и нащупал что-то твердое. Он подогнул ноги и коснулся земли. Тогда он понял, что он принял за тучу.

В двадцати шагах от него возвышалась грома причудливых утесов, похожая на огромный костер, окаменевший внезапно, в минуту самого яркого горения. То был остров Тибулен. Дантес встал, сделал несколько шагов и, возблагодарив бога, растянулся на гранитных скалах, показавшихся ему в эту минуту мягче самой мягкой постели.

Потом, невзирая на ветер, на бурю, на начавшийся дождь, он заснул сладостным сном человека, у которого тело цепенеет, но душа бодрствует в сознании нежданного счастья.

Через час оглушительный раскат грома разбудил Эдмона. Буря разбушевалась и в своем стремительном полете била крыльями по морю и по небу. Молния сверкала, как огненная змея, освещая волны и тучи, которые катились, перегоняя друг друга, словно валы беспредельного хаоса.

Опытный глаз моряка не ошибся. Дантес пристал к первому из двух островов – это и был остров Тибулен. Дантес знал, что это голый утес, открытый со всех сторон, не представляющий ни малейшего убежища. Но он предполагал, когда буря утихнет, опять броситься в море и достигнуть вплавь острова Лемер, такого же дикого, но более просторного и, следовательно, более гостеприимного.

Нависшая скала доставила Дантесу временный приют; он спрятался под нее, и почти в ту же минуту буря разразилась во всем неистовстве.

Эдмон чувствовал, как сотрясается скала, под которой он укрылся. Брызги волн, разбиравшихся о подножие этой огромной глыбы, долетали до него. Хотя он и был в безопасности, но от страшного гула, от ослепительных вспышек у него закружилась голова; ему казалось, что остров дрожит под ним и вот-вот, словно корабль, сорвется с якоря и унесет его в этот чудовищный водоворот.

Тут он вспомнил, что уже сутки не ел; его мучил голод, томила жажда. Дантес вытянул руки и голову и напился дождевой воды из выемки в скале.

В ту минуту, как он поднимал голову, молния, которая, казалось, расколола небо до самого подножия божьего престола, озарила пространство; в блеске этой молнии между островом Лемер и мысом Круавиль, в четверти мили от Дантеса, словно призрак, возникло маленькое рыболовное судно, уносимое ветром и волнами. Через секунду этот призрак, приближаясь со страшной быстротой, появился на гребне другой волны. Дантес хотел крикнуть, хотел найти какой-нибудь лоскут, чтобы подать им сигнал, что они идут навстречу гибели, но они сами это знали; при блеске новой молнии Эдмон увидел четырех людей, ухватившихся за мачты и штаги, пятый стоял у разбитого руля. Эти люди, вероятно, тоже увидели его, потому что отчаянные крики, заглушаемые свистом ветра, долетели до его ушей. Над мачтою, гнувшейся, как тростник, хлопал изодранный в клочья парус; вдруг снасти, на которых он еще держался,

лопнули, ветер подхватил его, и он исчез в темных глубинах неба, подобно огромной белой птице, мелькнувшей в черных облаках.

В тот же миг раздался оглушительный треск; Дантес слышал крики тонущих. Прижавшись, подобно сфинксу, к своему утесу, Дантес смотрел в морскую бездну и при новой вспышке молнии увидел разбитое суденышко и между обломками отчаянные лица и руки, простертые к небу.

Потом все исчезло во мраке ночи; страшное видение продолжалось не дольше вспышки молнии.

Дантес бросился вниз по скользким скалам, ежеминутно рискуя свалиться в море. Он смотрел, прислушивался, но ничего не было ни слышно, ни видно: ни криков, ни людей; одна только буря продолжала реветь вместе с ветром и пениться вместе с волнами.

Мало-помалу ветер улегся; по небу гнало к западу большие серые тучи, словно полинявшие от грозы; снова проступила лазурь с еще более яркими звездами. Вскоре на востоке широкая красноватая полоса прочертила черно-синий горизонт; волны, вздымаясь, вспыхнули внезапным светом, их пенистые гребни превратились в золотые гривы.

Занялся день.

Дантес неподвижно и безмолвно глядел на это величественное зрелище, словно видел его впервые; и в самом деле, за то время, что он пробыл в замке Иф, он успел забыть, как восходит солнце. Он оборотился к крепости и долгим взглядом окинул землю и море.

Мрачное здание – страж и властелин – вставало из волн в грозном величии.

Было часов пять утра; море постепенно утихало.

«Через два-три часа, – сказал себе Эдмон, – тюремщик войдет в мою камеру, обнаружит труп моего бедного друга, опознает его, будет тщетно меня искать и поднимет тревогу; тогда найдут отверстие, подземный ход; спросят людей, которые бросили меня в море и, наверное, слышали мой крик. Тотчас же лодки с вооруженными солдатами пустятся в погоню за несчастным беглецом, который, очевидно, не мог уйти далеко. Пушечные выстрелы возвестят всему побережью, что нельзя давать убежище голодному и раздетому бродяге. Марсельская полиция будет уведомлена и оцепит берег, между тем как комендант замка Иф начнет обшаривать море. Что тогда? Окруженный на воде, затравленный на суше, куда я денусь? Я голоден, озяб, я даже бросил спасительный нож, потому что он мешал мне плыть; я во власти первого встречного, который захочет заработать двадцать франков, выдав меня. У меня нет больше ни сил, ни мыслей, ни решимости! Боже! Боже! Ты видишь мои страдания, помоги мне, ибо сам я не в силах помочь себе!»

В ту минуту, как Эдмон в полубреду от истощения, потеряв способность мыслить, шептал эту пламенную молитву, со страхом оглядываясь на замок Иф, он увидел близ оконечности острова Помег маленькое судно, подобно чайке летящее над самой водой; только глаз моряка мог распознать в этом судне на еще полутемной полосе моря генуэзскую тартану. Она шла из марсельского порта в открытое море, и сверкающая пена расступалась перед узким носом, давая дорогу ее округлым бокам.

– Через полчаса, – вскричал Эдмон, – я мог бы настигнуть это судно, если бы не опасался, что меня начнут расспрашивать, догадаются, кто я, и доставят обратно в Марсель! Что делать? Что им сказать? Какую басню выдумать, чтобы обмануть их? Эти люди – контрабандисты, полупираты. Под видом торговли они занимаются разбоем и скорее продадут меня, чем решатся на бескорыстное, доброе дело.

Подождем...

Но ждать невозможно; я умираю с голоду, через несколько часов последние силы покинут меня; к тому же близится час обхода; тревоги еще не подняли, быть может, меня и не заподозрят; я могу выдать себя за матроса с этого суденышка, разбившегося ночью; это будет правдоподобно, опровергнуть меня некому, они все утонули. Итак, вперед!..

Дантес поглядел в ту сторону, где разбилось маленькое судно, и вздрогнул. На утесе, зацепившись за выступ, висел фригийский колпак одного из утонувших матросов, а поблизости плавали обломки, тяжелые бревна, которые качались на волнах, ударяясь о подножие острова, словно бессильные тараны.

Дантес отбросил последние сомнения; он вплавь добрался до колпака, надел его на голову, схватил одно из бревен и поплыл наперерез тартане.

– Теперь я спасен, – прошептал он.

Эта уверенность возвратила ему силы.

Вскоре он увидел тартану, которая, идя почти против ветра, лавировала между замком Иф и башней Кланье. Одно время Дантес опасался, что, вместо того чтобы держаться берега, тартана уйдет в открытое море, как она должна бы сделать, держи она курс на Корсику или Сардинию; но вскоре по ее ходу он убедился, что она готовится пройти, как то обыкновенно делают суда, идущие в Италию, между островами Жарос и Каласарень.

Между тем тартана и пловец неприметно приближались друг к другу; при одном своем галсе она даже очутилась в какой-нибудь четверти мили от Дантеса. Он приподнялся и замахал колпаком, подавая сигнал бедствия; но никто не заметил его; тартана переложила руль и легла на ровный галс. Дантес хотел крикнуть, но, измерив глазом расстояние, понял, что голос его, относимый ветром и заглушаемый шумом волн, не долетит до тартаны.

Тогда он понял, какое для него счастье, что он прихватил бревно. Он был так истощен, что едва ли продержался бы на воде без него до встречи с тартаной, а если бы тартана, что весьма легко могло случиться, прошла мимо, не заметив его, то он уж наверняка не добрался бы до берега.

Хотя Дантес был почти уверен в направлении, которого держалась тартана, он все же не без тревоги следил за нею, пока не увидел, что она опять повернула и идет к нему.

Он поплыл к ней навстречу, но, прежде чем они сошлись, тартана начала ложиться на другой галс.

Тогда Дантес, собрав все свои силы, поднялся над водой почти во весь рост и, махая колпаком, закричал тем жалобным криком утопающих, который звучит словно вопль морского духа.

На этот раз его увидели и слышали. Тартана переменила курс и повернула в его сторону; в то же время он увидел, что готовятся спустить шлюпку. Минуту спустя шлюпка с двумя гребцами направилась к нему. Тогда Дантес выпустил бревно из рук, полагая, что в нем больше нет надобности, и быстро поплыл навстречу гребцам, чтобы сократить им путь. Но пловец не рассчитал своих истощенных сил; он горько пожалел, что расстался с куском дерева, который уже лениво качался на волнах в ста шагах от него. Руки его немели, ноги потеряли гибкость, движения стали угловаты и порывисты, дыхание спирало в груди.

Он закричал во второй раз; гребцы удвоили усилия, и один из них крикнул ему по-итальянски:

– Держись!

Это слово долетело до него в тот самый миг, когда волна, на которую он уже не имел сил подняться, захлестнула его и покрыла пеной. Он еще раз вынырнул, барахтаясь в воде бессильно и отчаянно, в третий раз вскрикнул и почувствовал, что погружается в море, словно к его ногам все еще привязано тяжелое ядро.

Вода покрыла его, и сквозь нее он увидел бледное небо с черными пятнами.

Он сделал еще одно нечеловеческое усилие и еще раз всплыл на поверхность. Ему показалось, что его хватают за волосы; потом он ничего уже не видел, ничего не слышал; сознание покинуло его.

Очнувшись и открыв глаза, Дантес увидел себя на палубе тартаны, продолжавшей путь. Первым движением его было взглянуть, по какому направлению она идет; она удалялась от замка Иф.

Дантес был так слаб, что его радостный возглас прозвучал как стон.

Итак, Дантес лежал на палубе; один из матросов растирал его шерстяным одеялом; другой, в котором он узнал того, кто крикнул: «Держись!» – совал ему в рот горлышко фляги; третий, старый моряк, бывший в одно и то же время и шкипером и судовладельцем, смотрел на него с эгоистическим сочувствием, обыкновенно испытываемым людьми при виде несчастья, которое вчера миновало их, но может постигнуть завтра.

Несколько капель рому из фляги подкрепили Дантеса, а растирание, которое усердно совершал стоявший возле него на коленях матрос, вернуло гибкость его онемевшим членам.

– Кто вы такой? – спросил на ломаном французском языке хозяин тартаны.

– Я мальтийский матрос, – отвечал Дантес на ломаном итальянском, – мы шли из Сиракуз с грузом вина и полотна. Вчерашняя буря застигла нас у мыса Моржион, и мы разбились вон о те утесы.

– Откуда вы приплыли?

– Мне удалось ухватиться за утес, а наш бедный капитан разбил себе голову. Остальные трое утонули. Должно быть, я один остался в живых; я увидел вашу тартану и, боясь долго оставаться на этом пустом и необитаемом острове, решил доплыть до вас на обломке нашего судна. Благодарю вас, – продолжал Дантес, – вы спасли мне жизнь; я уже тонул, когда один из ваших матросов схватил меня за волосы.

– Это я, – сказал матрос с открытым и приветливым лицом, обрамленным черными бакенбардами, – и пора было: вы шли ко дну.

– Да, – сказал Дантес, протягивая ему руку, – да, друг мой, еще раз благодарю вас.

– Признаюсь, меня было взяло сомнение, – продолжал матрос, – вы так обросли волосами, что я принял вас за разбойника.

Дантес вспомнил, что за все время своего заточения в замке Иф он ни разу не стриг волос и не брил бороды.

– Да, – сказал он, – в минуту опасности я дал обет божией матери дель Пье де ла Гротта десять лет не стричь волос и не брить бороды. Сегодня истекает срок моему обету, и я чуть не утонул в самую годовщину.

– А теперь что нам с вами делать? – спросил хозяин.

– Увы! – сказал Дантес. – Что вам будет угодно; фелука, на которой я плавал, погибла, капитан утонул. Как видите, я уцелел, но остался в чем мать родила. К счастью, я неплохой моряк; посадите меня в первом порту, куда вы зайдете, и я найду работу на любом торговом корабле.

– Вы знаете Средиземное море?

– Я плаваю здесь с детства.

– Вы знаете хорошие стоянки?

– Не много найдется портов, даже самых трудных, где я не мог бы войти и выйти с закрытыми глазами.

– Ну, что ж, хозяин, – сказал матрос, крикнувший Дантесу «держись!», – если товарищ говорит правду, отчего бы ему не остаться с нами?

– Да, если он говорит правду, – отвечал хозяин с оттенком недоверия. – Но в таком положении, как этот бедняга, обещаешь много, а исполняешь, что можешь.

– Я исполню больше, чем обещал, – сказал Дантес.

– Ого! – сказал хозяин, смеясь. – Посмотрим.

– Когда вам будет угодно, – отвечал Дантес, вставая. – Вы куда идете?

– В Ливорно.

– В таком случае, вместо того чтобы лавировать и терять драгоценное время, почему бы вам просто не пойти по ветру?

– Потому что тогда мы упремся в Рион.

– Нет, вы оставите его метрах в сорока.

– Ну-тко, возьмитесь за руль, – сказал хозяин, – посмотрим, как вы справитесь.

Эдмон сел у румпеля, легким нажимом проверил, хорошо ли судно слушается руля, и, видя, что, не будучи особенно чутким, оно все же повинует, скомандовал:

– На брасы и булиня!

Четверо матросов, составлявших экипаж, бросились по местам, между тем как хозяин следил за ними.

– Выбирай брасы втугую! Булиня прихватить! – продолжал Дантес.

Матросы исполнили команду довольно проворно.

– А теперь завернуть!

Эта команда была выполнена, как и обе предыдущие, и тартана, уже не лавируя больше, двинулась к острову Рион, мимо которого и прошла, как предсказывал Дантес, оставив его справа метрах в сорока.

– Bravo! – сказал хозяин.

– Bravo! – повторили матросы.

И все с удивлением смотрели на этого человека, в чьем взгляде пробудился ум, а в теле – сила, которых они в нем и не подозревали.

– Вот видите, – сказал Дантес, оставляя руль, – я вам пригожусь хотя бы на время рейса. Если в Ливорно я вам больше не потребуюсь, оставьте меня там, а я из первого жалованья заплачу вам за пищу и платье, которое вы мне дадите.

– Хорошо, – сказал хозяин. – Мы уж как-нибудь поладим, если вы не запросите лишнего.

– Один матрос стоит другого, – сказал Дантес. – Что вы платите товарищам, то заплатите и мне.

– Это несправедливо, – сказал матрос, вытащивший Дантеса из воды, – вы знаете больше нас.

– А тебе какое дело, Джакопо? – сказал хозяин. – Каждый волен наниматься за такую плату, за какую ему угодно.

– И то правда, – сказал Джакопо, – я просто так сказал.

– Ты бы лучше ссудил его штанами и курткой, если только у тебя найдутся лишние.

– Лишней куртки у меня нет, – отвечал Джакопо, – но есть рубашка и штаны.

– Это все, что мне надо, – сказал Дантес. – Спасибо, друг.

Джакопо спустился в люк и через минуту возвратился, неся одежду, которую Дантес натянул на себя с неизъяснимым блаженством.

– Не нужно ли вам чего-нибудь еще? – спросил хозяин.

– Кусок хлеба и еще глоток вашего чудесного рома, который я уже пробовал; я давно ничего не ел.

В самом деле он не ел почти двое суток. Дантесу принесли ломоть хлеба, а Джакопо подал ему флягу.

– Лево руля! – крикнул капитан рулевому.

Дантес поднес было флягу к губам, но его рука остановилась на полдороге.

– Смотрите, – сказал хозяин, – что такое творится в замке Иф?

Над зубцами южного бастиона замка Иф появилось белое облачко.

Секунду спустя до тартаны долетел звук отдаленного пушечного выстрела.

Матросы подняли головы, переглядываясь.

– Что это значит? – спросил хозяин.

– Верно, какой-нибудь арестант бежал этой ночью, – сказал Дантес, – вот и подняли тревогу.

Хозяин пристально взглянул на молодого человека, который, произнеся эти слова, поднес флягу к губам. Но Дантес потягивал ром с таким невозмутимым спокойствием, что если хозяин и заподозрил что-нибудь, то это подозрение только мелькнуло в его уме и тотчас же исчезло.

– Ну и забористый же ром! – сказал Дантес, вытирая рукавом рубашки пот, выступивший у него на лбу.

– Если даже это он, – проворчал хозяин, поглядывая на него, – тем лучше: мне достался лихой малый.

Дантес попросил позволения сесть у руля. Рулевой, обрадовавшись смене, взглянул на хозяина, который сделал ему знак, что он может передать руль своему новому товарищу.

Сидя у руля, Дантес мог, не возбуждая подозрений, глядеть в сторону Марселя.

– Какое у нас сегодня число? – спросил Дантес у подсевшего к нему Джакопо, когда замок Иф исчез из виду.

– Двадцать восьмое февраля, – отвечал матрос.

– Которого года? – спросил Дантес.

– Как – которого года! Вы спрашиваете, которого года?

– Да, – отвечал Дантес, – я спрашиваю, которого года.

– Вы забыли, в котором году мы живем?

– Что поделаешь! – сказал Дантес, смеясь. – Я так перепугался сегодня ночью, что чуть не лишился рассудка, и у меня совсем отшибло память; а потому я и спрашиваю: которого года у нас сегодня двадцать восьмое февраля?

– Тысяча восемьсот двадцать девятого года, – сказал Джакопо.

Прошло ровно четырнадцать лет со дня заточения Дантеса. Он переступил порог замка Иф девятнадцати лет от роду, а вышел оттуда тридцати трех.

Горестная улыбка мелькнула на его устах; он спрашивал себя, что случилось за это время с Мерседес, которая, вероятно, считала его умершим.

Потом пламя ненависти вспыхнуло в его глазах, – он вспомнил о трех негодях, которым был обязан долгим мучительным заточением.

И он снова, как некогда в тюрьме, поклялся страшной клятвой – беспощадно отомстить Данглу, Фернану и Вильфору.

И теперь эта клятва была не пустой угрозой, ибо самый быстроходный парусник Средиземного моря уже не догнал бы маленькой тартаны, которая на всех парусах неслась к Ливорно.

Часть II

I. Контрабандисты

Дантес еще и дня не пробыл на тартане, как уже понял, с кем имеет дело. Хотя достойный хозяин «Юной Амелии» (так называлась генуэзская тартана) и не учился у аббата Фариа, однако он владел чуть ли не всеми языками, на которых говорят по берегам обширного озера, именуемого Средиземным морем, – начиная от арабского и кончая провансальским. Это избавляло его от переводчиков, людей всегда докучных, а подчас и нескромных, и облегчало ему сношения со встречаемыми кораблями, с мелкими прибрежными судами и, наконец, с теми людьми без имени, без родины, без определенной профессии, которые всегда шатаются в морских портах и существуют на какие-то загадочные средства, посылаемые им, вероятно, самим провидением, потому что каких-либо источников пропитания, различимых невооруженным глазом, у них не имеется. Читатель догадывается, что Дантес попал к контрабандистам.

Не мудрено, что хозяин взял Дантеса на борт с некоторой опаской; он был весьма известен береговой таможенной страже, а так как и он и эти господа пускались на всевозможные хитрости, чтобы обмануть друг друга, то он сначала подумал, что Дантес просто таможенный досмотрщик, воспользовавшийся этим остроумным способом, чтобы проникнуть в таинства его ремесла. Но когда Дантес, взяв круто к ветру, блестяще вышел из испытания, он совершенно успокоился. Потом, когда он увидел облачко дыма, взвившееся, как султан, над бастией замка Иф, и услышал отдаленный звук выстрела, у него мелькнула мысль, не подобрал ли он одного из тех людей, которых, как короля при входе и выходе, чествуют пушечными выстрелами; по правде сказать, это тревожило его меньше, чем если бы его гость оказался таможенным досмотрщиком; но и это второе подозрение скоро рассеялось, подобно первому, при виде невозмутимого спокойствия Дантеса.

Итак, Эдмон имел то преимущество, что знал, кто его хозяин, между тем как хозяину неизвестно было, кто его новый матрос. Как ни осаждали его старый моряк и товарищи, Дантес не поддавался и не признавался ни в чем; он подробно рассказывал о Неаполе и Мальте, которые знал, как Марсель, и повторял свою первоначальную басню с твердостью, делавшей честь его памяти. Таким образом, генуэзец, при всей своей хитрости, спасовал перед Эдмоном, на стороне которого были кротость, опыт моряка, а главное – умение не выдавать себя.

Притом же генуэзец, быть может, как благоразумный человек, предпочитал знать только то, что ему должно знать, и верить только тому, чему выгодно верить.

Так обстояли дела, когда они прибыли в Ливорно.

Тут Эдмону предстояло подвергнуться новому испытанию: проверить, узнает ли он самого себя после четырнадцатилетнего заключения. Он помнил довольно ясно, каков он был в молодости; теперь он увидит, каким он стал в зрелые годы. В глазах его товарищей его обет был выполнен. Он уже раз двадцать бывал в Ливорно и знал там одного цирюльника, на улице Сан-Фернандо; он отправился к нему и велел остричь волосы и сбрить бороду.

Цирюльник с удивлением посмотрел на этого длинноволосого человека с густой черной бородой, похожего на тициановский портрет. В то время еще не носили длинных волос и бороды; ныне цирюльник удивился бы только, что человек, одаренный от природы таким превосходным украшением, отказывается от него.

Ливорнский цирюльник без лишних слов принялся за работу.

Когда она была окончена и Эдмон почувствовал, что подбородок его гладко выбрит, а волосы острижены до обычной длины, он попросил зеркало.

Как мы уже сказали, ему было теперь тридцать три года; четырнадцатилетнее тюремное заключение произвело большую перемену в выражении его лица.

Дантес вошел в замок Иф с круглым, веселым и цветущим лицом счастливого юноши, которому первые шаги в жизни дались легко и который надеется на будущее, как на естественный вывод из прошлого. От всего этого не осталось и следа.

Овал лица удлинился, улыбающийся рот принял твердое и решительное выражение; брови изогнулись; чело пересекла суровая, прямая морщинка; в глазах притаилась глубокая грусть, и временами они сверкали мрачным огнем ненависти; кожа лица его, так долго лишенная дневного света и солнечных лучей, приняла матовый оттенок, который придает аристократичность лицам северян, если они обрамлены черными волосами; к тому же приобретенные им знания наложили на его черты отпечаток ума и уверенности; хотя от природы он был довольно высокого роста, в его фигуре появилась кряжистость – следствие постоянного накапливания сил.

Изящество нервного и хрупкого сложения сменилось крепостью округлых и мускулистых форм. Что же касается его голоса, то мольбы, рыдания и проклятия совершенно изменили его, и он звучал то необычайно нежно, то резко и даже хрипло.

Кроме того, находясь все время либо в полутьме, либо в полном мраке, его глаза приобрели странную способность различать предметы ночью, подобно глазам гиены или волка.

Эдмон улыбнулся, увидев себя; лучший друг, если только у него еще остались друзья на свете, не узнал бы его; он сам себя не узнавал.

Хозяину «Юной Амелии» весьма хотелось оставить у себя такого матроса, как Эдмон, а потому он предложил ему немного денег в счет его доли в будущих барышах, и Эдмон согласился. Выйдя от цирюльника, произведшего в нем первое превращение, он прежде всего пошел в магазин и купил себе полный костюм матроса. Костюм этот, как известно, очень прост и состоит из белых панталон, полосатой фуфайки и фригийского колпака.

В этом наряде, возвратив Джакопо рубашку и штаны, которыми тот его ссудил, Эдмон явился к капитану «Юной Амелии» и принужден был повторить ему свою историю. Капитан не узнавал в этом красивом и щегольски одетом матросе человека с густой бородой, с волосами, полными водорослей, вымокшего в морской воде, которого он принял голым и умирающим на борт своей тартаны.

Плененный его приятной наружностью, он повторил Дантесу предложение поступить к нему на службу; но Дантес, у которого были другие намерения, согласился наняться к нему не больше чем на три месяца.

Экипаж «Юной Амелии» состоял из людей деятельных, и командовал им капитан, не привыкший терять времени. Не прошло и недели, как просторный трюм тартаны наполнился цветным муслином, запрещенными к ввозу бумажными тканями, английским порохом и картами табаку, к которым акцизное управление забыло приложить свою печать. Все это требовалось вывезти из Ливорно и выгрузить на берегах Корсики, откуда некие дельцы брались доставить груз во Францию.

Итак, тартана отправилась в путь. Эдмон снова рассекал лазурное море, колыбель его юности, которое так часто снилось ему в его темнице. Он оставил Горгону справа, Пианозу – слева и держал курс на отечество Паоли и Наполеона.

На другой день капитан, выйдя на палубу, по своему обыкновению, рано утром, застал Дантеса, облокотившегося о борт и глядевшего со странным выражением на груды гранитных утесов, розовевших в лучах восходящего солнца: это был остров Монте-Кристо.

«Юная Амелия» оставила его справа в трех четвертях мили и продолжала свой путь к Корсике.

Идя мимо острова, имя которого так много для него значило, Дантес думал о том, что ему стоит только кинуться в море, и через полчаса он будет на обетованной земле. Но что он

может сделать, не имея ни инструментов для откапывания клада, ни оружия для его защиты? И что скажут матросы? Что подумает капитан? Приходилось ждать.

К счастью, Дантес умел ждать; он ждал свободы четырнадцать лет; теперь, когда он был на свободе, ему не трудно было подождать богатства полгода или год.

Разве он не принял бы свободы без богатства, если бы ему предложили ее?

Да и не химера ли это богатство? Родившись в больной голове бедного аббата Фариа, не исчезло ли оно вместе с ним?

Правда, письмо кардинала Спада было удивительно точно.

И Дантес мысленно повторял это письмо, которое он помнил от слова до слова.

Наступил вечер. Эдмон видел, как остров постепенно терялся в ступающих сумерках, и скоро он для всех исчез во мраке; но Эдмон, привыкнув к темноте своей камеры, вероятно, все еще видел его, потому что оставался на палубе позже всех.

Утро застало их в виду Алерии. Весь день они лавировали, а вечером на берегу засветились огни; расположение этих огней, по-видимому, указывало, что можно выгружать товары, потому что на гафеле подняли сигнальный огонь вместо флага и подошли на ружейный выстрел к берегу.

Дантес заметил, что капитан, вероятно по случаю этих торжественных обстоятельств, поставил на палубе «Юной Амелии» две маленькие кулеврины, которые без особого шума могли выпустить на тысячу шагов хорошенькую четырехфунтовую пулю.

Но на этот раз такая предосторожность оказалась излишней; все обошлось тихо и благопристойно. Четыре шлюпки без шума подошли к «Амелии», которая, вероятно из учтивости, спустила и свою шлюпку; эти пять шлюпок работали весьма проворно, и к двум часам утра весь груз с «Юной Амелии» был перевезен на сушу.

Капитан «Юной Амелии» так любил порядок, что в ту же ночь разделил прибыль между экипажем: каждый матрос получил по сто тосканских ливров, то есть около восьмидесяти франков.

Но на этом экспедиция не закончилась: взяли курс на Сардинию. Надо было снова нагрузить разгруженное судно.

Вторая операция сошла так же удачно, как и первая: «Юной Амелии», видимо, везло.

Новый груз предназначался для герцогства Луккского. Он почти весь состоял из гаванских сигар, хереса и малаги.

Тут случилось недоразумение с таможенной, этим извечным врагом капитана «Юной Амелии». Один стражник остался на месте, двое матросов было ранено. Одним из этих двух матросов был Дантес. Пуля, не задев кости, пробила ему левое плечо.

Дантес был доволен этой стычкой и почти рад полученной ране; этот суровый урок показал ему, как он умеет смотреть в лицо опасности и переносить страдания. Опасность он встретил с улыбкой, а получив рану, сказал, подобно греческому философу: «Боль, ты не зло».

Притом же он видел смертельно раненного стражника, и оттого ли, что он разгорячился во время стычки, или оттого, что чувства его притупились, но это зрелище не смутило его. Дантес уже ступил на тот путь, по которому намеревался идти, и шел прямо к намеченной цели, – сердце его превращалось в камень.

Увидев, что Дантес упал замертво, Джакопо бросился к нему, поднял его и потом заботливо ухаживал за ним.

Итак, если свет не так добр, как думал доктор Панглос, то и не так зол, как казалось Дантесу, раз этот матрос, который ничего не мог ожидать от товарища, кроме доли прибыли в случае его смерти, так огорчился, полагая, что он умер.

К счастью, как мы уже сказали, Эдмон был только ранен. С помощью целебных трав, которые сардинские старухи собирали в таинственные, им одним ведомые дни и часы, а потом продавали контрабандистам, рана скоро зажила. Тогда Эдмон решил испытать Джакопо. Он

предложил ему в благодарность за его усердие свою долю прибыли; но Джакопо отверг ее с негодованием.

Уважение и преданность, которыми Джакопо с первого же взгляда проникся к Эдмону, привели к тому, что и Эдмон почувствовал к Джакопо некоторую привязанность. Но Джакопо большего и не требовал; он инстинктивно чувствовал, что Эдмон создан для более высокого положения, чем то, которое он занимает, хотя Эдмон старался ничем не выдавать своего превосходства. И добрый малый вполне довольствовался тем, что Эдмон снисходил к нему.

В долгие часы плавания, когда «Амелия» спокойно шла по лазурному морю и благодаря попутному ветру, надувавшему ее паруса, не нуждалась ни в ком, кроме рулевого, Эдмон с морской картою в руках становился наставником Джакопо, подобно тому как бедный аббат Фариа был его собственным наставником. Он показывал ему положение берегов, объяснял склонения компаса, учил его читать великую книгу, раскрытую над нашими головами и называемую небом, в которой бог пишет по лазури алмазными буквами.

И когда Джакопо его спрашивал:

– Стоит ли учить всему этому бедного матроса?

Эдмон отвечал:

– Как знать? Быть может, ты когда-нибудь станешь капитаном корабля; твой земляк Бонапарт стал же императором!

Мы забыли сказать, что Джакопо был корсиканец.

Прошло уже два с половиной месяца непрерывного плавания. Эдмон стал теперь столь же искусным береговым промышленником, сколь был прежде смелым моряком; он завязал знакомство со всеми прибрежными контрабандистами; изучил все масонские знаки, посредством которых эти полупираты узнают друг друга.

Двадцать раз проходил он мимо своего острова Монте-Кристо, но ни разу не имел случая побывать на нем.

Поэтому вот что он решил сделать.

Как только кончится срок его службы на «Юной Амелии», он наймет небольшую лодку за свой собственный счет (Дантес мог это сделать, потому что за время плавания скопил сотню пиастров) и под каким-нибудь предлогом отправится на Монте-Кристо.

Там на свободе он начнет поиски.

Конечно, не совсем на свободе, – ибо за ним, вероятно, будут следить те, кто его туда доставит.

Но в жизни иногда приходится рисковать.

Тюрьма научила Эдмона осторожности, и он предпочел бы обойтись без риска.

Но сколько он ни рылся в своем богатом воображении, он не находил иного способа попасть на желанный остров.

Дантес еще колебался, когда однажды вечером его капитан, питавший к нему большое доверие и очень желавший оставить его у себя на службе, взял его под руку и повел с собой в таверну на Виа-дель-Олью, где, по обыкновению, собирався цвет ливорнских контрабандистов. Там-то обычно и заключались торговые сделки. Дантес уже два-три раза побывал на этой морской бирже; и, глядя на лихих удалцов, собравшихся с побережья в две тысячи лье, он думал о том, каким могуществом располагал бы человек, которому удалось бы подчинить своей воле все эти соединенные или разрозненные нити.

На этот раз речь шла о крупном деле: нужно было в безопасном месте выгрузить корабль с турецкими коврами, восточными тканями и кашемиром, а потом перекинуть эти товары на французский берег.

В случае успеха обещано было огромное вознаграждение – по пятидесяти пиастров на человека.

Хозяин «Юной Амелии» предложил выбрать местом выгрузки остров Монте-Кристо, который, будучи необитаем и лишен охраны солдат и таможенных чиновников, словно нарочно во времена языческого Олимпа поставлен среди моря Меркурием, богом торговцев и воров, двух сословий, которые мы ныне разделяем, если и не всегда различаем, но которые древние, по-видимому, относили к одной категории.

При слове «Монте-Кристо» Дантес вздрогнул от радости; чтобы скрыть свое волнение, он встал и прошелся по дымной таверне, где все наречия мира растворялись во франкском языке.

Когда он снова подошел к собеседникам, то было уже решено, что причалят к Монте-Кристо, а в путь отправятся на завтра в ночь.

Когда спросили мнение Эдмона, он ответил, что остров вполне безопасное место и что большие начинания должны приводиться в исполнение безотлагательно.

Итак, план остался без изменений. Условились сняться с якоря вечером следующего дня и ввиду благоприятной погоды и попутного ветра постараться сутки спустя пристать к необитаемому острову.

II. Остров Монте-Кристо

Наконец-то Дантес благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений.

Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия.

Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес. В продолжение этой ночи ему попеременно мерещились все удачи и неудачи, с которыми он мог столкнуться: когда он закрывал глаза, он видел письмо кардинала Спада, начертанное огненными буквами на стене; когда он на минуту забывался сном, самые безумные видения вихрем кружились в его мозгу; ему чудилось, что он входит в пещеру с изумрудным полом, рубиновыми стенами, алмазными сталактитами. Жемчужины падали капля за каплей, как просачиваются подземные воды.

Восхищенный, очарованный, Эдмон наполнял карманы драгоценными камнями; потом он выходил на свет, и драгоценные камни превращались в обыкновенные голыши. Тогда он пытался вернуться в волшебные пещеры, виденные только мельком; но дорога вдруг начала извиваться бесконечными спиралями, и он не находил входа. Тщетно искал он в своей утомленной памяти магическое слово, отворявшее арабскому рыбаку великолепные пещеры Али-Бабы. Все было напрасно: исчезнувшее сокровище снова стало достоянием духов земли, у которых Дантес одно мгновение надеялся похитить его.

Забрезжило утро, почти столь же лихорадочное, как и ночь; но на помощь воображению пришла логика, и Дантес разработал план, до тех пор смутно и неясно витавший в его мозгу.

Наступил вечер, а вместе с ним и приготовления к отплытию. Это дало Дантесу возможность скрыть свое возбуждение. Мало-помалу он сумел приобрести власть над своими товарищами и командовал ими, как капитан. А так как приказания его всегда были ясны, точны и легко исполнимы, то товарищи повиновались ему не только с поспешностью, но и с охотой.

Старый моряк не мешал ему; он также признал превосходство Дантеса над остальными матросами и над самим собой; он смотрел на молодого моряка как на своего естественного преемника и жалел, что у него нет дочери, чтобы такой блестящей партией еще крепче привязать к себе Эдмона.

В семь часов вечера все было готово; в десять минут восьмого судно уже огибало маяк, в ту самую минуту, когда на нем вспыхнул свет.

Море было спокойно, дул свежий юго-восточный ветер. Они плыли под лазоревым небом, где бог тоже зажигал свои маяки, из которых каждый – целый мир. Дантес объявил, что все могут идти спать и что он останется на руле.

Когда мальтиец (так называли Дантеса) делал такое заявление, никто не спорил и все спокойно уходило спать.

Это случалось неоднократно. Дантес, из одиночества внезапно возвращенный в мир, чувствовал по временам непреодолимое желание остаться одному. А где одиночество может быть так беспредельно и поэтично, как не на корабле, который несется по морской пустыне, во мраке ночи, в безмолвии бесконечности, под оком вседержителя?

Но в ту ночь одиночество было переполнено мыслями Дантеса, тьма озарена его мечтами, безмолвие оживлено его надеждами.

Когда капитан проснулся, «Амелия» шла под всеми парусами. Не было ни одного клочка холста, который бы не надувался ветром. Корабль делал более двух с половиной миль в час.

Остров Монте-Кристо вставал на горизонте.

Эдмон сдал вахту капитану и пошел в свою очередь прилечь на койку. Но, несмотря на бессонную ночь, он ни на минуту не сомкнул глаз.

Два часа спустя он снова вышел на палубу. «Амелия» огибала остров Эльба и находилась против Маречаны, в виду плоского зеленого острова Пианоза; в лазурное небо подымалась пламенеющая вершина Монте-Кристо.

Дантес велел рулевому взять право руля, чтобы оставить Пианозу справа. Он рассчитал, что этот маневр сократит путь на два-три узла.

В пятом часу вечера весь остров был уже виден как на ладони. В прозрачном вечернем воздухе, пронизанном лучами заходящего солнца, можно было различить малейшие подробности.

Эдмон пожирал глазами скалистую громаду, переливавшуюся всеми закатными красками, от ярко-розового до темно-синего. По временам кровь прилиwała к его лицу, лоб покрывался краской, и багровое облако застилало глаза.

Ни один игрок, поставивший на карту все свое состояние, не испытывал такого волнения, как Эдмон в пароксизме иступленных надежд.

Настала ночь. В десять часов вечера пристали к берегу. «Юная Амелия» первая пришла на условленное место.

Дантес, несмотря на свое обычное самообладание, не мог удержаться и первый соскочил на берег. Если бы он посмел, то, подобно Бруту, поцеловал бы землю.

Ночь была темная. Но в одиннадцать часов луна взошла над морем и посеребрила его трепещущую поверхность; по мере того как она всходила, ее лучи заливали потоками белого света нагромождения утесов этого второго Пелиона.

Остров Монте-Кристо был знаком экипажу «Юной Амелии» – это была одна из обычных его стоянок. Дантес видел его издали каждый раз, когда ходил на восток, но никогда не приставал к нему.

Он обратился к Джакопо:

– Где мы проведем ночь?

– Да на таргане, – отвечал матрос.

– А не лучше ли нам будет в пещерах?

– В каких пещерах?

– В пещерах на острове.

– Я не знаю там никаких пещер, – отвечал Джакопо.

Холодный пот выступил на лбу Дантеса.

– Разве на Монте-Кристо нет пещер? – спросил он.

– Нет.

Ответ Джакопо как громом поразил Дантеса; потом он подумал, что эти пещеры могли быть засыпаны случайным обвалом, а то и нарочно заделаны из предосторожности самим кардиналом Спада.

В таком случае дело сводилось к тому, чтобы отыскать исчезнувшее отверстие. Бесплезно было бы искать его ночью; а потому Дантес отложил поиски до следующего дня. К тому же сигнал с моря, поднятый в полумиле от берега и на который «Юная Амелия» тотчас же ответила таким же сигналом, возвестил о том, что пора приниматься за работу.

Запоздавшее судно, успокоенное сигналом, означавшим, что путь свободен, вскоре приблизилось, белое и безмолвное, словно призрак, и бросило якорь в кабельтове от берега.

Тотчас же началась перегрузка.

Дантес, работая, думал о тех радостных возгласах, которые единым словом он мог бы вызвать среди этих людей, если бы он высказал вслух неотвязную мысль, неотступно стучавшую у него в голове; но он не только не открыл своей тайны, – он, напротив, опасался, что уже и так слишком много сказал и мог возбудить подозрения своим поведением, своими расспросами, выматриванием, своей озабоченностью. К счастью для него, по крайней мере в этом случае, тяжелое прошлое наложило на его лицо неизгладимую печать грусти, и редкие проблески веселости казались вспышками молнии, озаряющими грозную тучу.

Итак, никто не заметил в нем ничего необычного, и когда наутро Дантес взял ружье, пороху и дробь и объявил, что хочет пострелять диких коз, которые во множестве прыгали по утесам, то в этом увидели всего лишь страсть к охоте или любовь к уединению. Один только Джакопо пожелал сопутствовать ему; Дантес не спорил, боясь возбудить в нем подозрение. Но едва они прошли несколько шагов, как Дантес подстрелил козленка и попросил Джакопо вернуться к товарищам, зажарить добычу, а когда обед поспеет, подать ему сигнал ружейным выстрелом, чтобы он пришел за своей долей; сушеные фрукты и бутылъ монтепульчанского вина дополняют пиршество.

Дантес продолжал путь, время от времени оглядываясь назад. Взобравшись на вершину скалы, он увидел в тысяче футов под собою своих товарищей, к которым присоединился Джакопо, усердно занятых приготовлением трапезы.

Он с минуту глядел на них с кроткой и печальной улыбкой человека, сознающего свое превосходство.

– Через два часа, – сказал он себе, – эти люди с пятидесятью пиастрами в кармане отправятся дальше, чтобы с опасностью для жизни заработать еще по пятидесяти; потом, сколотив по шестьсот ливров, они промотают их в каком-нибудь городе, горделивые, как султаны, и беспечные, как набобы. Сегодня я живу надеждой и презираю их богатство, которое кажется мне глубочайшей нищетой; завтра, быть может, меня постигнет разочарование, и я буду считать эту нищету величайшим счастьем. Нет, – воскликнул Эдмон, – этого не будет; мудрый, непогрешимый Фариа не мог ошибаться! Да и лучше умереть, чем влачить такую жалкую, беспробудную жизнь!

Итак, Дантес, который три месяца тому назад жаждал только свободы, уже не довольствовался свободой и жаждал богатства. Повинен в этом был не Дантес, а бог, который, ограничив могущество человека, наделил его беспредельными желаниями. Подвигаясь между двумя стенами утесов по вырытой потоком тропинке, которую, вероятно, никогда еще не попирала человеческая нога, Дантес приблизился к тому месту, где, по его предположению, должны были находиться пещеры. Следуя вдоль берега и с глубоким вниманием вглядываясь в мельчайшие предметы, он заметил на некоторых скалах зарубки, сделанные, по-видимому, рукою человека.

Время, облекающее все вещественное покровом мха, подобно тому, как оно набрасывает на все духовное покров забвения, казалось, пощадило эти знаки, намечающие некое направление и, вероятно, предназначенные для того, чтобы указать дорогу. Иногда, впрочем, эти отметки пропадали, скрытые цветущим миртовым кустом или лишайником. Тогда Эдмон раз-

двигал ветви или приподнимал мох, чтобы найти путеводные знаки, которые, окрыляя его надеждой, вели по этому новому лабиринту. Кто знает, не сам ли кардинал, не предвидевший полноты несчастья, поразившего семью Спада, начертал их, чтобы они послужили вехами его племяннику? Это уединенное место как раз подходило для того, чтобы здесь зарыть клад. Но только не привлекли ли уже эти нескромные знаки другие взоры, не те, для которых они предназначались, и свято ли сохранил этот остров, полный мрачных чудес, свою дивную тайну?

Шагах в шестидесяти от гавани Эдмон, все еще скрытый скалами от глаз товарищей, убедился, что зарубки прекратились; но они не привели к пещере. Перед Эдмоном была большая круглая скала, покоившаяся на мощном основании. Он подумал, что, может быть, пришел не к концу, а, напротив того, к началу отметок; поэтому он повернул и пошел обратно по той же дороге.

Тем временем товарищи его занимались приготовлением обеда: ходили за водой к ручью, переносили хлеб и фрукты на берег и жарили козленка. В ту самую минуту, когда они снимали жаркое с самодельного вертела, они увидели Эдмона, который с проворством и смелостью серны прыгал с утеса на утес; они выстрелили из ружья, чтобы подать ему сигнал. Он тотчас же повернулся и со всех ног поспешил к ним. Они следили за его отважными прыжками, укоряя его за безрассудство, и вдруг, как бы для того, чтобы оправдать их опасения, Эдмон оступился на вершине утеса; он зашатался, вскрикнул и скрылся из глаз.

Все разом вскочили, потому что все любили Эдмона, несмотря на то что чувствовали его превосходство над ними. Однако первым подбежал к нему Джакопо.

Эдмон лежал окровавленный и почти без чувств. Он, по-видимому, упал с высоты двенадцати-пятнадцати футов. Ему влили в рот несколько капель рому, и это лекарство, которое уже однажды так ему помогло, и на сей раз оказало такое же благотворное действие.

Эдмон открыл глаза и пожаловался на сильную боль в колене, на тяжесть в голове и нестерпимую боль в пояснице. Его хотели перенести на берег. Но когда его стали поднимать, хотя этим распоряжался Джакопо, он застонал и заявил, что не в силах вытерпеть переноску.

Разумеется, Дантесу было не до козленка; но он потребовал, чтобы остальные, которые не имели, подобно ему, причин постыться, возвратились на берег. Сам же он, по его словам, нуждался только в отдыхе и обнадежил их, что, когда они вернутся, ему будет уже лучше.

Матросы не заставили себя долго упрашивать; они были голодны, до них долетал запах козлятины, а морские волки не церемонятся между собой.

Час спустя они возвратились. Все, что Эдмон был в состоянии сделать тем временем, — это проползти несколько шагов и прислониться к мшистому утесу.

Но боль его не только не утихла, а, по-видимому, еще усилилась. Старик капитан, которому необходимо было отплыть в то же утро, чтобы выгрузить товары на границе Пьемонта и Франции, между Ниццей и Фрежюсом, настаивал, чтобы Дантес попытался встать. С нечеловеческими усилиями Дантес исполнил его желание, но при каждой попытке он снова падал, бледный и измученный.

— У него сломаны ребра, — сказал шепотом капитан. — Все равно он славный товарищ, и нельзя его покидать; постараемся перенести его на тартану.

Но Дантес объявил, что он лучше умрет на месте, чем согласится терпеть муки, которые причиняло ему малейшее движение.

— Ну, что ж, — сказал капитан. — Будь что будет. Пусть не говорят, что мы бросили без помощи такого славного малого, как вы. Мы поднимем якорь не раньше вечера.

Это предложение очень удивило матросов, хотя ни один из них не перечил, — напротив. Капитана знали как человека строгого и точного, и не было случая, чтобы он отказывался от своего намерения или хотя бы откладывал его исполнение. Поэтому Дантес не согласился, чтобы ради него произошло такое неслыханное нарушение заведенного на борту порядка.

– Нет, – сказал он капитану, – я сам виноват и должен быть наказан за свою неловкость: оставьте мне небольшой запас сухарей, ружье, пороху и пуль – чтобы стрелять коз, а может быть, и для самозащиты, и кирку, чтобы я мог построить себе жилище на тот случай, если вы задержитесь.

– Но ты умрешь с голоду, – сказал капитан.

– Я предпочитаю умереть, – отвечал Эдмон, – чем терпеть невыносимые страдания.

Капитан взглянул в сторону маленькой гавани, где «Амелия» покачивалась на волнах, готовясь выйти в море.

– Что же нам делать с тобой, мальтиец? – сказал он. – Мы не можем бросить тебя, но и оставаться нам нельзя.

– Уезжайте! – сказал Дантес.

– Мы пробудем в отлучке не меньше недели, – отвечал капитан, – и нам еще придется свернуть с пути, чтобы зайти за тобой.

– Послушайте, – сказал Дантес, – если через два-три дня вы встретите рыбацью или какую-нибудь другую лодку, идущую в эту сторону, то скажите, чтобы она зашла за мной, я заплачу двадцать пять пиастров за переезд в Ливорно. Если никого не встретите, вернитесь сами.

Капитан покачал головой.

– Послушайте, капитан Бальди, есть способ все уладить, – сказал Джакопо, – уезжайте, а я останусь с раненым и буду ходить за ним.

– И ты отказался бы от своей доли в дележе, – спросил Эдмон, – чтобы остаться со мной?

– Да, – отвечал Джакопо, – и без сожаления.

– Ты славный малый, Джакопо, – сказал Дантес, – и бог наградит тебя за твое доброе намерение; спасибо тебе, но я ни в ком не нуждаюсь. Отдохнув день-другой, я поправлюсь, а среди этих утесов я надеюсь найти кое-какие травы – превосходное средство от ушибов.

И загадочная улыбка мелькнула на губах Дантеса; он крепко пожал руку Джакопо, но был непреклонен в своем решении остаться на острове, и притом одному.

Контрабандисты оставили Эдмону все, что он просил, и удалились, часто оглядываясь назад и дружески прощаясь с ним, на что Эдмон отвечал, поднимая одну только руку, словно он и пошевелиться не мог.

Когда они совсем скрылись из виду, Дантес засмеялся.

– Странно, – прошептал он, – что именно среди таких людей находишь преданность и дружбу!

Потом он осторожно вполз на вершину скалы, закрывавшей от него море, и оттуда увидел тартану, которая закончила свои приготовления, подняла якорь, легко качнулась, словно чайка, расправляющая крылья, и тронулась.

Час спустя она исчезла, – во всяком случае, с того места, где лежал раненый, ее не было видно.

Тогда Дантес вскочил на ноги, проворнее и легче дикой серны, прыгающей по этим пустынным утесам среди миртовых и мастиковых деревьев, схватил одною рукою ружье, другою кирку и побежал к той скале, у которой кончались зарубки, замеченные им на утесах.

– А теперь, – вскричал он, вспомнив сказку про арабского рыбака, которую рассказывал ему Фариа, – теперь, Сезам, откройся!

III. Волшебный блеск

Солнце прошло уже почти треть своего пути, и его майские лучи, жаркие и живительные, падали на утесы, которые, казалось, чувствовали их тепло; тысячи кузнечиков, скрытых в вереске, оглашали воздух однообразным и непрерывным стрекотанием; листья миртов и олив

трепетали, издавая почти металлический звук; каждый шаг Эдмона по нагретому солнцем граниту спугивал зеленых, как изумруд, ящериц; вдали, на горных склонах, виднелись резвые серны, так привлекающие охотников; словом, остров казался обитаемым, полным жизни, и, несмотря на это, Эдмон чувствовал, что он один, под десницей бога.

Его охватило странное чувство, похожее на страх; причиной тому был яркий дневной свет, при котором даже в пустыне нам чудится, что чьи-то пытливые взоры следят за нами.

Это чувство было так сильно, что, раньше чем приняться за дело, он отложил кирку, снова взял в руки ружье, еще раз вскарабкался на самую высокую вершину и внимательным глазом окинул окрестность.

Но нужно признаться, что внимание его не было привлечено ни поэтической Корсикой, на которой он различал даже дома, ни почти неведомой ему Сардинией, ни Эльбой, воскрешающей в памяти великие события, ни едва приметной чертой, тянувшейся на горизонте, которая для опытного глаза моряка означала великолепную Геную и торговый Ливорно; нет, взгляд его искал бригадину, отплывшую на рассвете, и тартану, только что вышедшую в море.

Первая уже исчезла в Бонифациевом проливе; вторая, следуя по противоположному пути, шла вдоль берегов Корсики, готовясь обогнуть ее.

Это успокоило Эдмона.

Тогда он обратил свои взоры на близлежащие предметы. Он увидел, что стоит на самой возвышенной точке остроконечного острова, подобно хрупкой статуе на огромном пьедестале; под ним – ни души; вокруг – ни единой лодки; ничего, кроме лазурного моря, бьющегося о подножие утесов и оставляющего серебристую кайму на прибрежном граните.

Тогда он поспешно, но в то же время осторожно начал спускаться; он очень опасался, как бы его на самом деле не постиг несчастный случай, который он так искусно и удачно разыграл.

Дантес, как мы уже сказали, пошел обратно по зарубкам, сделанным на утесах, и увидел, что следы ведут к маленькой бухточке, укромной, как купальня античной нимфы. Вход в эту бухту был довольно широк, и она была достаточно глубока, чтобы небольшое суденышко вроде сперонары могло войти в нее и там укрыться. Тогда, следуя той нити, которая в руках аббата Фариа так превосходно вела разум по лабиринту вероятностей, он решил, что кардинал Спада, желая остаться незамеченным, вошел в эту бухточку, укрыл там свое маленькое судно, пошел по направлению, обозначенному зарубками, и там, где они кончаются, зарыл свой клад. Это предположение и привело Дантеса снова к круглому камню.

Только одно соображение беспокоило Эдмона и переворачивало все его представления о динамике: каким образом можно было без непосильного труда водрузить этот камень, весивший, вероятно, пять или шесть тысяч фунтов, на то подобие пьедестала, на котором он покоился?

Вдруг внезапная мысль осенила Дантеса.

– Может быть, его вовсе не поднимали, – сказал он самому себе, – а просто скатили сверху вниз.

И он поспешно взобрался выше камня, чтобы отыскать его первоначальное местоположение.

Он в самом деле увидел, что на горе имелась небольшая покатость, по которой камень мог сползти. Другой обломок скалы, поменьше, послужил ему подпоркой и остановил его. Кругом него были навалены мелкие камни и булыжники, и вся эта кладка засыпана плодоносной землей, которая поросла травами, покрылась мхом, вскормила миртовые и мастиковые побеги, и теперь огромный камень был неотделим от скалы.

Дантес бережно разрыл землю и разгадал, или решил, что разгадал, весь этот хитроумный маневр.

Тогда он начал разбивать киркой эту промежуточную стену, укрепленную временем.

После десяти минут работы стена подалась, и в ней появилось отверстие, в которое можно было просунуть руку.

Дантес повалил самое толстое оливковое дерево, какое только мог найти, обрубил ветви, просунул его в отверстие и стал действовать им, как рычагом.

Но камень был так тяжел и так прочно подперт нижним камнем, что ни один человек, обладай он даже геркулесовой силой, не мог бы сдвинуть его с места.

Тогда Дантес решил, что прежде всего нужно удалить подпорку.

Но как?

В замешательстве он рассеянно поглядел по сторонам, и вдруг его взор упал на бараний рог с порохом, оставленный ему Джакопо.

Он улыбнулся: адское изобретение выручит его.

С помощью кирки Дантес вырыл между верхним камнем и нижним ход для мины, как делают землекопы, когда хотят избежать долгой и тяжелой работы; наполнил этот ход порохом, разорвал свой платок и с помощью селитры сделал из него фитиль.

Потом он запалил фитиль и отошел в сторону.

Взрыв не заставил себя ждать. Верхний камень был мгновенно приподнят неизмеримой силой пороха, нижний разлетелся на куски. Из маленького отверстия, проделанного Дантесом, хлынули целые полчища трепещущих насекомых, и огромный уж, страж этого таинственного прохода, развернул свои голубоватые кольца и исчез.

Дантес приблизился; верхний камень, оставшись без опоры, висел над пропастью. Неустрашимый искатель обошел его кругом, выбрал самое шаткое место и, подобно Сизифу, изо всех сил налег на рычаг.

Камень, уже поколебленный сотрясением, качнулся; Дантес удвоил усилия; он походил на титана, вырывающего утес, чтобы сразиться с повелителем богов. Наконец камень подался, покатился, подпрыгнул, устремился вниз и исчез в морской пучине.

Под ним оказалась круглая площадка, посредине которой виднелось железное кольцо, укрепленное в квадратной плите.

Дантес вскрикнул от радости и изумления – каким успехом увенчалась его первая попытка!

Он хотел продолжать поиски, но ноги его так дрожали, сердце билось так сильно, глаза застилал такой горячий туман, что он принужден был остановиться.

Однако эта задержка длилась единый миг. Эдмон продел рычаг в кольцо, с силою двинул им, и плита поднялась; под ней открылось нечто вроде лестницы, круто спускавшейся во все сгущавшийся мрак темной пещеры.

Другой на его месте бросился бы туда, закричал бы от радости. Дантес побледнел и остановился в раздумье.

– Стой! – сказал он самому себе. – Надо быть мужчиной. Я привык к несчастьям, и разочарование не сломит меня; разве страдания ничему меня не научили? Сердце разбивается, когда, чрезмерно расширившись под теплым дуновением надежды, оно вдруг сжимается от холода действительности! Фариа бредил: кардинал Спада ничего не зарывал в этой пещере, может быть, даже никогда и не был здесь; а если и был, то Цезарь Борджиа, неустрашимый авантюрист, неутомимый и мрачный разбойник, пришел вслед за ним, нашел его след, направился по тем же зарубкам, что и я, как я, поднял этот камень и, спустившись прежде меня, ничего мне не оставил.

Он простоял с минуту неподвижно, устремив глаза на мрачное и глубокое отверстие.

– Да, да, такому приключению нашлось бы место в жизни этого царственного разбойника, где перемешаны свет и тени, в сплетении необычайных событий, составляющих пеструю ткань его судьбы. Это сказочное похождение было необходимым звеном в цепи его подвигов; да, Борджиа некогда побывал здесь, с факелом в одной руке и мечом в другой, а в двадцати шагах,

быть может, у этой самой скалы, стояли два стража, мрачные и зловещие, зорко оглядывавшие землю, воздух и море, в то время как их властелин входил в пещеру, как собираюсь это сделать я, рассекая мрак своей грозной пламенеющей рукой.

«Так; но что сделал Борджиа с этими стражами, которым он доверил свою тайну?» – спросил себя Дантес.

«То, что сделали с могильщиками Алариха, которых закопали вместе с погребенным», – отвечал он себе, улыбаясь.

«Но, если бы Борджиа здесь побывал, – продолжал Дантес, – он бы нашел сокровище и унес его; Борджиа – человек, сравнивавший Италию с артишоком и общипывавший ее листик за листиком, – Борджиа хорошо знал цену времени и не стал бы тратить его даром, водружая камень на прежнее место.

Итак, спустимся в пещеру».

И он вступил на лестницу, с недоверчивой улыбкой на устах, шепча последнее слово человеческой мудрости: «Быть может!..»

Но вместо мрака, который он ожидал здесь найти, вместо удушливого, сперттого воздуха Дантес увидел мягкий голубоватый сумрак; воздух и свет проникали не только в сделанное им отверстие, но и в незаметные извне расщелины утесов, и сквозь них видно было синее небо, зеленый узор дубовой листвы и колючие волокна ползучего терновника.

Пробыв несколько секунд в пещере, где воздух – не сырой и не затхлый, а скорее теплый и благовонный – был настолько же мягче наружного воздуха, насколько голубоватый сумрак был мягче яркого солнца, Дантес, обладавший способностью видеть в потемках, уже успел осмотреть самые отдаленные углы; стены пещеры были из гранита, и его мелкие блески сверкали, как алмазы.

– Увы! – сказал Эдмон, улыбаясь. – Вот, вероятно, и все сокровища, оставленные кардиналом, а добрый аббат, видя во сне сверкающие стены, преисполнился великих надежд.

Но Дантес вспомнил слова завещания, которое он знал наизусть: «В самом отдаленном углу второго отверстия», – гласили они.

Он проник только в первую пещеру; надо было найти вход во вторую.

Дантес оглянулся кругом. Вторая пещера могла только уходить в глубь острова. Он осмотрел каменные плиты и начал стучать в ту стену пещеры, в которой, по его мнению, должно было находиться отверстие, очевидно, заделанное для большей предосторожности.

Несколько минут слышались гулкие удары кирки о гранит, настолько твердый, что лоб Дантеса покрылся испариной; наконец неугомонному рудокопу показалось, что в одном месте гранитная стена отвечает более глухим и низким звуком на его призывы; он взгляделся горящим взглядом в стену и чутьем узника понял то, чего не понял бы, может быть, никто другой: в этом месте должно быть отверстие.

Однако, чтобы не трудиться напрасно, Дантес, который не меньше Цезаря Борджиа дорожил временем, испытал киркой остальные стены пещеры, постучал в землю прикладом ружья, разрыл песок в подозрительных местах и, не обнаружив ничего, возвратился к стене, издававшей утешительный звук.

Он ударил снова, и с большей силой.

И вдруг, к своему удивлению, он заметил, что под ударами кирки от стены отделяется как бы штукатурка, вроде той, которую наносят под фрески, и отваливается кусками, открывая беловатый и мягкий камень, подобный обыкновенному строительному камню. Отверстие в скале было заложено этим камнем, камень покрыт штукатуркой, а штукатурке приданы цвет и зерно гранита.

Тогда Дантес ударил острым концом кирки, и она на дюйм вошла в стену.

Вот где надо было искать.

По странному свойству человеческой природы, чем больше доказательств находил Дантес, что Фариа не ошибся, тем сильнее его терзали сомнения, тем ближе он был к отчаянию. Это новое открытие, которое, казалось, должно было придать ему мужества, напротив того, отняло у него последние силы. Кирка скользнула по стене, едва не выпав из его рук, он положил ее на землю, вытер лоб и вышел из пещеры, говоря самому себе, что хочет взглянуть, не подсматривает ли кто-нибудь за ним, а на самом деле для того, чтобы подышать свежим воздухом; он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок.

Остров был безлюден, и высоко стоящее солнце заливало его своими палящими лучами. Вдали рыбацьи лодки раскинули свои крылья над сапфирно-синим морем.

Дантес с утра ничего не ел, но ему было не до еды; он подкрепился глотком рома и вернулся в пещеру.

Кирка, казавшаяся ему такой тяжелой, стала снова легкой; он поднял ее, как перышко, и бодро принялся за работу.

После нескольких ударов он заметил, что камни ничем не скреплены между собой, а просто положены один на другой и покрыты штукатуркой, о которой мы уже говорили. Воткнув в одну из расщелин конец кирки, Эдмон налег на рукоятку – и камень упал к его ногам!

После этого Дантесу осталось только выворачивать камни концом кирки, и все они, один за другим, упали рядом с первым.

Дантес давно уже мог бы войти в пробитое им отверстие, но он все еще медлил, чтобы отдалить уверенность и сохранить надежду.

Наконец, преодолев минутное колебание, Дантес перешел из первой пещеры во вторую.

Вторая пещера была ниже, темнее и мрачнее первой; воздух, проникавший туда через только что пробитое отверстие, был затхлый и промозглый, чего, к удивлению Дантеса, не было в первой пещере.

Дантес подождал, пока наружный воздух несколько освежил эту мертвую атмосферу, и вошел.

Налево от входного отверстия был глубокий и темный угол.

Но мы уже говорили, что для Дантеса не существовало темноты.

Он осмотрел пещеру. Она была пуста, как и первая.

Клад, если только он существовал, был зарыт в этом темном углу.

Мучительная минута наступила. Фута два земли – вот все, что отделяло Дантеса от величайшего счастья или глубочайшего отчаяния.

Он подошел к углу и, как бы охваченный внезапной решимостью, смело начал раскапывать землю.

При пятом или шестом ударе кирка ударилась о железо.

Никогда похоронный звон, никогда тревожный набат не производили такого впечатления на того, кто их слышал.

Если бы Дантес ничего не нашел, он не побледнел бы так страшно.

Он ударил киркой в другом месте, рядом, и встретил то же сопротивление, но звук был другой.

– Это деревянный сундук, окованный железом, – сказал он себе.

В эту минуту, заслоня свет, мелькнула чья-то быстрая тень.

Дантес выпустил из рук кирку, схватил ружье и выбежал из пещеры.

Дикая коза проскочила мимо входа в пещеру и щипала траву в нескольких шагах от него.

Это был удобный случай обеспечить себе обед; но Дантес боялся, что ружейный выстрел привлечет кого-нибудь.

Он подумал, потом срубил смолистое дерево, зажег его от курившегося еще костра контрабандистов, на котором жарился козленок, и возвратился с этим факелом в пещеру.

Он не хотел упустить ни одной мелочи из того, что ему предстояло увидеть. Он поднес факел к выкопанному им бесформенному углублению и понял, что не ошибся: кирка в самом деле была попеременно то в железо, то в дерево.

Он воткнул свой факел в землю и снова принялся за работу.

В несколько минут Дантес расчистил пространство в три фута длиной и в два шириной и увидел сундук из дубового дерева, окованный чеканным железом. На крышке блестела не потускневшая под землей серебряная бляха с гербом рода Спада, – отвесно поставленный меч в овальном итальянском щите, увенчанном кардинальской шапкой.

Дантес легко узнал этот герб, – сколько раз аббат Фариа его рисовал!

Теперь уже не оставалось сомнений. Клад был здесь; никто не стал бы с такой тщательностью прятать пустой сундук.

В одну минуту Дантес расчистил землю вокруг сундука. Сначала показался верхний затвор, потом два висячих замка, потом ручки на боковых стенках. Все это было выточено с мастерством, отличавшим эпоху, когда искусство облагораживало грубый металл.

Дантес схватил сундук за ручки и попытался приподнять его, – тщетно.

Тогда он решил открыть сундук, но и затвор, и висячие замки были крепко заперты. Эти верные стражи, казалось, не хотели отдавать порученного им сокровища.

Дантес вдвинул острый конец кирки между стенкой сундука и крышкой, налег на рукоятку, и крышка, завизжав, треснула; широкий пролом ослабил железные полосы, они, в свою очередь, слетели, все еще сжимая своими цепкими когтями поврежденные доски, – и сундук открылся.

Лихорадочная дрожь охватила Дантеса. Он поднял ружье, взвел курок и положил его подле себя. Сперва он закрыл глаза, как это делают дети, чтобы увидеть в сверкающей ночи своего воображения больше звезд, чем они могут насчитать в еще светлом небе, потом открыл их и замер ослепленный.

В сундуке было три отделения.

В первом блистали красноватым отблеском золотые червонцы.

Во втором – уложенные в порядке слитки, необделанные, обладавшие только весом и ценностью золота.

Наконец, в третьем отделении, наполненном до половины, Эдмон погрузил руки в груды алмазов, жемчугов, рубинов, которые, падая друг на друга сверкающим водопадом, стучали, подобно граду, бьющему в стекла.

Насытившись этим зрелищем и несколько раз погрузив дрожащие руки в золото и драгоценные камни, Эдмон вскочил и в исступлении бросился вон из пещеры, как человек, близкий к безумию. Он взбежал на утес, с которого видно было море, и не увидел никого. Он был один, совершенно один, с этим неисчислимым, неслышанным, баснословным богатством, которое принадлежало ему. Но сон это или явь? Пригрезилось ему мимолетное видение или он сжимает в руках подлинную действительность?

Его тянуло снова увидеть свое золото, а между тем он чувствовал, что в эту минуту он бы не вынес этого зрелища. Он схватился обеими руками за голову, точно желая удержать рассудок, готовый покинуть его, потом бросился бежать по острову, не только не выбирая дороги, потому что на острове Монте-Кристо дорог нет, но даже без определенного направления, пугая диких коз и морских птиц своими криками и неистовыми движениями. Потом кружным путем он возвратился назад и, все еще не доверяя самому себе, бросился в первую пещеру, оттуда во вторую и опять увидел перед собой этот золотой и алмазный рудник.

На этот раз он упал на колени, судорожно прижимая руки к трепещущему сердцу и шепча молитву, внятную одному богу.

Немного погодя он стал спокойнее и вместе с тем счастливее; только теперь он начинал верить своему счастью. И он начал считать свое богатство. В сундуке оказалась тысяча золо-

тых слитков, каждый весом от двух до трех фунтов; потом он насчитал двадцать пять тысяч золотых червонцев, стоимостью каждый около восьмидесяти франков на нынешние деньги, все с изображением папы Александра VI и его предшественников, и при этом убедился, что только наполовину опустошил отделение; наконец, он обеими руками намерил десять пригоршней жемчуга, алмазов и других драгоценных камней, из которых многие, оправленные лучшими мастерами того времени, представляли художественную ценность, немалую даже по сравнению с их денежной стоимостью.

День уже склонялся к вечеру. Дантес заметил, что близятся сумерки. Он боялся быть застигнутым в пещере и вышел с ружьем в руках. Кусок сухаря и несколько глотков вина заменили ему ужин. Потом он положил плиту на прежнее место, лег на нее и проспал несколько часов, закрывая своим телом вход в пещеру.

Эта ночь была одной из тех сладостных и страшных ночей, которые уже два-три раза выпадали на долю этого буруеваемого страстями человека.

IV. Незнакомец

Наступило утро. Дантес давно уже ожидал его с открытыми глазами. С первым лучом солнца он встал и взобрался, как накануне, на самый высокий утес острова, чтобы осмотреть окрестности. Все было безлюдно, как и тогда.

Эдмон спустился, подошел к пещере и, отодвинув камень, вошел; он наполнил карманы драгоценными камнями, закрыл как можно плотнее крышку сундука, утоптал землю, посыпал ее песком, чтобы скрыть разрытое место, вышел из пещеры, заложил вход плитой, навалил на нее камни, промежутки между ними засыпал землей, посадил там миртовые деревца и вереск и полил их водой, чтобы они принялись и казались давно растущими здесь, затер следы своих ног и с нетерпением стал ожидать возвращения товарищей. Теперь уже незачем было тратить время на созерцание золота и алмазов и сидеть на острове, подобно дракону, стерегущему бесполезные сокровища. Теперь нужно было возвратиться в жизнь, к людям, и добиться положения, влияния и власти, которые даются в свете богатством, первою и величайшею силою, какую может располагать человек.

Контрабандисты возвратились на шестой день. Дантес еще издали по виду и ходу узнал «Юную Амелию»; он дотащился до пристани, подобно раненому Филоктету, и, когда его товарищи сошли на берег, объявил им, все еще жалуясь на боль, что ему гораздо лучше. Потом в свою очередь выслушал рассказы об их приключениях. Успех сопутствовал им; но едва они кончили выгрузку, как узнали, что сторожевой бриг вышел из Тулона и направился в их сторону. Тогда они поспешили уйти, жалея, что с ними нет Дантеса, который так искусно умел ускорять ход «Амелии». Вскоре они увидели бриг, который гнался за ними; но, пользуясь темнотою, они успели обогнуть мыс Корс и благополучно уйти.

В общем, плавание было удачным, и все они, в особенности Джакопо, жалели, что Дантес не участвовал в нем и не получил своей доли прибыли – причитающихся каждому пятидесяти пиастров.

Эдмон остался невозмутим; он даже не улыбнулся при исчислении выгод, которые он получил бы, если бы мог покинуть остров; а так как «Юная Амелия» пришла на Монте-Кристо только за ним, то он в тот же вечер перебрался на борт и последовал за капитаном в Ливорно.

Прибыв в Ливорно, он отправился к еврей-меняле и продал ему четыре из своих самых мелких камней по пяти тысяч франков каждый. Еврей мог бы спросить, откуда у матроса такие драгоценности, но промолчал, ибо на каждом камне он взял тысячу франков барыша.

На следующий день Дантес купил новую рыбацью лодку и подарил ее Джакопо, прибавив к этому подарку сто пиастров для найма матросов, с одним лишь условием, чтобы Джакопо

отправился в Марсель и привез ему вести о старике по имени Луи Дантес, живущем в Мельянских аллеях, и молодой женщине по имени Мерседес, живущей в селенье Каталаны.

Тут уже Джакопо решил, что видит сон; но Эдмон сказал ему, что он пошел в матросы из озорства, потому что его родные не давали ему денег, но что, прибыв в Ливорно, он получил наследство после дяди, который все свое состояние завещал ему. Высокая просвещенность Дантеса придавала убедительность этому рассказу, так что Джакопо ни минуты не сомневался, что недавний его товарищ сказал ему правду.

Затем, так как срок его службы на «Юной Амелии» истек, Дантес простился с капитаном, который хотел было удержать его, но, узнав про наследство, отказался от надежды уговорить своего бывшего матроса остаться на судне.

На другой день Джакопо отплыл в Марсель. Он условился с Дантесом встретиться на острове Монте-Кристо.

В тот же день уехал и Дантес, не сказав никому, куда он едет, щедро наградив на прощание экипаж «Юной Амелии» и обещав капитану когда-нибудь подать весточку о себе. Дантес поехал в Геную.

Здесь, в гавани, как раз испытывали маленькую яхту, заказанную одним англичанином, который, услышав, что генуэзцы лучшие кораблестроители на Средиземном море, пожелал иметь яхту генуэзской работы. Англичанин заказал ее за сорок тысяч франков; Дантес предложил за нее шестьдесят тысяч, с тем чтобы она была ему сдана в тот же день. В ожидании своей яхты англичанин отправился путешествовать по Швейцарии. Его ждали не раньше чем через месяц; строитель решил, что успеет тем временем приготовить другую. Дантес повел строителя в лавку к еврею, прошел с ним в заднюю комнату, и еврей отсчитал строителю шестьдесят тысяч франков.

Строитель предложил Дантесу свои услуги для найма экипажа. Но Дантес поблагодарил его, сказав, что имеет привычку плавать один, и просил его только сделать в каюте, у изголовья кровати, шкаф с секретным замком, разгороженный на три отделения, тоже с секретными замками. Он указал размеры этих отделений, и все было исполнено на следующий же день.

Два часа спустя Дантес выходил из генуэзского порта, провожаемый взорами любопытных, собравшихся посмотреть на испанского вельможу, который имел привычку плавать один.

Дантес справился превосходно: с помощью одного только руля он заставлял яхту исполнять все необходимые маневры, так что она казалась разумным существом, готовым повиноваться малейшему понуждению, и Дантес в душе согласился, что генуэзцы по справедливости заслужили звание первых кораблестроителей в мире.

Толпа провожала глазами яхту, пока не потеряла ее из виду, и тогда начались толки о том, куда она идет: одни говорили – на Корсику, другие – на Эльбу; иные бились об заклад, что она идет в Испанию; иные утверждали, что в Африку; но никому не пришло в голову назвать остров Монте-Кристо.

А между тем Дантес шел именно туда.

Он пристал к острову в конце второго дня. Яхта оказалась очень легка на ходу и сделала рейс в тридцать пять часов. Дантес отлично изучил очертания берегов и, не заходя в гавань, бросил якорь в маленькой бухточке.

Остров был пуст; по-видимому, никто не высаживался на нем с тех пор, как Дантес его покинул. Он вошел в пещеру и нашел клад в том же положении, в каком оставил его.

На следующий день несметные сокровища Дантеса были перенесены на яхту и заперты в трех отделениях потайного шкафа.

Дантес прождал еще неделю. Всю эту неделю он лавировал на яхте вокруг острова, объезжая ее, как берейтор объезжает лошадь. За эти дни он узнал все ее достоинства и все недостатки. Дантес решил усугубить первые и исправить последние.

На восьмой день Дантес увидел лодку, шедшую к острову на всех парусах, и узнал лодку Джакопо; он подал сигнал, на который Джакопо ответил, и два часа спустя лодка подошла к яхте.

Эдмона ждал печальный ответ на оба его вопроса.

Старик Дантес умер. Мерседес исчезла.

Эдмон спокойно выслушал эти вести; но тотчас же сошел на берег, запретив следовать за собой.

Через два часа он возвратился; два матроса с лодки Джакопо перешли на его яхту, чтобы управлять парусами; он велел взять курс на Марсель. Смерть отца он предвидел; но что случилось с Мерседес?

Эдмон не мог бы дать ни одному агенту исчерпывающих указаний, не открыв своей тайны; кроме того, он хотел получить еще некоторые другие сведения, а это мог сделать только он один. В Ливорно зеркало парикмахера показало ему, что ему нечего опасаться быть узнаваемым. К тому же в его распоряжении были теперь все средства изменить свой облик. И вот однажды утром парусная яхта Дантеса в сопровождении рыбацкой лодки смело вошла в марсельский порт и остановилась против того самого места, где когда-то, в роковой вечер, Эдмона посадили в шлюпку, чтобы отвезти в замок Иф.

Дантес не без трепета увидел подъезжавшего к нему в карантинной шлюпке жандарма. Но он с приобретенной им спокойной уверенностью подал ему английский паспорт, купленный в Ливорно, и с помощью этого иностранного пропуска, уважаемого во Франции гораздо более французских паспортов, беспрепятственно сошел на берег.

Первый, кого встретил Дантес на улице Каннебьер, был матрос с «Фараона». Этот человек некогда служил под его началом и, как нарочно, находился тут, чтобы Дантес мог убедиться в происшедшей в нем перемене. Дантес прямо подошел к матросу и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал так, как говорят с человеком, которого видят первый раз в жизни.

Дантес дал матросу монету в благодарность за сообщенные им сведения; минуту спустя он услышал, что добрый малый бежит за ним вслед.

Дантес обернулся.

– Прошу прощения, сударь, – сказал матрос, – но вы, должно быть, ошиблись; вы, верно, хотели дать мне двухфранковую монету, а вместо того дали двойной наполеондор.

– Ты прав, друг мой, я ошибся, – сказал Дантес, – но твоя честность заслуживает награды, и я прошу тебя принять от меня еще второй и выпить с товарищами за мое здоровье.

Матрос был так изумлен, что даже не поблагодарил Эдмона; он посмотрел ему вслед и сказал:

– Какой-нибудь набоб из Индии.

Дантес продолжал путь; с каждым шагом сердце его замирало все сильнее; воспоминания детства, неизгладимые, никогда не покидающие наши мысли, возникали перед ним на каждом углу, на каждом перекрестке. Дойдя до конца улицы Ноайль и увидев Мельянские аллеи, он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, и едва не попал под колеса проезжавшего экипажа. Наконец он подошел к дому, где когда-то жил его отец. Ломоносы и настирции исчезли с окна мансарды, где, бывало, старик так старательно ухаживал за ними.

Дантес прислонился к дереву и задумчиво смотрел на верхние этажи старого дома; наконец он подошел к двери, переступил порог, спросил, нет ли свободной квартиры, и, хотя комнаты в пятом этаже оказались заняты, выразил такое настойчивое желание осмотреть их, что привратник поднялся наверх и попросил у жильцов позволения показать иностранцу помещение. Эту квартирку, состоявшую из двух комнат, занимали молодожены, всего только неделю как повенчанные. При виде счастливой молодой четы Дантес тяжело вздохнул.

Впрочем, ничто не напоминало Дантесу отцовского жилища; обои были другие; все старые вещи, друзья его детства, встававшие в его памяти во всех подробностях, исчезли. Одни только стены были те же.

Дантес взглянул на кровать; она стояла на том же самом месте, что и кровать его отца. Глаза Эдмона невольно наполнились слезами: здесь старик испустил последний вздох, призывая сына.

Молодые супруги с удивлением смотрели на этого сурового человека, по неподвижному лицу которого катились крупные слезы. Но всякое горе священо, и они не задавали незнакомцу никаких вопросов. Они только отошли, чтобы не мешать ему, а когда он стал прощаться, проводили его, говоря, что он может приходить когда ему угодно и что они всегда рады будут видеть его в своей скромной квартирке.

Спустившись этажом ниже, Эдмон остановился перед другой дверью и спросил, тут ли еще живет портной Кадрусс. Но привратник ответил ему, что человек, о котором он спрашивает, разорился и держит теперь трактир на дороге из Бельгарда в Бокер.

Дантес вышел, спросил адрес хозяина дома, отправился к нему, велел доложить о себе под именем лорда Уилмора (так он был назван в паспорте) и купил у него весь дом за двадцать пять тысяч франков. Он переплатил по меньшей мере десять тысяч. Но если бы хозяин потребовал с Дантеса полмиллиона, он заплатил бы не торгуясь.

В тот же день молодые супруги, жившие в пятом этаже, были уведомлены нотариусом, совершившим купчую на дом, что новый хозяин предоставляет им на выбор любую квартиру в доме за ту же плату, если они уступят ему снятые ими две комнаты.

Это странное происшествие занимало в продолжение целой недели всех обитателей Мельянских аллей и породило тысячу догадок, из которых ни одна не соответствовала истине.

Но еще более смутило все умы и сбilo с толку то обстоятельство, что тот самый иностранец, который днем побывал в доме на Мельянских аллеях, вечером прогуливался по каталанской деревне и заходил в бедную рыбацью хижину, где пробыл более часа, расспрашивая о разных людях, которые умерли или исчезли уже лет пятнадцать тому назад.

На другой день рыбаки, к которым он заходил для расспросов, получили в подарок новую лодку, снабженную двумя неводами и ахатом.

Рыбакам очень хотелось поблагодарить великодушного посетителя, но они узнали, что накануне, поговорив с каким-то матросом, он сел на лошадь и выехал из Марселя через Экские ворота.

V. Трактир «Гарский мост»

Кто, как я, путешествовал пешком по Южной Франции, вероятно, видел между Бельгардом и Бокером, приблизительно на полпути между селением и городом, но все же ближе к Бокеру, чем к Бельгарду, небольшой трактир, где на висячей жестяной вывеске, скрипящей при малейшем дуновении ветра, презабавно изображен Гарский мост. Этот трактир, если идти по течению Роны, стоит по левую сторону от большой дороги, задней стеной к реке. При нем имеется то, что в Лангедоке называют садом, то есть огороженный участок земли на задворках, где чахнет несколько малорослых оливковых деревьев и диких смоковниц с посеребренной пылью листвой; между этими деревьями произрастают овощи, преимущественно чеснок, красный стручковый перец и лук; наконец, в углу, словно забытый часовой, высокая пиния одиноко возносит к небу свою вершину, потрескивающую на тридцатиградусном солнце.

Все эти деревья, большие и малые, искривлены от природы и крелятся в ту сторону, в которую дует мистраль – один из трех бичей Прованса; двумя другими, как известно, или как, может быть, неизвестно, считались Дюранса¹³ и парламент.

Кругом, на равнине, похожей на большое озеро пыли, произрастают там и сям редкие пшеничные колосья, которые местные садоводы, вероятно, выращивают из любопытства и которые служат насестом для цикад, преследующих своим пронзительным и однообразным треском путешественников, забредших в эту пустыню.

Уже лет семь этот трактир принадлежал супружеской паре, вся прислуга которой состояла из работницы по имени Тринетта и конюха, прозывавшегося Пако; впрочем, двух слуг было вполне достаточно, ибо, с тех пор как между Бокером и Эг-Мортом провели канал, барки победоносно заменили почтовых лошадей, а перевозное судно – дилижанс.

Этот канал, к вящей досаде бедного трактирщика, проходил между питающей его Роной и поглощаемой им дорогой в каких-нибудь ста шагах от трактира, который мы кратко, но верно только что описали.

Хозяин этого убогого трактирчика был человек лет сорока пяти, истый южанин – высокий, сухощавый и жилистый, с блестящими, глубоко сидящими глазами, орлиным носом и белыми, как у хищника, зубами. Волосы его, видимо, не желавшие сесть, несмотря на первые предостережения старости, были, как и его круглая борода, густые и курчавые и только кое-где тронуты сединой. Лицо его, от природы смуглое, стало почти черным вследствие привычки бедного малого торчать с утра до вечера на пороге и высматривать, не покажется ли – пеший или конный – какой-нибудь постоялец; ждал он обычно понапрасну, и ничто не защищало его лица от палящего зноя, кроме красного платка, повязанного вокруг головы, как у испанских погонщиков. Это был наш старый знакомый, Гаспар Кадрусс.

Жена его, звавшаяся в девицах Мадлена Радель, была женщина бледная, худая и хворая; она родилась в окрестностях Арля и сохранила следы былой красоты, которою славятся женщины того края; но лицо ее рано поблекло от приступов скрытой лихорадки, столь распространенной среди людей, живущих близ эг-мортских прудов и камаргских болот. Поэтому она почти никогда не выходила из комнаты во втором этаже и проводила целые дни, дрожа от лихорадки, полулежа в кресле или полусидя на кровати, между тем как муж ее, по обыкновению, стоял на часах у порога, весьма неохотно покидая свой пост, ибо каждый раз, когда он возвращался к своей сварливой половине, она донимала его вечными жалобами на судьбу, на что муж обычно отвечал философски:

– Молчи, Карконта! Видно, так богу угодно.

Прозвище «Карконта» произошло оттого, что Мадлена Радель родилась в деревне Карконте, между Салоном и Ламбеском; а так как в тех местах людей почти всегда называют не по имени, а по прозвищу, то и муж ее заменил этим прозвищем имя Мадлена, быть может, слишком нежное и благозвучное для его грубой речи.

Однако, несмотря на такую мнимую покорность воле провидения, не следует думать, будто наш трактирщик не сетовал на бедственное положение, в которое ввергнул его проклятый Бокерский канал, и равнодушно переносил беспрестанные причитания жены. Подобно всем южанам, он был человек весьма воздержанный и неприхотливый, но тщеславный во всем, что касалось внешности; во времена своего благоденствия он не пропускал ни одной феррады, ни одного шествия с тараском¹⁴ и торжественно появлялся со своей Карконтой: он – в живописном костюме южанина, представляющем нечто среднее между каталонским и андалузским, она – в прелестном наряде арлезианок, словно заимствованном у греков и арабов. Но мало-помалу часовые цепочки, ожерелья, разноцветные пояса, вышитые корсажи, бархатные куртки,

¹³ Приток Роны.

¹⁴ Феррада – провансальский праздник по случаю таврения быков; тараск – сказочное чудовище.

шелковые чулки с изящными стрелками, пестрые гетры, башмаки с серебряными пряжками исчезли, а Гаспар Кадрусс, лишенный возможности показываться в своем былом великолепии, отказался вместе с женой от участия в празднествах, чьи веселые отклики, терзая его сердце, долетали до убогого трактира, который он продолжал держать не столько ради доходов, сколько для того, чтобы иметь какое-нибудь занятие.

Кадрусс, по обыкновению, простоял уже пол-утра перед дверью трактира, переводя грустный взгляд от небольшого лужка, по которому бродили куры, к двум крайним точкам пустынной дороги, одним концом уходящей на юг, а другим – на север, – как вдруг пронзительный голос его жены заставил его покинуть свой пост. Он ворча вошел в трактир и поднялся во второй этаж, оставив, однако, дверь отворенной настежь, как бы приглашая проезжих завернуть к нему.

В ту минуту, когда Кадрусс входил в трактир, большая дорога, о которой мы говорили и на которую были устремлены его взоры, была пуста и безлюдна, как пустыня в полдень. Она тянулась бесконечной белой лентой меж двух рядов тощих деревьев, и ясно было, что ни один путник по своей воле не пустится в такой час по этой убийственной Сахаре.

Между тем, вопреки всякой вероятности, если бы Кадрусс остался на месте, он увидел бы, что со стороны Бельгарда приближается всадник тем благопристойным и спокойным аллюром, который указывает на наилучшие отношения между конем и седоком; всадник был священник, в черной сутане и треугольной шляпе, несмотря на палящий зной полуденного солнца; конь – мерин-иноходец – шел легкой рысцой. У дверей трактира священник остановился; трудно сказать, лошадь ли остановила езду или же ездок остановил лошадь; но, как бы то ни было, священник спешился и, взяв лошадь за поводья, привязал ее к задвижке ветхого ставня, державшегося на одной петле; потом, подойдя к двери и вытирая красным бумажным платком пот, градом катившийся по его лицу, он три раза постучал о порог кованым концом трости, которую держал в руке.

Тотчас же большая черная собака встала и сделала несколько шагов, заливаясь лаем и скаля свои белые острые зубы, – вдвойне враждебное поведение, доказывавшее, как мало она привыкла видеть посторонних.

Деревянная лестница, примыкавшая к стене, тотчас же затрещала под тяжелыми шагами хозяина убогого жилища; весь согнувшись, он задом спускался к стоявшему в дверях священнику.

– Иду, иду, – говорил весьма удивленный Кадрусс. – Да замолчишь ли ты, Марго! Не бойтесь, сударь, она хоть и лает, но не укусит. Вы желаете винца, не правда ли? Ведь жарато канальская... Ах, простите, – продолжал Кадрусс, увидев, с какого рода проезжим имеет дело. – Простите, я не рассмотрел, кого имею честь принимать у себя. Что вам угодно? Чем могу служить, господин аббат?

Аббат несколько секунд очень пристально смотрел на Кадрусса; казалось, он даже старался и сам обратить на себя его внимание. Но так как лицо трактирщика не выражало ничего, кроме удивления, что посетитель не отвечает, он счел нужным положить конец этой сцене и сказал с сильным итальянским акцентом:

– Не вы ли будете господин Кадрусс?

– Да, сударь, – отвечал хозяин, быть может, еще более удивленный вопросом, нежели молчанием, – я самый; Гаспар Кадрусс, ваш слуга.

– Гаспар Кадрусс?... Да... Кажется, так и есть. Вы жили когда-то в Мельянских аллеях, на четвертом этаже?

– Точно так.

– И занимались ремеслом портного?

– Да, но дело не пошло. В этом проклятом Марселе так жарко, что я думаю, там скоро вовсе перестанут одеваться. Кстати, о жаре; не угодно ли вам будет немного освежиться, господин аббат?

– Пожалуй. Принесите бутылку вашего самого лучшего вина, и мы продолжим наш разговор.

– Как прикажете, господин аббат, – сказал Кадрусс.

И чтобы не упустить случая продать одну из своих последних бутылок кагора, Кадрусс поспешил поднять люк, устроенный в полу комнаты, служившей одновременно и залой и кухней.

Когда пять минут спустя он снова появился, аббат уже сидел на табурете, опершись локтем на стол, между тем как Марго, которая, видимо, сменила гнев на милость, услышав, что странный путешественник спросил вина, положила ему на колени свою худую шею и смотрела на него умильными глазами.

– Вы один здесь живете? – спросил аббат у хозяина, когда тот ставил перед ним бутылку и стакан.

– Да, один, или почти один, господин аббат, так как жена мне не в помощь: она вечно хворает, моя бедная Карконта.

– Так вы женаты! – сказал аббат с оттенком участия, бросив вокруг себя взгляд, которым он словно оценивал скудное имущество бедной четы.

– Вы находите, что я небогат, не правда ли, господин аббат? – сказал, вздыхая, Кадрусс. – Но что поделаешь; мало быть честным человеком, чтобы благоденствовать на этом свете.

Аббат устремил на него пронизательный взгляд.

– Да, честным человеком; этим я могу похвалиться, господин аббат, – сказал хозяин, смотря аббату прямо в глаза и прижав руку к груди, – а в наше время не всякий может это сказать.

– Тем лучше, если то, чем вы хвалитесь, правда, – сказал аббат. – Я твердо верю, что рано или поздно честный человек будет вознагражден, а злой наказан.

– Вам по сану положено так говорить, господин аббат, – возразил Кадрусс с горечью, – а каждый волен верить или не верить вашим словам.

– Напрасно вы так говорите, сударь, – сказал аббат, – может быть, я сам докажу вам справедливость моих слов.

– Как это так? – удивленно спросил Кадрусс.

– А вот как: прежде всего мне нужно удостовериться, точно ли вы тот человек, в ком я имею надобность.

– Какие же доказательства вам надо?

– Знали ли вы в тысяча восемьсот четырнадцатом или в тысяча восемьсот пятнадцатом году моряка по имени Дантес?

– Дантес!.. Знал ли я беднягу Эдмона! Еще бы, да это был мой лучший друг! – воскликнул Кадрусс, густо покраснев, между тем как ясные и спокойные глаза аббата словно расширились, чтобы единым взглядом охватить собеседника.

– Да, кажется, его звали Эдмоном.

– Конечно, его звали Эдмон! Еще бы! Это так же верно, как то, что меня зовут Гаспар Кадрусс. А что с ним случилось, господин аббат, с бедным Эдмоном? – продолжал трактирщик. – Вы его знали? Жив ли он еще? Свободен ли? Счастлив ли?

– Он умер в тюрьме в более отчаянном и несчастном положении, чем каторжники, которые волочат ядро на тулонской каторге.

Смертельная бледность сменила разлившийся было по лицу Кадрусса румянец. Он отвернулся, и аббат увидел, что он вытирает слезы уголком красного платка, которым была повязана его голова.

– Бедняга! – пробормотал Кадрусс. – Вот вам еще доказательство в подтверждение моих слов, господин аббат, что бог милостив только к дурным людям. Да, – продолжал Кадрусс, – свет становится день ото дня хуже. Пусть бы небеса послали на землю сперва серный дождь, потом огненный – и дело с концом!

– Видимо, вы от души любили этого молодого человека, – сказал аббат.

– Да, я его очень любил, – сказал Кадрусс, – хотя должен покаяться, что однажды позабывал его счастьем, но после, клянусь вам честью, я горько жалел о его несчастной участи.

На минуту воцарилось молчание, в продолжение которого аббат не отводил пристального взора от выразительного лица трактирщика.

– И вы знали беднягу? – спросил Кадрусс.

– Я был призван к его смертному одру и подал ему последние утешения веры, – отвечал аббат.

– А отчего он умер? – спросил Кадрусс сдавленным голосом.

– Отчего умирают в тюрьме на тридцатом году жизни, как не от самой тюрьмы?

Кадрусс отер пот, струившийся по его лицу.

– Всего удивительнее, – продолжал аббат, – что Дантес на смертном одре клялся мне перед распятием, которое он лобызал, что ему неизвестна истинная причина его заточения.

– Верно, верно, – прошептал Кадрусс, – он не мог ее знать. Да, господин аббат, бедный мальчик сказал правду.

– Потому-то он и поручил мне доискаться до причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-либо запятнано.

И взгляд аббата, становившийся все пристальнее, впился в омрачившееся лицо Кадрусса.

– Один богатый англичанин, – продолжал аббат, – его товарищ по несчастью, выпущенный из тюрьмы при второй реставрации, обладал алмазом большой ценности. При выходе из тюрьмы он подарил этот алмаз Дантесу в благодарность за то, что во время его болезни тот ухаживал за ним, как за родным братом. Дантес, вместо того чтобы подкупить тюремщиков, которые, впрочем, могли бы взять награду, а потом выдать его, бережно хранил камень при себе на случай своего освобождения; если бы он вышел из тюрьмы, он сразу стал бы богачом, продав этот алмаз.

– Так вы говорите, – спросил Кадрусс, глаза которого разгорелись, – что это был алмаз большой ценности?

– Все в мире относительно, – отвечал аббат. – Для Эдмона это было богатство; его оценивали в пятьдесят тысяч франков.

– Пятьдесят тысяч франков! – вскричал Кадрусс. – Так он был с грецкий орех, что ли?

– Нет, поменьше, – отвечал аббат, – но вы сами можете об этом судить, потому что он со мною.

Глаза Кадрусса, казалось, шарили под платьем аббата, разыскивая камень.

Аббат вынул из кармана коробочку, обтянутую черной шагреновой кожей, раскрыл ее и показал изумленному Кадруссу сверкающий алмаз, вправленный в перстень чудесной работы.

– И это стоит пятьдесят тысяч франков?

– Без оправы, которая сама по себе довольно дорога, – отвечал аббат.

Он закрыл футляр и положил в карман алмаз, продолжавший сверкать в воображении Кадрусса.

– Но каким образом этот камень находится в ваших руках, господин аббат? – спросил Кадрусс. – Разве Эдмон назначил вас своим наследником?

– Не наследником, а душеприказчиком. «У меня было трое добрых друзей и невеста, – сказал он мне, – я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне; один из этих друзей звался Кадрусс».

Кадрусс вздрогнул.

– «Другого, – продолжал аббат, делая вид, что не замечает волнения Кадрусса, – звали Данглар, третий, прибавил он, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня».

Дьявольская улыбка появилась на губах Кадрусса; он хотел прервать аббата.

– Постойте, – сказал аббат, – дайте мне кончить, и, если вы имеете что сказать мне, вы скажете потом. «Третий, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня, и звали его Фернан; а мою невесту звали...» Я забыл имя невесты, – сказал аббат.

– Мерседес, – сказал Кадрусс.

– Да, да, совершенно верно, – с подавленным вздохом подтвердил аббат, – Мерседес.

– Ну, и что же дальше? – спросил Кадрусс.

– Дайте мне графин с водой, – сказал аббат.

Кадрусс поспешил исполнить его желание.

Аббат налил воды в стакан и отпил несколько глотков.

– На чем мы остановились? – спросил он, поставив стакан на стол.

– Невесту звали Мерседес.

– Да, да. «Вы поедете в Марсель...» Это все Дантес говорил, вы понимаете?

– Понимаю.

– «Вы продадите этот алмаз и разделите вырученные за него деньги между моими пятью друзьями, единственными людьми, любившими меня на земле».

– Как так пятью? – сказал Кадрусс. – Вы называли мне только четверых.

– Потому что пятый умер, как мне сказали... Пятый был отец Дантеса.

– Увы, это верно, – сказал Кадрусс, раздираемый противоречивыми чувствами, – бедный старик умер.

– Я узнал об этом в Марселе, – отвечал аббат, стараясь казаться равнодушным, – но смерть его произошла так давно, что я не мог узнать никаких подробностей... Может быть, вы что-нибудь знаете о смерти старика?

– Кому и знать, как не мне? – сказал Кадрусс. – Я был его соседом... О господи! Не прошло и года после исчезновения его сына, как бедный старик умер!

– А отчего он умер?

– Доктора называли его болезнь... кажется, воспалением желудка; люди, знавшие его, говорили, что он умер с горя... а я, который видел, как он умирал, я говорю, что он умер...

Кадрусс запнулся.

– Отчего? – с тревогой спросил аббат.

– С голоду он умер!

– С голоду? – вскричал аббат, вскакивая на ноги. – С голоду! Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает кусок хлеба, а человек, христианин, умирает с голоду среди других людей, также называющих себя христианами! Невозможно! Это невозможно!

– Я вам говорю правду, – сказал Кадрусс.

– И напрасно, – послышался голос с лестницы. – Чего ты суешься не в свое дело?

Собеседники обернулись и увидели сквозь перила лестницы бледное лицо Карконты; она притаилась сюда из своей каморки и подслушивала их разговор, сидя на верхней ступеньке и опершись головой на руки.

– А ты сама чего суешься не в свое дело, жена? – сказал Кадрусс. – Господин аббат просит у меня сведений; учтивость требует, чтобы я их сообщил ему.

– А благоразумие требует, чтобы ты молчал. Почему ты знаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают, дуралей?

– С наилучшими, сударыня, – сказал аббат, – ручаюсь вам. Вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он говорил чистосердечно.

– Знаем мы это... Начинают со всяких обещаний, потом довольствуются тем, что просят не опасаться, потом уезжают, не исполнив обещанного, а в одно прекрасное утро неведомо откуда на тебя сваливается беда.

– Будьте спокойны, – отвечал аббат, – уверяю вас, что из-за меня вам не будет никакой беды.

Карконта проворчала еще что-то, чего нельзя было разобрать, снова опустила голову на руки и, трясаясь в лихорадке, предоставила мужу продолжать разговор, впрочем, стараясь не пропустить ни слова.

Между тем аббат выпил немного воды и успокоился.

– Неужели, – снова начал он, – этот бедный старик был так всеми покинут, что умер голодной смертью?

– О нет, – отвечал Кадрусс, – каталанка Мерседес и господин Моррель не покинули его; но бедный старик вдруг возненавидел Фернана, того самого, – прибавил Кадрусс с насмешливой улыбкой, – которого Дантес называл вам своим другом.

– А разве он не был ему другом? – спросил аббат.

– Гаспар! Гаспар! – сказала больная со ступеньки лестницы. – Подумай раньше, чем говорить!

Кадрусс с досадой махнул рукой и не удостоил жену ответом.

– Можно ли быть другом человека, у которого хочешь отбить женщину? – ответил он аббату. – Дантес по доброте сердечной называл всех этих людей друзьями... Бедный Эдмон! Впрочем, лучше, что он ничего не узнал; ему трудно было бы простить им на смертном одре... И что бы там ни говорили, – продолжал Кадрусс, речь которого была не чужда своего рода грубоватой поэзии, – а я все же больше боюсь проклятия мертвых, чем ненависти живых.

– Болван! – сказала Карконта.

– А вам известно, – продолжал аббат, – что этот Фернан сделал?

– Известно ли? Разумеется, известно!

– Так говорите.

– Твоя воля, Гаспар, – сказала жена, – делай как знаешь, но только лучше бы тебе помолчать.

– На этот раз ты, пожалуй, права, – сказал Кадрусс.

– Итак, вы не хотите говорить? – продолжал аббат.

– К чему? – отвечал Кадрусс. – Если бы бедняга Эдмон был жив и пришел ко мне узнать раз навсегда, кто ему друг, а кто враг, тогда другое дело; но вы говорите, что он в могиле; он уже не может ненавидеть, не может мстить; а потому бросим все это.

– Так вы хотите, – сказал аббат, – чтобы этим людям, которых вы считаете вероломными и ложными друзьями, досталась награда за верную дружбу?

– Вы правы, – сказал Кадрусс. – Притом же, что значило бы для них наследство бедного Эдмона? Капля в море!

– Не говоря уже о том, что эти люди могут раздавить тебя одним пальцем, – сказала жена.

– Вот как? Разве эти люди могущественны и богаты?

– Так вы ничего про них не знаете?

– Нет. Расскажите мне.

Кадрусс задумался.

– Нет, знаете, это было бы слишком длинно.

– Как хотите, друг мой, можете ничего не говорить, – сказал аббат с видом полнейшего равнодушия, – я уважаю ваши колебания. Вы поступаете, как должен поступать добрый человек; не будем больше об этом говорить. Что мне было поручено? Исполнить последнюю волю умирающего. Итак, я продам этот алмаз.

И он снова вынул футляр из кармана, открыл его, и снова камень засверкал перед восхищенными глазами Кадрусса.

– Поди-ка сюда, жена, погляди, – проговорил он хриплым голосом.

– Алмаз? – спросила Карконта, вставая. Довольно твердыми шагами она спустилась с лестницы. – Что это за алмаз?

– Разве ты не слыхала? – сказал Кадрусс. – Этот алмаз Эдмон завещал нам: во-первых, своему отцу, потом трем друзьям: Фернану, Данглару и мне – и своей невесте Мерседес. Алмаз стоит пятьдесят тысяч франков.

– Ах, какой чудесный камень! – сказала она.

– Так, значит, пятая часть этой суммы принадлежит нам? – спросил Кадрусс.

– Да, – отвечал аббат, – с прибавкой за счет доли отца Дантеса, которую я считаю себя вправе разделить между вами четырьмя.

– А почему же между четырьмя? – спросила Карконта.

– Потому что вас четверо друзей Эдмона.

– Предатели – не друзья! – глухо проворчала Карконта.

– Это самое и я говорил, – сказал Кадрусс. – Награждать предательство, а то и преступление – это грех, это даже кощунство.

– Вы сами этого хотите, – спокойно отвечал аббат, снова пряча алмаз в карман своей сутаны. – Теперь дайте мне адреса друзей Эдмона, чтобы я мог исполнить его последнюю волю.

Пот градомкатился по лицу Кадрусса. Аббат встал, подошел к двери, чтобы взглянуть на лошадь, и снова вернулся на свое место. Кадрусс и его жена смотрели друг на друга с неизъяснимым выражением.

– Алмаз мог бы достаться нам одним, – сказал Кадрусс.

– Ты думаешь? – сказала жена.

– Духовная особа не станет нас обманывать.

– Делай как хочешь, – сказала Карконта, – мое дело – сторона.

И она опять пошла на лестницу, дрожа от лихорадки. Зубы ее стучали, несмотря на жару. На последней ступеньке она задержалась.

– Подумай хорошенько, Гаспар, – сказала она.

– Я решил, – отвечал Кадрусс.

Карконта со вздохом скрылась в своей комнате; слышно было, как пол заскрипел под ее ногами и как затрещало кресло, в которое она упала.

– На что это вы решились? – спросил аббат.

– Рассказать вам все, – отвечал Кадрусс.

– По правде сказать, мне кажется, это лучшее, что вы можете сделать, – сказал священник. – Не потому, чтобы мне хотелось узнать то, что вы предпочли бы скрыть от меня, а потому, что будет лучше, если вы мне поможете разделить наследство согласно с волей завещателя.

– Надеюсь, что так, – отвечал Кадрусс, щеки которого пылали от надежды и алчности.

– Я вас слушаю, – произнес аббат.

– Постойте, – сказал Кадрусс, – нас могут некстати прервать, и это будет неприятно. Притом же другим незачем знать, что вы были здесь.

Он подошел к двери, запер ее и для большей верности наложил ночной засов. Между тем аббат выбрал себе удобное местечко; он уселся в уголок, чтобы оставаться в тени, в то время как свет будет падать на лицо собеседника. Опустив голову и сложив, или, вернее, стиснув, руки, он весь превратился в слух.

Кадрусс придвинул табурет и сел против него.

– Помни, что не я тебя заставила! – послышался дрожащий голос Карконты, словно она видела сквозь половицы, что происходит внизу.

– Ладно, ладно, – сказал Кадрусс, – довольно; я все беру на себя.

И он начал.

VI. Рассказ Кадрусса

– Прежде всего, – сказал Кадрусс, – я должен просить вас, господин аббат, дать мне одно обещание.

– Какое? – спросил аббат.

– Если вы когда-нибудь воспользуетесь сведениями, которые я сообщу, то никто не должен знать, что вы получили их от меня; люди, о которых я буду говорить, богаты и могущественны, и если они дотронутся до меня хоть пальцем, то раздавят меня, как стекло.

– Будьте спокойны, друг мой, – сказал аббат, – я священник, и тайны умирают в моей груди; помните, что у нас нет другой цели, как только достойным образом исполнить последнюю волю нашего друга. Говорите, не щадя никого, но и без ненависти; говорите правду, только правду. Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю тех людей, о которых вы мне расскажете. К тому же я итальянец, а не француз, принадлежу богу, а не людям; я возвращаюсь в свой монастырь, из которого вышел, единственно чтобы исполнить последнюю волю умершего.

Эти убедительные доводы, по-видимому, вселили в Кадрусса немного уверенности.

– В таком случае я хочу, я должен разуверить вас в этой дружбе, которую бедный Эдмон считал такой искренней и верной.

– Прошу вас, начните с его отца, – сказал аббат. – Эдмон много говорил мне о старике, он питал к нему горячую любовь.

– Это печальная история, – сказал Кадрусс, качая головой, – начало вы, верно, знаете.

– Да, – отвечал аббат. – Эдмон рассказал мне все, что было до той минуты, когда его арестовали в маленьком трактире в окрестностях Марсея.

– В «Резерве»? Я как сейчас все это вижу.

– Ведь это был чуть ли не день обручения?

– Да, и обед, весело начавшийся, кончился печально: вошел полицейский комиссар с четырьмя солдатами и арестовал Дантеса.

– На этом и кончаются мои сведения, – сказал священник. – Дантес знал только то, что относилось лично к нему, потому что он никогда уже больше не видел никого из тех, кого я вам назвал, и ничего о них не слышал.

– Так вот. Когда Дантеса арестовали, господин Моррель поспешил в Марсель, чтобы узнать, в чем дело, и получил очень грустные сведения. Старик отец возвратился домой один, рыдая, снял с себя парадное платье, целый день ходил взад и вперед по комнате и так и не ложился спать. Я жил тогда под ним и слышал, как он всю ночь ходил по комнате; признаться, я и сам не спал: горе несчастного отца очень меня мучило, и каждый его шаг разрывал мне сердце, словно он и в самом деле наступал мне на грудь.

На другой день Мерседес пришла в Марсель просить господина де Вильфор о заступничестве; она ничего не добилась, но заодно зашла поведать старика; увидев его таким мрачным и унылым и узнав, что он не спал всю ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увести его с собой, чтобы позаботиться о нем. Но старик ни за что не соглашался.

«Нет, – говорил он, – я не покину своего дома. Мой бедный сын любит меня больше всех на свете, и, если его выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне. Что он скажет, если не найдет меня дома?»

Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над моей головой, не давали мне ни минуты покоя.

– А разве вы сами не заходили к старику, чтобы его утешить? – спросил священник.

– Ах, господин аббат! – отвечал Кадрусс. – Можно утешать того, кто ищет утешения; а он его не искал. Притом же, право, не знаю почему, но мне казалось, что он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услышав его рыдания, я не выдержал и поднялся наверх; но когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился. Каких он только не находил красноречивых слов и жалобных выражений, я вам и сказать не могу, господин аббат; это было больше, чем молитва, больше, чем скорбь; и так как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе: «Счастье мое, что я один и что бог не дал мне детей; если бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот несчастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего того, что он говорит господу богу, я бы прямехонько пошел и бросился в море, чтобы уйти от страданий».

– Бедный отец! – прошептал священник.

– С каждым днем он все больше уединялся; часто господин Моррель и Мерседес приходили навестить его, но дверь его была заперта; я знал, что он дома, но он не отвечал им. Однажды, когда он, против своего обыкновения, принял Мерседес и бедная девушка, сама в полном отчаянии, пыталась ободрить его, он сказал:

«Поверь мне, дочь моя, он умер; не нам его ждать, а он нас ждет; мне хорошо, потому что я много старше тебя и, конечно, первый с ним встречусь».

Как бы человек ни был добр, он перестает навещать людей, на которых тяжело смотреть. Кончилось тем, что старик Дантес остался в полном одиночестве. Я больше не видел, чтобы кто-нибудь подымался к нему, кроме каких-то неизвестных людей, которые время от времени заходили к нему и затем потихоньку спускались с узлами. Я скоро догадался, что было в этих узлах: он продавал мало-помалу все, что имел, для насущного хлеба. Наконец бедняга дошел до своего последнего скарба. Он задолжал за квартиру; хозяин грозился выгнать его; он попросил подождать еще неделю, и тот согласился; я знаю это от самого хозяина, он зашел ко мне, выходя от старика.

После этого я еще три дня слышал, как он по-прежнему расхаживает по комнате, но на четвертый день я уже ничего не слышал. Я решил зайти к нему; дверь была заперта. В замочную скважину я увидел его бледным и изнуренным и подумал, что он захворал; я уведомил господина Морреля и побежал за Мерседес. Оба тотчас же пришли. Господин Моррель привел с собой доктора; доктор нашел у больного желудочно-кишечное воспаление и предписал ему диету. Я был при этом, господин аббат, и никогда не забуду улыбки старика, когда он услышал это предписание. С тех пор он уже не запирает двери: у него было законное основание не есть; доктор предписал ему диету.

У аббата вырвался подавленный стон.

– Мой рассказ вас занимает, господин аббат? – спросил Кадрусс.

– Да, – отвечал аббат, – он очень трогателен.

– Мерседес пришла во второй раз; она нашла в нем такую перемену, что, как и в первый раз, хотела взять его к себе. Господин Моррель был того же мнения и хотел перевезти его силой. Но старик так страшно кричал, что они испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин Моррель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с деньгами на камине. Но старик, вооруженный докторским предписанием, ничего не хотел есть. Наконец после девятидневного поста он умер, проклиная тех, кто был причиной его несчастья. Он говорил Мерседес:

«Если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему, что я умер, благословляя его».

Аббат встал, прошелся два раза по комнате, прижимая дрожащую руку к пересохшему горлу.

– И вы полагаете, что он умер...

– С голоду, господин аббат, с голоду! – отвечал Кадрусс. – Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами христиане.

Аббат судорожно схватил наполовину полный стакан с водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и бледным лицом снова сел на свое место.

- Согласитесь, что это большое несчастье, – сказал он глухим голосом.
- Тем более что не бог, а люди ему причиной.
- Перейдемте же к этим людям, – сказал аббат. – Но помните, – добавил он почти угрожающим голосом, – что вы обязались сказать мне все. Так что же эти люди, которые умертвили сына отчаянием, а отца голодом?
- Двое его завистников: один – из-за любви, другой – из честолюбия: Фернан и Данглар.
- До чего довела их зависть? Говорите!
- Они донесли на Эдмона, что он бонапартистский агент.
- Но кто из них донес на него? Кто подлинный виновник?
- Оба, господин аббат; один написал письмо, другой отнес его на почту.
- А где было написано это письмо?
- В самом «Резерве», накануне свадьбы.
- Так и есть! – прошептал аббат. – О Фариа, Фариа! Как ты знал людей и их дела!
- Что вы говорите? – спросил Кадрусс.
- Ничего, – отвечал аббат, – продолжайте.
- Данглар написал донос левой рукой, чтобы не узнали его почерка, а Фернан отнес на почту.
- Но и вы были при этом! – воскликнул вдруг аббат.
- Я? – отвечал удивленный Кадрусс. – Кто вам сказал, что я был при этом?
- Аббат увидел, что зашел слишком далеко.
- Никто не говорил, – сказал он, – но, чтобы знать такие подробности, нужно было быть при этом.
- Вы правы, – сказал Кадрусс глухим голосом, – я был при этом.
- И вы не воспротивились этой гнусности? – сказал аббат. – Тогда вы их сообщник.
- Господин аббат, – отвечал Кадрусс, – они напоили меня до того, что я почти совсем лишился рассудка. Я видел все как в тумане. Я говорил им все, что может сказать человек в таком состоянии, но они отвечали мне, что это только шутка с их стороны и что эта шутка не будет иметь никаких последствий.
- Но на следующий день, сударь, на следующий день вы увидели, что она все же имела последствия. Однако вы промолчали, хотя были при том, как арестовали Дантеса.
- Да, господин аббат, я был при этом и хотел говорить; я хотел все рассказать, но Данглар удержал меня.
- «А если окажется, – сказал он мне, – что он виновен, что он в самом деле был на Эльбе и ему поручили передать письмо бонапартистскому комитету в Париже, если это письмо при нем найдут, то ведь на его заступников будут смотреть как на его сообщников».
- Я побоялся в такие времена быть замешанным в политическое дело и промолчал; сознаюсь, эта была подлая трусость с моей стороны, но не преступление.
- Понимаю; вы умыли руки, вот и все.
- Да, господин аббат, – отвечал Кадрусс, – и совесть мучит меня за это день и ночь. Клянусь вам, я часто молю бога, чтобы он простил мне, тем более что это преступление – единственное за всю мою жизнь, в котором я серьезно виню себя, – несомненно, причина всех моих бед. Я расплачиваюсь за минуту слабости; поэтому-то я всегда говорю Карконтэ, когда она жалуется на судьбу: «Молчи, жена, видно, так богу угодно».
- И Кадрусс с искренним раскаянием опустил голову.
- Ваше чистосердечие заслуживает похвалы, – сказал аббат, – кто так кается, тот достоин прощения.
- К несчастью, – прервал Кадрусс, – Эдмон умер, не простив меня.
- Он ничего не знал... – сказал аббат.
- Но теперь он, может быть, знает, – возразил Кадрусс, – говорят, мертвые знают все.

Наступило молчание. Аббат встал и в задумчивости прохаживался по комнате, потом возвратился на свое место и снова сел.

– Вы мне уже несколько раз называли какого-то господина Морреля, – сказал он. – Кто это такой?

– Это владелец «Фараона», хозяин Дантеса.

– А какую роль играл этот человек во всем этом печальном деле? – спросил аббат.

– Роль честного человека, мужественного и отзывчивого. Он раз двадцать ходатайствовал за Дантеса. Когда возвратился император, он писал, умолял, грозил, так что при второй реставрации его самого сильно преследовали за бонапартизм. Десять раз, как я вам уже говорил, он приходил к отцу Дантеса с намерением взять его к себе, а накануне или за два дня до его смерти, как я тоже вам уже говорил, он оставил на камине кошелек с деньгами; из этих денег заплатили долги старика и на них же его похоронили, так что бедняга мог по крайней мере умереть так же, как жил, не будучи никому в тягость. У меня и по сей день хранится этот кошелек, большой красный кошелек, вязаный.

– Этот господин Моррель жив? – спросил аббат.

– Жив, – сказал Кадрусс.

– И, верно, небо благословило его – он богат, счастлив?..

Кадрусс горько усмехнулся.

– Счастлив вроде меня, – сказал он.

– Как, господин Моррель несчастлив? – воскликнул аббат.

– Он на краю нищеты, господин аббат, и, что еще хуже, ему грозит бесчестие.

– Почему?

– Дело в том, – начал Кадрусс, – что после двадцатипятилетних трудов, заняв самое почетное место среди марсельских купцов, господин Моррель разорен дотла. Он потерял в два года пять кораблей, стал жертвой трех банкротств, и теперь вся его надежда на этот самый «Фараон», которым командовал бедный Дантес; он скоро должен возвратиться из Индии с грузом кошенили и индиго. Если этот корабль потонет, как и другие, господин Моррель погиб.

– А есть ли у этого несчастного жена, дети?

– Да, у него есть жена, которая все переносит, как святая; у него есть дочь, которая хотела выйти замуж за любимого человека, но теперь родители не позволяют ему жениться на обедневшей девушке. Кроме того, у него есть сын, офицер; но вы понимаете, что все это только усугубляет горе несчастного, а не утешает его. Если бы он был один, он пустил бы себе пулю в лоб, и кончено.

– Это ужасно! – прошептал аббат.

– Вот как господь награждает добродетель, господин аббат, – сказал Кадрусс. – Посмотрите на меня; я не сделал ни одного худого дела, кроме того, в чем я вам повинился, и я дошел до нищеты. Мне суждено увидеть, как моя бедная жена умрет от лихорадки, и я ничем не смогу ей помочь, а сам я умру с голоду, как умер старик Дантес, между тем как Фернан и Данглар купаются в золоте.

– Как так?

– Потому что им повезло, а честным людям никогда не везет.

– Что же случилось с Дангларом, с главным виновником? Ведь он подстрекатель, правда?

– Что с ним случилось? Он уехал из Марселя и, по рекомендации господина Морреля, который ничего не знал о его преступлении, нанялся к одному испанскому банкиру. Во время испанской войны он занимался поставками на французскую армию и разбогател; потом он стал играть на бирже и таким образом утроил свой капитал, а потеряв жену, дочь своего банкира, женился на вдове, госпоже де Наргонн, дочери камергера нынешнего короля, господина де Сервьё, который сейчас в большой милости. Он стал миллионером, его сделали бароном, так

что он теперь барон Данглар; у него особняк на улице Монблан, десять лошадей на конюшне, шесть лакеев в передней и не знаю уж сколько миллионов в сундуках.

– Вот оно что! – сказал аббат со странной интонацией. – И что же, он счастлив?

– Счастлив? Кто может это знать? Счастье или несчастье, про это знают стены; у стен есть уши, но нет языка. Если богатство составляет счастье, так Данглар счастлив.

– А Фернан?

– О, Фернану, тому еще пуще повезло.

– Но каким образом мог разбогатеть и выйти в люди бедный каталанский рыбак, без всяких средств, без образования? Признаюсь, это меня удивляет.

– Это и всех удивляет; вероятно, в его жизни есть какая-то тайна, которой никто не знает.

– Но какими видимыми путями дошел он до большого богатства или до высокого положения?

– Он дошел и до того и до другого, господин аббат, и до богатства и до высокого положения.

– Так только в сказках бывает!

– Правда, это похоже на сказку, но послушайте, и вы все поймете.

За несколько дней до возвращения императора Фернан попал в рекруты. Бурбоны не трогали его. Но вернулся Наполеон, был издан указ о чрезвычайном наборе, и Фернану пришлось идти в армию. Я тоже пошел; но так как я был старше Фернана и только что женился на моей несчастной жене, меня назначили охранять побережье. Фернан, тот попал в действующую армию, пошел с полком на границу и участвовал в сражении при Линьи.

В ночь после сражения он состоял ординарцем при одном генерале, имевшем тайные сношения с неприятелем. В ту самую ночь генерал должен был перебежать к англичанам; он предложил Фернану сопровождать его. Фернан согласился, ушел с поста и последовал за генералом.

Поступок, за который Фернана предали бы военному суду, если бы Наполеон остался на троне, был вменен ему в заслугу при Бурбонах. Он возвратился во Францию с эполетами подпоручика, и так как этот генерал, который был в большой милости у короля, не оставлял его своим покровительством, то его произвели в капитаны в тысяча восемьсот двадцать третьем году, во время испанской войны, то есть в то самое время, когда Данглар пустился в свои первые коммерческие спекуляции. Фернан был родом испанец; а потому он был послан в Мадрид, чтобы узнать, каково настроение умов. Там он встретился с Дангларом, столковался с ним, обещал своему генералу содействие роялистов в столице и в провинции, заручился от него обещаниями, взял на себя, со своей стороны, некоторые обязательства, провел свой полк по одному ему известным ущельям, охраняемым роялистами, – одним словом, оказал в этом кратковременном походе такие услуги, что после взятия Трокадеро его произвели в полковники и наградили офицерским крестом Почетного легиона и титулом графа.

– О судьба, судьба! – прошептал аббат.

– Да; но послушайте, это еще не все. Испанская война кончилась, длительный мир, который обещал воцариться в Европе, мог повредить карьере Фернана. Одна только Греция восстала против Турции и начала войну за независимость; общее внимание устремлено было на Афины. Тогда было в моде жалеть и поддерживать греков. Французское правительство, не покровительствуя им открыто, позволяло, как вам известно, оказывать им частную помощь. Фернан испросил разрешения отправиться в Грецию, продолжая в то же время числиться в армии.

Через некоторое время узнали, что граф де Морсер, – он носил это имя, – поступил на службу к Али-паше в чине генерал-инструктора. Али-паша, как вам известно, был убит; но перед смертью он щедро наградил Фернана; Фернан возвратился во Францию и был утвержден в чине генерал-лейтенанта.

– Так что теперь?.. – спросил аббат.

– Так что теперь, – продолжал Кадрусс, – он живет в великолепном особняке в Париже, по улице Эльдер, номер двадцать семь.

Аббат хотел что-то сказать, но остановился в нерешимости; наконец, сделав над собою усилие, он спросил:

– А Мерседес? Я слышал, что она скрылась?

– Скрылась! – отвечал Кадрусс. – Да, как скрывается солнце, чтобы утром вновь появиться в еще большем блеске.

– Уж не улыбнулось ли счастье и ей? – спросил аббат, иронически усмехаясь.

– Мерседес одна из первых дам парижского света, – сказал Кадрусс.

– Продолжайте, – сказал аббат, – я словно слушаю рассказ о каком-то сновидении. Но я сам видел столько необыкновенного, что ваш рассказ не очень меня удивляет.

– Мерседес сначала была в отчаянии от внезапного удара, разлучившего ее с Эдмоном. Я уже говорил вам о том, как она умоляла господина де Вильфор и как преданно заботилась об отце Дантеса. Отчаяние ее усугубилось новой горестью: отъездом Фернана в полк; она не знала об его преступлении и любила его как брата.

Фернан уехал, Мерседес осталась одна.

Три месяца провела она в слезах; никаких вестей ни об Эдмоне, ни о Фернани; никого, кроме умирающего от горя старика.

Однажды, просидев целый день, по своему обыкновению, на распутье двух дорог, ведущих из Марселя в Каталаны, она вернулась домой вечером, еще более убитая, чем когда-либо; ни ее возлюбленный, ни ее друг не вернулись к ней ни по одной из этих дорог, и она не получала вестей ни о том, ни о другом.

Вдруг ей послышались знакомые шаги. Она с волнением оглянулась, дверь отворилась, и она увидела перед собою Фернана в мундире подпоручика.

Хоть она тосковала и плакала не о нем, но ей показалось, что часть ее прежней жизни вернулась к ней. Мерседес схватила Фернана за руки с такой радостью, что он принял ее за любовь; но это была только радость от мысли, что она не одна на свете и что наконец после долгих дней одиночества видит перед собой друга. И притом надобно сказать, что Фернан никогда не внушал ей отвращения; он не внушал ей любви, только и всего. Сердце Мерседес принадлежало другому, этот другой был далеко... исчез... умер, быть может. При этой мысли Мерседес рыдала и в отчаянии ломала руки. Но эта мысль, которую она прежде отвергала, когда кто-нибудь другой высказывал ее, теперь сама собой приходила ей в голову. И старый Дантес не переставал твердить ей: «Наш Эдмон умер, если бы он был жив, то возвратился бы к нам».

Старик умер, как я вам уже сказал. Если бы он остался жив, то, может быть, Мерседес никогда не вышла бы за другого. Старик стал бы упрекать ее в неверности. Фернан понимал это. Узнав о смерти старика, он возвратился. На этот раз он явился в чине поручика. В первое свое возвращение он не сказал Мерседес ни слова о любви; во второе он напомнил ей, что любит ее. Мерседес попросила у него еще полгода срока на то, чтобы ждать и оплакивать Эдмона.

– Правда, – сказал аббат с горькой улыбкой, – ведь это составляло целых полтора года! Чего еще может требовать самый страстно любимый человек? – И он тихо прибавил про себя слова английского поэта: «Frailty, thy name is woman!»¹⁵

– Через полгода, – продолжал Кадрусс, – они обвенчались в Аккульской церкви.

– Это та самая церковь, где она должна была венчаться с Эдмоном, – прошептал аббат, – она переменила жениха, только и всего.

¹⁵ Непостоянство, имя твое – женщина! (Шекспир. Гамлет, акт I, сц. 2).

– Итак, Мерседес вышла замуж, – продолжал Кадрусс. – Хотя она и казалась спокойной, она все же упала в обморок, проходя мимо «Резерва», где полтора года тому назад праздновали ее обручение с тем, кого она все еще любила в глубине своего сердца.

Фернан обрел счастье, но не покой; я видел его в эту пору; он все время боялся возвращения Эдмона. Поэтому он поспешил увезти жену подальше и уехать самому. В Каталанах было слишком много опасностей и слишком много воспоминаний.

Через неделю после свадьбы они уехали.

– А после вы когда-нибудь встречали Мерседес? – спросил священник.

– Да, я видел ее во время испанской войны, в Перпиньяне, где Фернан ее оставил; она тогда была занята воспитанием сына.

Аббат вздрогнул.

– Сына? – спросил он.

– Да, – отвечал Кадрусс, – маленького Альбера.

– Но если она учила сына, – продолжал аббат, – так, стало быть, она сама получила образование? Мне помнится, Эдмон говорил мне, что это была дочь простого рыбака, красавица, но необразованная.

– Неужели он так плохо знал свою невесту? – сказал Кадрусс. – Мерседес могла бы стать королевой, господин аббат, если бы корона всегда венчала самые прекрасные и самые умные головы. Судьба вознесла ее высоко, и она сама становилась все выше и выше. Она училась рисованию, училась всему. Впрочем, между нами будь сказано, по-моему, она занималась всем этим, только чтобы отвлечь свои мысли, чтобы забыться. Она забивала свою голову, чтобы не слышать того, чем было полно ее сердце. Но теперь со всем этим, должно быть, покончено, – продолжал Кадрусс, – богатство и почет, наверное, утешили ее. Она богата, знатна, а между тем...

Кадрусс остановился.

– Что? – спросил аббат.

– Между тем я уверен, что она несчастлива, – сказал Кадрусс.

– Почему вы так думаете?

– А вот почему: когда я очутился в бедственном положении, я подумал, не помогут ли мне чем-нибудь мои прежние друзья. Я пошел к Данглару, но он даже не принял меня. Потом я был у Фернана: он выслал мне через лакея сто франков.

– Так что вы ни того, ни другого не видели?

– Нет; но графиня де Морсер меня видела.

– Каким образом?

– Когда я выходил, к моим ногам упал кошелек; в нем было двадцать пять луидоров. Я быстро поднял голову и увидел Мерседес: она затворяла окошко.

– А господин де Вильфор? – спросил аббат.

– Этот никогда не был моим другом, а я и не знал его вовсе и ни о чем не мог его просить.

– А не знаете ли вы, что с ним случилось и в чем заключалось его участие в беде, постигшей Эдмона?

– Нет; знаю только, что спустя некоторое время после того, как он арестовал Эдмона, он женился на мадемуазель де Сен-Меран и вскоре уехал из Марселя. Наверное, счастье улыбнулось ему так же, как и остальным; наверное, он богат, как Данглар, и занимает такое же высокое положение, как Фернан; вы видите, один только я остался в нищете, в ничтожестве, позабытый богом.

– Вы ошибаетесь, мой друг, – сказал аббат. – Нам кажется, что бог забыл про нас, когда его правосудие медлит; но рано или поздно он вспоминает о нас, и вот тому доказательство.

При этих словах аббат вынул алмаз из кармана и протянул его Кадруссу.

– Вот, мой друг, – сказал он, – возьмите этот алмаз, он принадлежит вам.

– Как! Мне одному? – вскричал Кадрусс. – Что вы, господин аббат! Вы смеетесь надо мной?

– Этот алмаз требовалось разделить между друзьями Эдмона. У Эдмона был один только друг, значит, дележа быть не может. Возьмите этот алмаз и продайте его; как я вам уже сказал, он стоит пятьдесят тысяч франков, и эти деньги, я надеюсь, спасут вас от нищеты.

– Господин аббат, – сказал Кадрусс, робко протягивая руку, а другою отирая пот, градом катившийся по его лицу, – господин аббат, не шутите счастьем и отчаянием человека!

– Мне знакомо и счастье и отчаяние, и я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите же, но взамен...

Кадрусс, уже прикоснувшийся к алмазу, отдернул руку.

Аббат улыбнулся.

– ...взамен, – продолжал он, – отдайте мне кошелек, который господин Моррель оставил на камине у старика Дантеса; вы сказали, что он все еще у вас.

Кадрусс, все более удивляясь, подошел к большому дубовому шкафу, открыл его и подал аббату длинный кошелек из выцветшего красного шелка, стянутый двумя когда-то позолоченными медными кольцами.

Аббат взял кошелек и отдал Кадруссу алмаз.

– Вы поистине святой человек, господин аббат! – воскликнул Кадрусс. – Ведь никто не знал, что Эдмон отдал вам этот алмаз, и вы могли бы оставить его у себя.

«Ага! – сказал про себя аббат. – Сам-то ты, видно, так бы и поступил!»

Аббат встал, взял шляпу и перчатки.

– Послушайте! – сказал он. – Все, что вы мне рассказали, сушая правда? Я могу верить вам вполне?

– Вот, господин аббат, – сказал Кадрусс, – здесь, в углу, висит святое распятие; там, на комодке, лежит Евангелие моей жены. Откройте эту книгу, и я поклянусь вам на ней, перед лицом распятия, поклянусь вам спасением моей души, моей верой в Спасителя, что я сказал вам все, как было, в точности так, как ангел-хранитель скажет об этом на ухо господу богу в день Страшного суда!

– Хорошо, – сказал аббат, которого искренность, звучавшая в голосе Кадрусса, убедила в том, что тот говорит правду, – хорошо; желаю, чтобы эти деньги пошли вам на пользу! Прощайте. Я снова удаляюсь от людей, которые причиняют друг другу так много зла.

И аббат, с трудом отделавшись от восторженных излияний Кадрусса, сам снял засов с двери, вышел, сел на лошадь, поклонился еще раз трактирщику, расточавшему многословные прощальные приветствия, и уехал по той же дороге, по которой приехал.

Обернувшись, Кадрусс увидел стоявшую позади него Карконту, еще более бледную и дрожащую, чем всегда.

– Верно я слышала? – сказала она.

– Что? Что он отдал алмаз нам одним? – сказал Кадрусс, почти обезумевший от радости.

– Да.

– Истинная правда, алмаз у меня.

Жена посмотрела на него, потом сказала глухим голосом:

– А если он фальшивый?

Кадрусс побледнел и зашатался.

– Фальшивый! – прошептал он. – Фальшивый... А чего ради он стал бы давать фальшивый алмаз?

– Чтобы даром выманить у тебя твои тайны, болван!

Кадрусс, сраженный таким предположением, окаменел на месте. Минуту спустя он схватил шляпу и надел ее поверх красного платка, повязанного вокруг головы.

– Мы это сейчас узнаем, – сказал он.

– Как?

– В Бокере ярмарка; там есть приезжие ювелиры из Парижа; я пойду покажу им алмаз. Ты, жена, стереги дом; через два часа я вернусь.

И Кадрусс выскочил на дорогу и побежал в сторону, противоположную той, куда направился незнакомец.

– Пятьдесят тысяч франков! – проворчала Карконта, оставшись одна. – Это деньги... но не богатство.

VII. Тюремные списки

На другой день после того, как на дороге между Бельгардом и Бокером происходила описанная нами беседа, человек лет тридцати, в василькового цвета фраке, нанковых панталонах и белом жилете, по осанке и выговору чистокровный англичанин, явился к марсельскому мэру.

– Милостивый государь, – сказал он, – я старший агент римского банкирского дома «Томсон и Френч»; мы уже десять лет состоим в сношениях с марсельским торговым домом «Моррель и Сын». У нас с этой фирмой в оборотах до ста тысяч франков, и вот, услышав, что ей грозит банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно приехал из Рима, чтобы попросить у вас сведений об этом торговом доме.

– Милостивый государь, – отвечал мэр, – мне действительно известно, что за последние годы господина Морреля словно преследует несчастье: он потерял один за другим четыре или пять кораблей и понес убытки от нескольких банкротств. Но хотя он мне самому должен около десяти тысяч франков, я все же не считаю возможным давать вам какие-либо сведения об его финансовом положении. Если вы спросите меня как мэра, какого я мнения о господине Морреле, я вам отвечу, что это человек самой строгой честности, выполнявший до сих пор все свои обязательства с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господину де Бовиль, инспектору тюрем, улица Ноайль, дом номер пятнадцать. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь, двести тысяч франков, и если и вправду имеется повод для каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздо значительнее моей, вы, вероятно, получите от него по этому вопросу более обстоятельные сведения.

Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра, поклонился, вышел и походкой истого британца направился на указанную ему улицу.

Господин де Бовиль сидел у себя в кабинете. Англичанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не в первый раз встречался с инспектором. Но господин де Бовиль был в таком отчаянии, что все его умственные способности явно поглощала одна-единственная мысль, не позволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать в прошлом. Англичанин с обычной для его нации флегматичностью задал ему почти слово в слово тот же вопрос, что и марсельскому мэру.

– Ах, сударь! – воскликнул г-н де Бовиль. – К несчастью, ваши опасения вполне основательны, и вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния. У господина Морреля находилось в обороте двести тысяч франков моих денег; эти двести тысяч составляли приданое моей дочери, которую я намерен был выдать замуж через две недели. Эти двести тысяч он обязан был уплатить мне в два срока: пятнадцатого числа этого месяца и пятнадцатого числа следующего. Я уведомил господина Морреля, что желаю непременно получить эти деньги в назначенный срок, и, представьте, не далее как полчаса тому назад он приходил ко мне, чтобы сказать мне, что если его корабль «Фараон» не придет к пятнадцатому числу, то он будет лишен возможности уплатить мне деньги.

– Это весьма похоже на отсрочку платежа, – сказал англичанин.

– Скажите лучше, что это похоже на банкротство! – воскликнул г-н де Бовиль, хватаясь за голову.

Англичанин подумал, потом сказал:

– Так что, эти долговые обязательства внушают вам некоторые опасения?

– Я попросту считаю их безнадежными.

– Я покупаю их у вас.

– Вы?

– Да, я.

– Но, вероятно, с огромной скидкой?

– Нет, за двести тысяч франков; наш торговый дом, – прибавил англичанин, смеясь, – не занимается подобными сделками.

– И вы заплатите мне...

– Наличными деньгами.

И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций, представляющих, должно быть, сумму вдвое больше той, которую г-н де Бовиль боялся потерять.

Радость озарила лицо г-на де Бовиль; однако он взял себя в руки и сказал:

– Милостивый государь, я должен вас предупредить, что, по всей вероятности, вы не получите и шести процентов с этой суммы.

– Это меня не касается, – отвечал англичанин, – это дело банкирского дома «Томсон и Френч», от имени которого я действую. Может быть, в его интересах ускорить разорение конкурирующей фирмы. Как бы то ни было, я готов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу передаточную надпись; но только я желал бы получить с вас куртаж.

– Да, разумеется! Это более чем справедливое желание! – воскликнул г-н де Бовиль. – Куртаж составляет обыкновенно полтора процента; хотите два? три? пять? хотите больше? Говорите!

– Милостивый государь, – возразил, смеясь, англичанин, – я – как моя фирма; я не занимаюсь такого рода делами; я желал бы получить куртаж совсем другого рода.

– Говорите, я вас слушаю.

– Вы инспектор тюрем?

– Уже пятнадцатый год.

– У вас ведутся тюремные списки?

– Разумеется.

– В этих списках, вероятно, есть отметки, касающиеся заключенных?

– О каждом заключенном имеется особое дело.

– Так вот, милостивый государь, в Риме у меня был воспитатель, некий аббат, который вдруг исчез. Впоследствии я узнал, что он содержался в замке Иф, и я желал бы получить некоторые сведения об его смерти.

– Как его звали?

– Аббат Фариа.

– О, я отлично помню его, – воскликнул г-н де Бовиль, – он был сумасшедший!

– Да, так я слышал.

– Он несомненно был сумасшедший.

– Возможно; а в чем выражалось его сумасшествие?

– Он утверждал, что знает про какой-то клад, про несметные сокровища, и предлагал правительству огромные суммы за свою свободу.

– Бедняга! И он умер?

– Да, с полгода тому назад, в феврале.

– У вас превосходная память.

– Я помню это потому, что смерть аббата сопровождалась весьма странными обстоятельствами.

– Могу ли я узнать, что это за обстоятельства? – спросил англичанин с выражением любопытства, которое вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его бесстрастном лице.

– Пожалуйста; камера аббата находилась футах в пяти-десяти от другой, в которой содержался бывший бонапартистский агент, один из тех, кто наиболее способствовал возвращению узурпатора в тысяча восемьсот пятнадцатом году, человек чрезвычайно решительный и чрезвычайно опасный.

– В самом деле? – сказал англичанин.

– Да, – отвечал г-н де Бовиль, – я имел случай лично видеть этого человека в тысяча восемьсот шестнадцатом или в тысяча восемьсот семнадцатом году; к нему в камеру спускались не иначе, как со взводом солдат; этот человек произвел на меня сильное впечатление; я никогда не забуду его лица.

На губах англичанина мелькнула улыбка.

– И вы говорите, – сказал он, – что эти две камеры...

– Были отделены одна от другой пространством в пятьдесят футов. Но, по-видимому, этот Эдмон Дантес...

– Этого опасного человека звали...

– Эдмон Дантес. Да, сударь, по-видимому, этот Эдмон Дантес раздобыл инструменты или сам сделал их, потому что был обнаружен проход, посредством которого заключенные общались друг с другом.

– Этот проход был вырыт, вероятно, для того, чтобы бежать?

– Разумеется; но на их беду с аббатом Фариа случился каталептический припадок, и он умер.

– Понимаю; и это сделало побег невозможным.

– Для мертвого – да, – отвечал г-н де Бовиль, – но не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средство ускорить свой побег. Он, должно быть, думал, что заключенных, умирающих в замке Иф, хоронят на обыкновенном кладбище; он перенес покойника в свою камеру, влез вместо него в мешок, в который того зашили, и стал ждать минуты погребения.

– Это было смелое предприятие, доказывающее известную храбрость, – заметил англичанин.

– Я уже сказал вам, что это был очень опасный человек; к счастью, он сам избавил правительство от беспокойства на его счет.

– Каким образом?

– Неужели вы не понимаете?

– Нет.

– В замке Иф нет кладбища; умерших просто бросают в море, привязав к их ногам тридцатишестифунтовое ядро.

– Ну и что же?.. – с туповатым видом сказал англичанин.

– Вот и ему привязали к ногам тридцатишестифунтовое ядро и бросили в море.

– Да что вы! – воскликнул англичанин.

– Да, сударь, – продолжал инспектор. – Можете себе представить, каково было удивление беглеца, когда он почувствовал, что его бросают со скалы. Желал бы я видеть его лицо в ту минуту.

– Это было бы трудно.

– Все равно, – сказал г-н де Бовиль, которого уверенность, что он вернет свои двести тысяч франков, привела в отличное расположение духа, – все равно, я представляю его себе!

И он громко захохотал.

– И я также, – сказал англичанин.

И он тоже начал смеяться, одними кончиками губ, как смеются англичане.

– Итак, – продолжал англичанин, первый вернувший себе хладнокровие, – итак, беглец пошел ко дну.

– Как ключ.

– И комендант замка Иф разом избавился и от сумасшедшего и от бешеного?

– Вот именно.

– Но об этом происшествии, по всей вероятности, составлен акт? – спросил англичанин.

– Да-да, свидетельство о смерти. Вы понимаете, родственники Дантеса, если у него такие имеются, могут быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он или умер.

– Так что теперь они могут быть спокойны, если ждут после него наследства. Он погиб безвозвратно?

– Еще бы! И им выдадут свидетельство, как только они пожелают.

– Мир праху его, – сказал англичанин, – но вернемся к спискам.

– Вы правы. Мой рассказ вас отвлек. Прошу прощения.

– За что же? За рассказ? Помилуйте, он показался мне весьма любопытным.

– Он и в самом деле любопытен. Итак, вы желаете видеть все, что касается вашего бедного аббата; он-то был сама кротость.

– Вы очень меня обяжете.

– Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу.

И они отправились в контору де Бовиля.

Инспектор сказал правду: все было в образцовом порядке; каждая ведомость имела свой номер; каждое дело лежало на своем месте.

Инспектор усадил англичанина в свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Иф, предоставив ему свободно рыться в ней, а сам уселся в угол и занялся чтением газеты.

Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся аббата Фариа; но, по-видимому, случай, рассказанный ему де Бовилем, живо заинтересовал его; ибо, пробежав глазами эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не дошел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут он нашел все на своем месте: донос, протокол допроса, прошение Морреля с пометкой де Вильфора. Он украдкой сложил донос, спрятал его в карман, прочитал протокол допроса и увидел, что имя Нуартье там не упоминалось; пробежал прошение от 10 апреля 1815 года, в котором Моррель, по совету помощника королевского прокурора, с наилучшими намерениями, – ибо в то время на престоле был Наполеон, – преувеличивал услуги, оказанные Дантесом делу Империи, что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял все. Это прошение на имя Наполеона, сохраненное Вильфором, при второй реставрации стало грозным оружием в руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился, увидев в ведомости нижеследующее примечание:

ЭДМОН ДАНТЕС

*Отъявленный бонапартист, принимал деятельное участие
в возвращении узурпатора с острова Эльба.*

Соблюдать строжайшую тайну; держать под неослабным надзором.

Под этими строками было приписано другой рукой:

«Ничего нельзя сделать».

Сравнив почерк примечания с почерком пометки на прошении Морреля, он убедился, что примечание писано той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора.

Что же касается приписки, сопровождавшей примечание, то англичанин понял, что она сделана тюремным инспектором, который принял мимолетное участие в судьбе Дантеса, но ввиду указанного примечания был лишен возможности чем-либо проявить это участие.

Господин де Бовиль, как мы уже сказали, из учтивости и чтобы не мешать воспитаннику аббата Фариа в его розысках, сидел в углу и читал «Белое знамя».

Поэтому он и не видел, как англичанин сложил и спрятал в карман донос, написанный Дангларом в беседке «Резерва» и снабженный штемпелем марсельской почты, удостоверяющим, что он вынут из ящика 27 февраля в 6 часов вечера.

Впрочем, если бы он и заметил, то не показал бы виду, ибо придавал слишком мало значения этой бумажке и слишком много значения своим двумстам тысячам франков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступок и нарушал все правила.

– Благодарю вас, – сказал англичанин, с шумом захлопывая папку. – Я нашел все, что мне нужно. Теперь моя очередь исполнить свое обещание; сделайте просто передаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сумму сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю.

И он уступил свое место за письменным столом де Бовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуемую надпись, между тем как англичанин на краю стола отсчитывал кредитные билеты.

VIII. Торговый дом «Моррель»

Если бы кто-нибудь из знавших торговый дом «Моррель» на несколько лет уехал из Марселя и возвратился в описываемое нами время, то он нашел бы большую перемену.

Вместо оживления, довольства и счастья, которые, так сказать, излучает благоденствующий торговый дом; вместо веселых лиц, мелькающих за оконными занавесками; вместо хлопотливых конторщиков, бегающих по коридорам, заложив за ухо перо; вместо двора, заваленного всевозможными тюками и оглашаемого хохотом и криком носильщиков, – он застал бы атмосферу заброшенности и безлюдья. Из множества служащих, когда-то населявших контору, в пустынных коридорах и на опустелом дворе осталось только двое: молодой человек, лет двадцати трех, по имени Эмманюэль Эрбо, влюбленный в дочь г-на Морреля и, вопреки настояниям родителей, не покинувший фирму, и бывший помощник казначея, кривой на один глаз и прозванный Коклесом¹⁶; это прозвище ему дала молодежь, некогда наполнявшая этот огромный, шумный улей, теперь почти необитаемый, причем оно столь прочно заменило его настоящее имя, что он, вероятно, даже не оглянулся бы, если бы кто-нибудь окликнул его по имени.

Коклес остался на службе у г-на Морреля, и в положении этого честного малого произошла своеобразная перемена; он в одно и то же время возвысился до чина казначея и опустился до звания слуги.

Но, несмотря ни на что, он остался все тем же Коклесом – добрым, усердным, преданным, но непреклонным во всем, что касалось арифметики, единственного вопроса, в котором он готов был восстать против целого света, даже против самого г-на Морреля; он верил только таблице умножения, которую знал назубок, как бы ее ни выворачивали и как бы ни старались его сбить.

Среди всеобщего уныния, в которое погрузился дом Морреля, один только Коклес остался невозмутим. Но не нужно думать, что эта невозмутимость происходила от недостатка привязанности; напротив того, она была следствием непоколебимого доверия. Как крысы зараннее бегут с обреченного корабля, пока он еще не снялся с якоря, так и весь сонм служащих

¹⁶ Cocles (лат.) – одноглазый; прозвище древнеримского героя Горация Коклеса.

и конторщиков, земное благополучие которых зависело от фирмы арматора, мало-помалу, как мы уже говорили, покинул контору и склады; но Коклес, видя всеобщее бегство, даже не задумался над тем, чем оно вызвано; для него все сводилось к цифрам, а так как за свою двадцатилетнюю службу в торговом доме «Моррель» он привык видеть, что платежи производятся с неизменной точностью, то он не допускал мысли, что этому может настать конец и что эти платежи могут прекратиться, подобно тому как мельник, чья мельница приводится в движение силой течения большой реки, не может себе представить, чтобы эта река могла вдруг остановиться. И в самом деле до сих пор ничто еще не поколебало уверенности Коклеса. Последний месячный платеж совершился с непогрешимой точностью. Коклес нашел ошибку в семьдесят сантимов, сделанную г-ном Моррелем себе в убыток, и в тот же день представил ему эти переплаченные четырнадцать су. Г-н Моррель с грустной улыбкой взял их и положил в почти пустой ящик кассы.

– Хорошо, Коклес; вы самый исправный казначей на свете.

И Коклес удалился, как нельзя более довольный, ибо похвала г-на Морреля, самого честного человека в Марселе, была для него приятнее награды в пятьдесят экю.

Но после этого последнего платежа, столь благополучно произведенного, для г-на Морреля настали тяжелые дни; чтобы рассчитаться с кредиторами, он собрал все свои средства и, опасаясь, как бы в Марселе не распространился слух о его разорении, если бы увидели, что он прибегает к таким крайностям, он лично съездил на Бокерскую ярмарку, где продал кое-какие драгоценности, принадлежавшие жене и дочери, и часть своего столового серебра. С помощью этой жертвы на этот раз все обошлось благополучно для торгового дома «Моррель»; но зато касса совершенно опустела. Кредит, напуганный молвой, отвернулся от него с обычным своим эгоизмом; и, чтобы уплатить г-ну де Бовиль пятнадцатого числа текущего месяца сто тысяч франков, а пятнадцатого числа будущего месяца еще сто тысяч, г-н Моррель мог рассчитывать только на возвращение «Фараона», о выходе которого в море его уведомило судно, одновременно с ним снявшееся с якоря и уже благополучно прибывшее в марсельский порт.

Но это судно, вышедшее, как и «Фараон», из Калькутты, прибыло уже две недели тому назад, между тем как о «Фараоне» не было никаких вестей.

Таково было положение дел, когда поверенный римского банкирского дома «Томсон и Френч» на другой день после своего посещения г-на де Бовиль явился к г-ну Моррелю.

Его принял Эмманюэль. Молодой человек, которого пугало всякое новое лицо, ибо оно означало нового кредитора, обеспокоенного слухами и пришедшего к главе фирмы за справками, хотел избавить своего патрона от неприятной беседы; он начал расспрашивать посетителя; но тот заявил, что ничего не имеет сказать г-ну Эмманюэлю и желает говорить лично с г-ном Моррелем.

Эмманюэль со вздохом позвал Коклеса, Коклес явился, и молодой человек велел ему провести незнакомца к г-ну Моррелю.

Коклес пошел вперед; незнакомец следовал за ним.

На лестнице они встретили прелестную молодую девушку лет шестнадцати-семнадцати, с беспокойством взглянувшую на незнакомца.

Коклес не заметил этого выражения ее лица, но от незнакомца оно, по-видимому, не ускользнуло.

– Господин Моррель у себя в кабинете, мадемуазель Жюли? – спросил казначей.

– Да, вероятно, – отвечала неуверенно молодая девушка. – Загляните туда, Коклес, и, если отец там, доложите ему о посетителе.

– Докладывать обо мне было бы бесполезно, – сказал англичанин. – Господин Моррель не знает моего имени; достаточно сказать, что я старший агент фирмы «Томсон и Френч», с которой торговый дом вашего батюшки состоит в сношениях.

Молодая девушка побледнела и стала спускаться с лестницы, между тем как Коклес и незнакомец поднялись наверх.

Жюли вошла в контору, где занимался Эмманюель; а Коклес с помощью имевшегося у него ключа, что свидетельствовало о его свободном доступе к хозяину, отворил дверь в углу площадки третьего этажа, впустил незнакомца в переднюю, отворил затем другую дверь, прикрыл ее за собою, оставив посланца фирмы «Томсон и Френч» на минуту одного, и вскоре снова появился, делая ему знак, что он может войти.

Англичанин вошел; г-н Моррель сидел за письменным столом и, бледный от волнения, с ужасом смотрел на столбцы своего пассива.

Увидев незнакомца, г-н Моррель закрыл счетную книгу, встал, подал ему стул; потом, когда незнакомец сел, опустил в свое кресло.

За эти четырнадцать лет достойный негоциант сильно переменился; в начале нашего рассказа ему было тридцать шесть лет, а теперь он приближался к пятидесяти. Волосы его поседели; заботы избороздили морщинами лоб; самый его взгляд, прежде столь твердый и решительный, стал тусклым и неуверенным, словно боялся остановиться на какой-нибудь мысли или на чьем-нибудь лице.

Англичанин смотрел на него с любопытством, явно смешанным с участием.

– Милостивый государь, – сказал г-н Моррель, смущение которого увеличивалось от этого пристального взгляда, – вы желали говорить со мной?

– Да, сударь. Вам известно, от чьего имени я являюсь?

– От имени банковского дома «Томсон и Френч»; так по крайней мере сказал мне мой казначей.

– Совершенно верно. Банковский дом «Томсон и Френч» в течение ближайших двух месяцев должен уплатить во Франции от трехсот до четырехсот тысяч франков; зная вашу строгую точность в платежах, он собрал все, какие мог, обязательства за вашей подписью и поручил мне, по мере истечения сроков этих обязательств, получать по ним с вас причитающиеся суммы и расходовать их.

Моррель, тяжело вздохнув, провел рукою по влажному лбу.

– Итак, – спросил Моррель, – у вас имеются векселя за моей подписью?

– Да, и притом на довольно значительную сумму.

– А на какую именно? – спросил Моррель, стараясь говорить ровным голосом.

– Во-первых, – сказал англичанин, вынимая из кармана сверток бумаг, – вот передаточная надпись на двести тысяч франков, сделанная на вашу фирму господином де Бовиль, инспектором тюрем. Вы признаете этот долг господину де Бовиль?

– Да, он поместил у меня эту сумму из четырех с половиной процентов пять лет тому назад.

– И вы должны возратить их ему...

– Одну половину пятнадцатого числа этого месяца, а другую – пятнадцатого числа будущего.

– Совершенно верно. Затем вот еще векселя на тридцать две тысячи пятьсот франков, которым срок в конце этого месяца. Они подписаны вами и переданы нам предъявителями.

– Я признаю их, – сказал Моррель, краснея от стыда при мысли, что, быть может, он в первый раз в жизни будет не в состоянии уплатить по своим обязательствам. – Это все?

– Нет, сударь; у меня есть еще векселя, срок которым истекает в конце будущего месяца, переданные нам торговым домом «Паскаль» и торговым домом «Уайлд и Тэрнер», на сумму около пятидесяти пяти тысяч франков; всего двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков.

Несчастный Моррель в продолжение этого исчисления терпел все муки ада.

– Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков, – повторил он машинально.

– Да, сударь, – отвечал англичанин. – Однако, – продолжал он после некоторого молчания, – я не скрою от вас, господин Моррель, что при всем уважении к вашей честности, до сих пор не подвергавшейся ни малейшему упреку, в Марселе носится слух, что вы скоро окажетесь несостоятельным.

При таком почти грубом заявлении Моррель страшно побледнел.

– Милостивый государь, – сказал он, – до сих пор, – а уже прошло больше двадцати четырех лет с того дня, как мой отец передал мне нашу фирму, которую он сам возглавлял в продолжение тридцати пяти лет, – до сих пор ни одно представленное в мою кассу обязательство за подписью «Моррель и Сын» не осталось неоплаченным.

– Да, я это знаю, – отвечал англичанин, – но будем говорить откровенно, как подобает честным людям. Скажите: можете вы заплатить и по этим обязательствам с такой же точностью?

Моррель вздрогнул, но с твердостью посмотрел в лицо собеседнику.

– На такой откровенный вопрос должно и отвечать откровенно, – сказал он. – Да, сударь, я заплачу по ним, если, как я надеюсь, мой корабль благополучно прибудет, потому что его прибытие вернет мне кредит, которого меня лишили постигшие меня неудачи; но если «Фараон», моя последняя надежда, потерпит крушение...

Глаза несчастного арматора наполнились слезами.

– Итак, – сказал англичанин, – если эта последняя надежда вас обманет?..

– Тогда, – продолжал Моррель, – как ни тяжело это выговорить... но, привыкнув к несчастью, я должен привыкнуть и к стыду... тогда, вероятно, я буду вынужден прекратить платежи.

– Разве у вас нет друзей, которые могли бы вам помочь?

Моррель печально улыбнулся.

– В делах, сударь, не бывает друзей, вы это знаете; есть только корреспонденты.

– Это правда, – прошептал англичанин. – Итак, у вас остается только одна надежда?

– Только одна.

– Последняя?

– Последняя.

– И, если эта надежда вас обманет...

– Я погиб, безвозвратно погиб.

– Когда я шел к вам, то какой-то корабль входил в порт.

– Знаю, сударь; один из моих служащих, оставшийся мне верным в моем несчастье, проводит целые дни в бельведере, на крыше дома, в надежде, что первый принесет мне радостную весть. Он уведомил меня о прибытии корабля.

– И это не ваш корабль?

– Нет, это «Жиронда», корабль из Бордо. Он также пришел из Индии; но это не мой.

– Может быть, он знает, где «Фараон», и привез вам какое-нибудь известие о нем?

– Признаться вам? Я почти столь же страшусь вестей о моем корабле, как неизвестности. Неизвестность – все-таки надежда.

Помолчав, г-н Моррель прибавил глухим голосом:

– Такое опоздание непонятно; «Фараон» вышел из Калькутты пятого февраля; уже больше месяца, как ему пора быть здесь.

– Что это, – вдруг сказал англичанин, прислушиваясь, – что это за шум?

– Боже мой! Боже мой! – побледнев, как смерть, воскликнул Моррель. – Что еще случилось?

С лестницы в самом деле доносился громкий шум; люди бегали взад и вперед; раздался даже чей-то жалобный вопль.

Моррель встал было, чтобы отворить дверь, но силы изменили ему, и он снова опустился в кресло.

Они остались сидеть друг против друга, Моррель – дрожа всем телом, незнакомец – глядя на него с выражением глубокого сострадания. Шум прекратился, но Моррель, видимо, ждал чего-то: этот шум имел свою причину, которая должна была открыться.

Незнакомцу показалось, что кто-то тихо поднимается по лестнице и что на площадке остановилось несколько человек.

Потом он услышал, как в замок первой двери вставили ключ и как она заскрипела на петлях.

– Только у двоих есть ключ от этой двери, – прошептал Моррель, – у Коклеса и Жюли.

В ту же минуту отворилась вторая дверь, и на пороге показалась Жюли, бледная и в слезах.

Моррель встал, дрожа всем телом, и оперся на ручку кресла, чтобы не упасть. Он хотел заговорить, но голос изменил ему.

– Отец, – сказала девушка, умоляюще сложив руки, – простите вашей дочери, что она приносит вам дурную весть!

Моррель страшно побледнел; Жюли бросилась в его объятия.

– Отец, отец! – сказала она. – Не теряйте мужества!

– «Фараон» погиб? – спросил Моррель сдавленным голосом.

Жюли ничего не ответила, но утвердительно кивнула головой, склоненной на грудь отца.

– А экипаж? – спросил Моррель.

– Спасен, – сказала Жюли, – спасен бордоским кораблем, который только что вошел в порт.

Моррель поднял руки к небу с непередаваемым выражением смирения и благодарности.

– Благодарю тебя, боже! – сказал он. – Ты поразил одного меня!

Как ни хладнокровен был англичанин, у него на глаза навернулись слезы.

– Войдите, – сказал Моррель, – войдите; я догадываюсь, что вы все за дверью.

Едва он произнес эти слова, как, рыдая, вошла госпожа Моррель; за нею следовал Эмманюэль. В глубине, в передней, видны были суровые лица семи-восьми матросов, истерзанных и полунагих. При виде этих людей англичанин вздрогнул. Он, казалось, хотел подойти к ним, но сдержался и, напротив, отошел в самый темный и отдаленный угол кабинета.

Госпожа Моррель села в кресло и взяла руку мужа в свои, а Жюли по-прежнему стояла, склонив голову на грудь отца. Эмманюэль остался посреди комнаты, служа как бы звеном между семейством Моррель и матросами, столпившимися в дверях.

– Как это случилось? – спросил Моррель.

– Подойдите, Пенелон, – сказал Эмманюэль, – и расскажите.

Старый матрос, загоровший до черноты под тропическим солнцем, подошел, вертя в руках обрывки шляпы.

– Здравствуйте, господин Моррель, – сказал он, как будто бы только вчера покинул Марсель и возвратился из поездки в Экс или Тулон.

– Здравствуйте, друг мой, – сказал хозяин, невольно улыбнувшись сквозь слезы, – но где же капитан?

– Что до капитана, господин Моррель, то он захворал и остался в Пальме; но, с божьей помощью, он скоро поправится, и через несколько дней он будет здоров, как мы с вами.

– Хорошо... Теперь рассказывайте, Пенелон, – сказал г-н Моррель.

Пенелон передвинул жвачку справа налево, прикрыл рот рукой, отвернулся, выпустил в переднюю длинную струю черноватой слюны, выставил ногу вперед и, покачиваясь, начал:

– Так вот, господин Моррель, шли мы этак между мысом Бланке и мысом Боядор и под юго-западным ветром, после того как целую неделю проштилевали; и вдруг капитан Гомар подходит ко мне (а я, надобно сказать, был на руле) и говорит мне:

«Дядя Пенелон, что вы думаете об этих облаках, которые поднимаются там на горизонте?»

А я уж и сам глядел на них.

«Что я о них думаю, капитан? Думаю, что они поднимаются чуточку быстрее, чем полагается, и что они больно уж черны для облаков, не замышляющих ничего дурного».

«Я такого же мнения, – сказал капитан, – и на всякий случай приму меры предосторожности. Мы слишком много несем парусов для такого ветра, какой сейчас подует... Эй, вы! Бомбрамсель и бом-кливер долой!»

И пора было: не успели исполнить команду, как ветер налетел, и корабль начало кренить.

«Все еще много парусов, – сказал капитан. – Грот на гитовы!»

Через пять минут грот был взят на гитовы, и мы шли под фоком, марселями и брамселями.

«Ну что, дядя Пенелон, – сказал мне капитан, – что вы качаете головой?»

«А то, что на вашем месте я велел бы убрать еще».

«Ты, пожалуй, прав, старик, – сказал он, – будет свежий ветер».

«Ну, знаете, капитан, – отвечаю я ему, – про свежий ветер забудьте, это шторм, и здоровый шторм, если я в этом что-нибудь смыслю!»

Надо вам сказать, что ветер летел на нас, как пыль на большой дороге. К счастью, наш капитан знает свое дело.

«Взять два рифа у марселей! – крикнул капитан. – Трави булина, брасопить к ветру, марселя долой, подтянуть тали на реях!»

– Этого недостаточно под теми широтами, – внезапно сказал англичанин. – Я взял бы четыре рифа и убрал бы фок.

Услышав этот твердый и звучный голос, все вздрогнули. Пенелон заслонил рукой глаза и посмотрел на того, кто так смело критиковал распоряжения его капитана.

– Мы сделали еще больше, сударь, – сказал старый моряк с некоторым почтением, – мы взяли на гитовы контрбизань и повернули через фордевинд, чтобы идти вместе с бурей. Десять минут спустя мы взяли на гитовы марселя и пошли под одними снастями.

– Корабль был слишком старый, чтобы так рисковать, – сказал англичанин.

– Вот то-то! Это нас и погубило. После двенадцатичасовой трепки, от которой чертям бы тошно стало, открылась течь.

«Пенелон, – говорит капитан, – сдается мне, мы идем ко дну; дай мне руль, старина, и ступай в трюм».

Я отдал ему руль, схожу вниз; там было уже три фута воды; я на палубу, кричу: «Выкачивай!» Какое там! Уже было поздно. Принялись за работу; но чем больше мы выкачивали, тем больше ее прибывало.

«Нет, знаете, – говорю я, промаявшись четыре часа, – тонуть так тонуть, двум смертям не бывать, одной не миновать!»

«Так-то ты подаешь пример, дядя Пенелон? – сказал капитан. – Ну, погоди же!»

И он пошел в свою каюту и принес пару пистолетов.

«Первому, кто бросит помпу, – сказал он, – я раздроблю череп!»

– Правильно, – сказал англичанин.

– Ничто так не придает храбрости, как дельное слово, – продолжал моряк, – тем более что погода успела проясниться и ветер стих; но вода прибывала – не слишком сильно, каких-нибудь дюйма на два в час, но все же прибывала. Два дюйма в час, – оно как будто и пустяки, но за двенадцать часов это составит по меньшей мере двадцать четыре дюйма, а двадцать четыре дюйма составляют два фута. Два фута да три, которые мы уже раньше имели, составят пять. А когда у корабля пять футов воды в брюхе, то можно сказать, что у него водянка.

«Ну, – сказал капитан, – теперь довольно, и господин Моррель не может упрекнуть нас ни в чем: мы сделали все, что могли, для спасения корабля; теперь надо спасать людей. Спускай шлюпку, ребята, и поторапливайтесь!»

– Послушайте, господин Моррель, – продолжал Пенелон, – мы очень любили «Фараон», но, как бы моряк ни любил свой корабль, он еще больше любит свою шкуру; а потому мы и не заставили просить себя дважды; к тому же корабль так жалобно скрипел и, казалось, говорил нам: «Да убирайтесь поскорее!» И бедный «Фараон» говорил правду. Мы чувствовали, как он погружается у нас под ногами. Словом, в один миг шлюпка была спущена, и мы, все восемь, уже сидели в ней.

Капитан сошел последний, или, вернее сказать, он не сошел, потому что не хотел оставить корабль; это я схватил его в охапку и бросил товарищам, после чего и сам соскочил. И в самое время. Едва успел я соскочить, как палуба треснула с таким шумом, как будто дали залп с сорокавосемипушечного корабля.

Через десять минут он клюнул носом, потом кормой, потом начал вертеться на месте, как собака, которая ловит свой хвост. А потом, будьте здоровы! Фью! Кончено дело, и нет «Фараона»!

А что до нас, то мы три дня не пили и не ели, так что уже поговаривали о том, не кинуть ли жребий, кому из нас кормить остальных, как вдруг увидели «Жиронду»; подали ей сигналы; она нас заметила, повернула к нам, выслала шлюпку и подобрала нас. Вот как было дело, господин Моррель, верьте слову моряка! Так, товарищи?

Ропот одобрения показал, что рассказчик заслужил всеобщую похвалу правдивым изложением сути дела и картинным описанием подробностей.

– Хорошо, друзья мои, – сказал г-н Моррель, – вы славные ребята, и я заранее знал, что в постигшем меня несчастье виновата только моя злая судьба. Здесь воля божия, а не вина людей. Покоримся же воле божией. Теперь скажите мне, сколько вам следует жалованья.

– Полноте, господин Моррель, об этом не будем говорить!

– Напротив, поговорим об этом, – сказал арматор с печальной улыбкой.

– Нам, стало быть, следует за три месяца... – сказал Пенелон.

– Коклес, выдайте им по двести франков. В другое время, – продолжал г-н Моррель, – я сказал бы: дайте им по двести франков наградных; но сейчас плохие времена, друзья мои, и те крохи, которые у меня остались, принадлежат не мне. Поэтому простите меня и не осуждайте.

Пенелон скорчил жалостливую гримасу, обернулся к товарищам, о чем-то с ними посоветовался и снова обратился к хозяину.

– Значит, это самое, господин Моррель, – сказал он, перекладывая жвачку за другую щеку и выпуская в переднюю новую струю слюны под стать первой, – это самое, которое...

– Что?

– Деньги...

– Ну и что же?

– Так товарищи говорят, господин Моррель, что им пока хватит по пятидесяти франков и что с остальным они подождут.

– Благодарю вас, друзья мои, благодарю! – сказал г-н Моррель, тронутый до глубины души. – Вы все славные люди; но все-таки возьмите деньги. И если найдете другую службу, то нанимайтесь. Вы свободны.

Эти последние слова произвели на честных моряков ошеломляющее впечатление. Они испуганно переглянулись. У Пенелона захватило дух, и он едва не проглотил свою жвачку; к счастью, он вовремя схватился рукой за горло.

– Как, господин Моррель? – сказал он сдавленным голосом. – Вы нас увольняете? Мы вам не угодили?

– Нет, друзья мои, – отвечал арматор, – нет, наоборот, я очень доволен вами. Я не увольняю вас. Но что же делать? Кораблей у меня больше нет, и матросов мне не нужно.

– Как нет больше кораблей? – сказал Пенелон. – Ну, так велите выстроить новые; мы подождем. Слава богу, мы привыкли штилевать.

– У меня нет больше денег на постройку кораблей, Пенелон, – сказал арматор с печальной улыбкой, – и я не могу принять вашего предложения, как оно ни лестно для меня.

– А если у вас нет денег, тогда не нужно нам платить. Мы сделаем, как наш бедный «Фараон», и пойдем под одними снастями, вот и все!

– Довольно, довольно, друзья мои! – сказал Моррель, задыхаясь от волнения. – Идите, прошу вас. Увидимся в лучшие времена. Эмманюэль, – прибавил он, – ступайте с ними и посмотрите за тем, чтобы мое распоряжение было в точности исполнено.

– Но только мы не прощаемся, господин Моррель, мы скажем «до свидания», ладно? – сказал Пенелон.

– Да, друзья мои, надеюсь, что так. Ступайте.

Он сделал знак Коклесу, и тот пошел вперед; моряки последовали за казначеем, а Эмманюэль вышел после всех.

– Теперь, – сказал арматор своей жене и дочери, – оставьте меня на минуту; мне нужно поговорить с этим господином.

И он указал глазами на поверенного дома «Томсон и Френч», который в продолжение всей сцены стоял неподвижно в углу и участвовал в ней только несколькими вышеприведенными словами. Обе женщины взглянули на незнакомца, про которого они совершенно забыли, и удалились. Но Жюли, обернувшись в дверях, бросила на него трогательно умоляющий взгляд, и тот отвечал на него улыбкой, которую странно было видеть на этом ледяном лице. Мужчины остались одни.

– Ну вот, – сказал Моррель, опускаясь в кресло, – вы все видели, все слышали, мне нечего добавить.

– Я видел, – сказал англичанин, – что вас постигло новое несчастье, столь же незаслуженное, как и прежние, и это еще более утвердило меня в моем желании быть вам полезным.

– Ах, сударь! – сказал Моррель.

– Послушайте, – продолжал незнакомец. – Ведь я один из главных ваших кредиторов, не правда ли?

– Во всяком случае, в ваших руках обязательства, сроки которых истекают раньше всех.

– Вы желали бы получить отсрочку?

– Отсрочка могла бы спасти мою честь, а следовательно, и жизнь.

– Сколько вам нужно времени?

Моррель задумался.

– Два месяца, – сказал он.

– Хорошо, – сказал незнакомец, – я даю вам три.

– Но уверены ли вы, что фирма «Томсон и Френч»...

– Будьте спокойны, я беру все на свою ответственность. У нас сегодня пятое июня?

– Да.

– Так вот, перепишите мне все эти векселя на пятое сентября, и пятого сентября в одиннадцать часов утра (стрелки стенных часов показывали ровно одиннадцать) я явлюсь к вам.

– Я буду вас ожидать, – сказал Моррель, – и вы получите деньги, или меня не будет в живых.

Последние слова были сказаны так тихо, что незнакомец не расслышал их.

Векселя были переписаны, старые разорваны, и бедный арматор получил по крайней мере три месяца передышки, чтобы собрать свои последние средства.

Англичанин принял изъявления его благодарности с флегматичностью, свойственной его нации, и простился с Моррелем, который проводил его до дверей, осыпая благословениями.

На лестнице он встретил Жюли.

Она притворилась, что спускается по лестнице, но на самом деле она поджидала его.

– Ах, сударь! – сказала она, умоляюще сложив руки.

– Мадемуазель, – сказал незнакомец, – вы вскоре получите письмо, подписанное... Синдбад-мореход... Исполните в точности все, что будет сказано в этом письме, каким бы странным оно вам ни показалось.

– Хорошо, – ответила Жюли.

– Обещаете вы мне это сделать?

– Клянусь вам!

– Хорошо. Прощайте, мадемуазель. Будьте всегда такой же доброй и любящей дочерью, и я надеюсь, что бог наградит вас, дав вам Эмманюеля в мужья.

Жюли тихо вскрикнула, покраснела, как вишня, и схватилась за перила, чтобы не упасть. Незнакомец продолжал свой путь, сделав ей рукою прощальный знак.

Во дворе он встретил Пенелона, державшего в каждой руке по свертку в сто франков и словно не решавшегося унести их.

– Пойдемте, друг мой, – сказал ему англичанин, – мне нужно поговорить с вами.

IX. Пятое сентября

Отсрочка, данная Моррелю поверенным банкирского дома «Томсон и Френч» в ту минуту, когда он меньше всего ее ожидал, показалась несчастному арматору одним из тех возвратов счастья, которые возвещают человеку, что судьба наконец устала преследовать его. В тот же день он все рассказал своей дочери, жене и Эмманюелю, и некоторая надежда, если и не успокоение, вернулась в дом. Но, к сожалению, Моррель имел дело не только с фирмой «Томсон и Френч», проявившей по отношению к нему такую предупредительность. В торговых делах, как он сказал, есть корреспонденты, но нет друзей. В глубине души он недоумевал, думая о великодушном поступке фирмы «Томсон и Френч»; он объяснял его только разумно-эгоистическим рассуждением: лучше поддержать человека, который нам должен около трехсот тысяч франков, и получить эти деньги через три месяца, нежели ускорить его разорение и получить шесть или восемь процентов.

К сожалению, по злобе или по безрассудству все остальные кредиторы Морреля размышляли не так, а иные даже наоборот. А потому векселя, подписанные Моррелем, были представлены в его кассу в установленный срок и благодаря отсрочке, данной англичанином, были немедленно оплачены Коклесом. Таким образом, Коклес пребывал по-прежнему в своем безмятежном спокойствии. Один только г-н Моррель с ужасом видел, что если бы ему пришлось заплатить пятнадцатого числа сто тысяч франков де Бовилю, а тридцатого числа тридцать две тысячи пятьсот франков по другим, тоже отсроченным векселям, то он бы погиб уже в этом месяце.

Все марсельские негоцианты были того мнения, что Моррель не выдержит свалившихся на него неудач. А потому велико было всеобщее удивление, когда он с обычной точностью произвел июньскую оплату векселей. Однако, несмотря на это, к нему продолжали относиться недоверчиво и единодушно отложили банкротство несчастного арматора до конца следующего месяца.

Весь июль Моррель прилагал нечеловеческие усилия, чтобы собрать нужную сумму. Бывало, его обязательства на какой бы то ни было срок принимались с полным доверием и были даже в большом спросе. Моррель попытался выдать трехмесячные векселя, но ни один банк их

не принял. К счастью, сам Моррель рассчитывал на кое-какие поступления; эти поступления состоялись; таким образом, к концу месяца Моррель опять удовлетворил кредиторов.

Поверенного фирмы «Томсон и Френч» в Марселе больше не видели; он исчез на другой или на третий день после своего посещения г-на Морреля; а так как в Марселе он имел дело только с мэром, инспектором тюрем и арматором, то его мимолетное пребывание в этом городе не оставило иных следов, кроме тех несходных воспоминаний, которые сохранили о нем эти трое. Что касается матросов с «Фараона», то они, по-видимому, нанялись на другую службу, потому что тоже исчезли.

Капитан Гомар, поправившись после болезни, задержавшей его в Пальме, возвратился в Марсель. Он не решался явиться к г-ну Моррелю; но тот, узнав о его приезде, сам отправился к нему. Честному арматору было уже известно со слов Пенелона о мужественном поведении капитана во время кораблекрушения, и он сам старался утешить его. Он принес ему полностью его жалованье, за которым капитан Гомар не решился бы прийти.

Выходя от него, г-н Моррель столкнулся на лестнице с Пенелоном, который, по-видимому, хорошо распорядился полученными деньгами, ибо был одет во все новое. Увидев арматора, честный рулевой пришел в большое замешательство. Он забился в самый дальний угол площадки, переложил свою жвачку сначала справа налево, потом слева направо, испуганно вытаращил глаза и ответил только робким пожатием на дружелюбное, как всегда, рукопожатие г-на Морреля. Г-н Моррель приписал замешательство Пенелона его щегольскому наряду; вероятно, старый матрос не за свой счет пустился на такую роскошь; очевидно, он уже нанялся на какой-нибудь другой корабль и стыдился того, что так скоро, если можно так выразиться, снял траур по «Фараону». Быть может даже, он явился к капитану Гомару поделиться с ним своей удачей и передать ему предложение от имени своего нового хозяина.

– Славные люди! – сказал, удаляясь, Моррель. – Дай бог, чтобы ваш новый хозяин любил вас так же, как я, и оказался счастливее меня.

Август месяц протек в беспрестанных попытках Морреля восстановить свой прежний кредит или же открыть себе новый. Двадцатого августа в Марселе стало известно, что он купил себе место в почтовой карете, и все тотчас же решили, что Моррель объявит себя несостоятельным в конце месяца и нарочно уезжает, чтобы не присутствовать при этом печальном обряде, который он, вероятно, препоручил своему старшему приказчику Эмманюэлю и казначею Коклесу. Но, вопреки всем ожиданиям, когда наступило 31 августа, касса открылась, как всегда. Коклес сидел за решеткой невозмутимо, как «праведный муж» Горация, рассматривал с обычным вниманием предъявляемые ему векселя и с обычной своей точностью оплатил их от первого до последнего. Пришлось даже, как предвидел г-н Моррель, погасить два чужих обязательства, и по ним Коклес уплатил с той же аккуратностью, как и по личным векселям арматора. Никто ничего не понимал, и всякий с упрямством, свойственным предсказателям печальных событий, откладывал объявление несостоятельности до конца сентября.

Первого сентября Моррель вернулся. Все семейство с большой тревогой ожидало его; от этого путешествия в Париж зависела последняя возможность спасения. Моррель вспомнил о Дангларе, ставшем миллионером и когда-то обязанном ему, потому что именно по его рекомендации Данглар поступил на службу к испанскому банкиру, с которой и началось его быстрое обогащение. По слухам, Данглар владел шестью или восемью миллионами и неограниченным кредитом. Данглар, не вынимая ни одного червонца из кармана, мог выручить Морреля. Ему стоило только поручиться за него, и Моррель был бы спасен. Моррель давно уже думал о Дангларе; но из-за какого-то безотчетного отвращения Моррель до последней минуты медлил и не прибегал к этому крайнему средству. И он оказался прав, ибо возвратился домой, подавленный унижительным отказом.

Но, переступив порог своего дома, Моррель не обмолвился ни словом жалобы или упрека; он со слезами обнял жену и дочь, дружески протянул руку Эмманюэлю, потом заперся в своем кабинете, в третьем этаже, и потребовал к себе Коклеса.

– На этот раз, – сказали обе женщины Эмманюэлю, – мы пропали.

После короткого совещания они решили, что Жюли напишет брату, стоявшему с полком в Ниме, чтобы он немедленно приехал.

Бедные женщины инстинктивно чувствовали, что им нужно собрать все силы, чтобы выдержать грозящий им удар.

К тому же Максимилиан Моррель, хотя ему было только двадцать два года, имел большое влияние на отца.

Это был молодой человек прямого и твердого нрава. Когда ему пришлось избирать род деятельности, отец не захотел принуждать его и предоставил молодому человеку свободный выбор согласно его вкусам и склонностям. Тот заявил, что намерен поступить на военную службу. Порешив на этом, он прилежно занялся науками, выдержал конкурсный экзамен в Политехническую школу и был назначен подпоручиком в 53-й пехотный полк. Он уже около года служил в этом чине и рассчитывал на производство в поручики. В полку Максимилиан Моррель считался строгим исполнителем не только солдатского, но и человеческого долга, и его прозвали «стойком». Разумеется, многие из тех, кто награждал его этим прозвищем, повторяли его за другими, даже не зная, что оно означает.

Этого-то молодого офицера мать и сестра и призвали на помощь, чтобы он поддержал их в тяжкую минуту, наступление которой они предчувствовали.

Они не ошибались в серьезности положения, ибо через несколько минут после того, как г-н Моррель прошел в свой кабинет вместе с Коклесом, Жюли увидела, как казначей выходит оттуда весь бледный и дрожащий, с помутившимся взглядом.

Она хотела остановить его, когда он проходил мимо, и расспросить; но бедный малый, спускаясь с несвойственной ему поспешностью по лестнице, ограничился тем, что, воздев руки к небу, воскликнул:

– Ах, мадемуазель Жюли! Какое горе! И кто бы мог подумать!

Спустя несколько минут он вернулся, неся несколько толстых счетных книг, бумажник и мешок с деньгами.

Моррель просмотрел счетные книги, раскрыл бумажник и пересчитал деньги.

Весь его наличный капитал равнялся восьми тысячам франков; можно было ожидать к пятому сентября поступления еще четырех-пяти тысяч, что составляло, в наилучшем случае, актив в четырнадцать тысяч франков, в то время как ему нужно было уплатить по долговым обязательствам двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков. Не было никакой возможности предложить такую сумму даже в зачет.

Однако, когда Моррель вышел к обеду, он казался довольно спокойным. Это спокойствие испугало обеих женщин больше, чем самое глубокое уныние.

После обеда Моррель имел обыкновение выходить из дому; он отправлялся в «Клуб Фокейцев» выпить чашку кофе за чтением «Семафора»; но на этот раз он не вышел из дому и вернулся к себе в кабинет.

Коклес, тот, по-видимому, совсем растерялся. Большую часть дня он просидел на камне во дворе, с непокрытой головой, при тридцатиградусной жаре.

Эмманюэль пытался ободрить г-жу Моррель и Жюли; но дар красноречия изменил ему. Он слишком хорошо знал дела фирмы, чтобы не предвидеть, что семье Моррель грозит страшная катастрофа.

Наступила ночь. Ни г-жа Моррель, ни Жюли не ложились спать, надеясь, что Моррель, выйдя из кабинета, зайдет к ним. Но они слышали, как он, крадучись, чтобы его не окликнули, прошел мимо их двери.

Они прислушались, но он вошел в свою спальню и запер за собою дверь.

Госпожа Моррель велела дочери лечь спать; потом, через полчаса после того, как Жюли ушла, она встала, сняла башмаки и тихо вышла в коридор, чтобы подсмотреть в замочную скважину, что делает муж.

В коридоре она заметила удаляющуюся тень. Это была Жюли, которая, также снедаемая беспокойством, опередила свою мать.

Молодая девушка подошла к г-же Моррель.

– Он пишет, – сказала она.

Обе женщины без слов поняли друг друга.

Госпожа Моррель наклонилась к замочной скважине. Моррель писал; но госпожа Моррель заметила то, чего не заметила ее дочь: муж писал на гербовой бумаге.

Тогда она поняла, что он пишет завещание; она задрожала всем телом, но все же нашла в себе силы ничего не сказать Жюли.

На другой день г-н Моррель казался совершенно спокойным. Он, как всегда, занимался в конторе, как всегда, вышел к завтраку. Только после обеда он посадил свою дочь возле себя, взял обеими руками ее голову и крепко прижал к груди.

Вечером Жюли сказала матери, что хотя отец ее казался спокойным, но сердце у него сильно стучало.

Два следующих дня прошли в такой же тревоге. Четвертого сентября вечером Моррель потребовал, чтобы дочь вернула ему ключ от кабинета.

Жюли вздрогнула, – это требование показалось ей зловещим. Зачем отец отнимал у нее ключ, который всегда был у нее и который у нее в детстве отбирали только в наказание?

Она просительно взглянула на г-на Морреля.

– Чем я провинилась, отец, – сказала она, – что вы отбираете у меня этот ключ?

– Ничем, дитя мое, – отвечал несчастный Моррель, у которого этот простодушный вопрос вызвал слезы на глазах, – ничем, просто он мне нужен.

Жюли притворилась, что ищет ключ.

– Я, должно быть, оставила его у себя в комнате, – сказала она.

Она вышла из комнаты, но вместо того, чтобы идти к себе, она побежала советоваться с Эмманюелем.

– Не отдавайте ключа, – сказал он ей, – и завтра утром по возможности не оставляйте отца одного.

Она пыталась расспросить Эмманюеля, но он ничего не знал или ничего не хотел говорить.

Всю ночь с четвертого на пятое сентября г-жа Моррель прислушивалась к движениям мужа за стеной. До трех часов утра она слышала, как он взволнованно шагал взад и вперед по комнате.

Только в три часа он бросился на кровать.

Мать и дочь провели ночь вместе. Еще с вечера они ждали Максимилиана.

В восемь часов утра г-н Моррель пришел к ним в комнату. Он был спокоен, но следы бессонной ночи запечатлелись на его бледном, осунувшемся лице.

Они не решились спросить его, хорошо ли он спал.

Моррель был ласковее и нежнее с женой и дочерью, чем когда бы то ни было; он не мог наглядеться на Жюли и долго целовал ее.

Жюли вспомнила совет Эмманюеля и хотела проводить отца; но он ласково остановил ее и сказал:

– Останься с матерью.

Жюли настаивала.

– Я требую этого! – сказал Моррель.

В первый раз Моррель говорил дочери: «Я требую»; но он сказал это голосом, полным такой отеческой нежности, что Жюли не посмела двинуться с места.

Она осталась стоять молча и не шевелясь. Вскоре дверь снова открылась, чьи-то руки обняли ее и чьи-то губы прильнули к ее лбу.

Она подняла глаза и вскрикнула от радости.

– Максимилиан! Брат! – воскликнула она.

На этот возглас прибежала г-жа Моррель и бросилась в объятия сына.

– Матушка! – сказал Максимилиан, переводя глаза с матери на сестру. – Что случилось? Ваше письмо испугало меня, и я поспешил приехать.

– Жюли, – сказала г-жа Моррель, – скажи отцу, что приехал Максимилиан.

Жюли выбежала из комнаты, но на первой ступеньке встретила человека с письмом в руке.

– Вы мадемуазель Жюли Моррель? – спросил посланец с сильным итальянским акцентом.

– Да, сударь, это я, – пролепетала Жюли. – Но что вам от меня угодно? Я вас не знаю.

– Прочтите это письмо, – сказал итальянец, подавая записку.

Жюли была в нерешительности.

– Дело идет о спасении вашего отца, – сказал посланный. Жюли выхватила у него из рук письмо. Быстро распечатав его, она прочла:

«Ступайте немедленно в Мельянские аллеи, войдите в дом № 15, спросите у привратника ключ от комнаты в пятом этаже, войдите в эту комнату, возьмите на камине красный шелковый кошелек и отнесите этот кошелек вашему отцу.

Необходимо, чтобы он его получил до одиннадцати часов утра.

Вы обещали слепо повиноваться мне; напоминаю вам о вашем обещании.

Синдбад-мореход».

Молодая девушка радостно вскрикнула, подняла глаза и стала искать человека, принесшего ей записку, чтобы расспросить его; но он исчез.

Она принялась перечитывать письмо и заметила приписку. Она прочла:

«Необходимо, чтобы вы исполнили это поручение лично и одни; если вы придете с кем-нибудь или если кто-нибудь придет вместо вас, привратник ответит, что он не понимает, о чем идет речь».

Эта приписка сразу охладила радость молодой девушки. Не угрожает ли ей беда? Нет ли тут ловушки? Она была так невинна, что не знала, какой именно опасности может подвергнуться девушка ее лет; но не нужно знать опасности, чтобы бояться ее; напротив, именно неведомая опасность внушает наибольший страх.

Жюли колебалась; она решила спросить совета.

И по какому-то необъяснимому побуждению пошла искать помощи не к матери и не к брату, а к Эмманюэлю.

Она спустилась вниз, рассказала ему, что случилось в тот день, когда к отцу ее явился посланный банкирского дома «Томсон и Френч», рассказала про сцену на лестнице, про данное ею обещание и показала письмо.

– Вы должны идти, – сказал Эмманюэль.

– Идти туда? – прошептала Жюли.

– Да, я вас провожу.

– Но ведь вы читали, что я должна быть одна?

– Вы и будете одна, – отвечал Эмманюэль, – я подожду вас на углу Музейной улицы; если вы задержитесь слишком долго, я пойду следом за вами, – и горе тому, на кого вы мне пожалуетесь!

– Так вы думаете, Эмманюэль, – нерешительно сказала девушка, – что я должна последовать этому приглашению?

– Да. Ведь сказал же вам посланный, что дело идет о спасении вашего отца?

– Спасение от чего, Эмманюэль? Что ему грозит? – спросила Жюли.

Эмманюэль колебался, но желание укрепить решимость Жюли одержало верх.

– Сегодня пятое сентября, – сказал он.

– Да.

– Сегодня в одиннадцать часов ваш отец должен заплатить около трехсот тысяч франков.

– Да, мы это знаем.

– А в кассе у него нет и пятнадцати тысяч, – сказал Эмманюэль.

– Что же будет?

– Если сегодня в одиннадцать часов ваш отец не найдет никого, кто пришел бы ему на помощь, то в полдень он должен объявить себя банкротом.

– Идемте, идемте скорей! – взволнованно воскликнула Жюли, увлекая за собой Эмманюэля.

Тем временем г-жа Моррель все рассказала сыну.

Максимилиан знал, что вследствие несчастий, одно за другим постигших его отца, в образе жизни его семьи произошли значительные перемены, но не знал, что дела дошли до такого отчаянного положения.

Неожиданный удар, казалось, сразил его.

Потом он вдруг бросился из комнаты, взбежал по лестнице, надеясь найти отца в кабинете, и стал стучать в дверь.

В эту минуту открылась дверь внизу; он обернулся и увидел отца. Вместо того чтобы прямо подняться в кабинет, г-н Моррель прошел сперва в свою комнату и только теперь из нее выходил.

Господин Моррель, увидев сына, вскрикнул от удивления; он не знал о его приезде. Он застыл на месте, прижимая левым локтем какой-то предмет, спрятанный под сюртуком.

Максимилиан быстро спустился по лестнице и бросился отцу на шею; но вдруг отступил, упираясь правой рукой в грудь отца.

– Отец, – сказал он, побледнев, как смерть, – зачем у вас под сюртуком пистолеты?

– Вот этого я и боялся... – прошептал Моррель.

– Отец! Ради бога! – воскликнул Максимилиан. – Что значит это оружие?

– Максимилиан, – отвечал Моррель, пристально глядя на сына, – ты мужчина и человек чести; идем ко мне, я тебе все объясню.

И Моррель твердым шагом поднялся в свой кабинет; Максимилиан, шатаясь, шел за ним следом.

Моррель отпер дверь, пропустил сына вперед и запер дверь за ним; потом прошел переднюю, подошел к письменному столу, положил на край пистолеты и указал сыну на раскрытый реестр.

Реестр давал точную картину положения дел.

Через полчаса Моррель должен был заплатить двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков.

В кассе было всего пятнадцать тысяч двести пятьдесят семь франков.

– Читай! – сказал Моррель.

Максимилиан прочел. Он стоял, словно пораженный громом.

Отец не говорил ни слова, – что мог он прибавить к неумолимому приговору цифр?

– И вы сделали все возможное, отец, – спросил наконец Максимилиан, – чтобы предотвратить катастрофу?

– Все, – отвечал Моррель.

– Вы не ждете никаких поступлений?

– Никаких.

– Все средства истощены?

– Все.

– И через полчаса... – мрачно прошептал Максимилиан, – наше имя будет обесчещено!

– Кровь смывает бесчестие, – сказал Моррель.

– Вы правы, отец, я вас понимаю. – Он протянул руку к пистолетам. – Один для вас, другой для меня, – сказал он. – Благодарю.

Моррель остановил его руку:

– А мать?.. А сестра?.. Кто будет кормить их?

Максимилиан вздрогнул.

– Отец! – сказал он. – Неужели вы хотите, чтобы я жил?

– Да, хочу, – отвечал Моррель, – ибо это твой долг. Максимилиан, у тебя нрав твердый и сильный, ты человек недюжинного ума; я тебя не неволю, не приказываю тебе, я только говорю: «Обдумай положение, как если бы ты был человек посторонний, и суди сам».

Максимилиан задумался; потом в глазах его сверкнула благородная решимость, но при этом он медленно и с грустью снял с себя эполеты.

– Хорошо, – сказал он, подавая руку Моррелю, – уходите с миром, отец. Я буду жить.

Моррель хотел броситься к ногам сына, но Максимилиан обнял его, и два благородных сердца забились вместе.

– Ты ведь знаешь, что я не виноват? – сказал Моррель.

Максимилиан улыбнулся.

– Я знаю, отец, что вы – честнейший из людей.

– Хорошо, между нами все сказано; теперь ступай к матери и сестре.

– Отец, – сказал молодой человек, опускаясь на колени, – благословите меня.

Моррель взял сына обеими руками за голову, поцеловал его и сказал:

– Благословляю тебя моим именем и именем трех поколений безупречных людей; слушай же, что они говорят тебе моими устами: провидение может снова воздвигнуть здание, разрушенное несчастьем. Видя, какую смертью я погиб, самые черствые люди тебя пожалеют; тебе, может быть, дадут отсрочку, в которой мне отказали бы; тогда сделай все, чтобы позорное слово не было произнесено; возмись за дело, работай, борись мужественно и пылко; живите как можно скромнее, чтобы день за днем достояние тех, кому я должен, росло и множилось в твоих руках. Помни, какой это будет прекрасный день, великий, торжественный день, когда моя честь будет восстановлена, когда в этой самой конторе ты сможешь сказать: «Мой отец умер, потому что был не в состоянии сделать то, что сегодня сделал я; но он умер спокойно, ибо знал, что я это сделаю».

– Ах, отец, отец, – воскликнул Максимилиан, – если бы вы могли остаться с нами!

– Если я останусь, все будет иначе; если я останусь, участие обратится в недоверие, жалость – в гонение; если я останусь, я буду человеком, нарушившим свое слово, не исполнившим своих обязательств, короче, я буду попросту несостоятельным должником. Если же я умру, Максимилиан, подумай об этом, тело мое будет телом несчастного, но честного человека. Я жив, и лучшие друзья будут избегать моего дома; я мертв, и весь Марсель со слезами провожает меня до последнего приюта. Я жив, и ты стыдишься моего имени; я мертв, и ты гордо поднимаешь голову и говоришь: «Я сын того, кто убил себя, потому что первый раз в жизни был вынужден нарушить свое слово».

Максимилиан горестно застонал, но, по-видимому, покорился судьбе. И на этот раз если не сердцем, то умом он согласился с доводами отца.

– А теперь, – сказал Моррель, – оставь меня одного и постарайся удалить отсюда мать и сестру.

– Вы не хотите еще раз увидеть Жюли? – спросил Максимилиан.

Последняя смутная надежда таилась для него в этом свидании, но Моррель покачал головой.

– Я видел ее утром, – сказал он, – и простился с нею.

– Нет ли у вас еще поручений, отец? – спросил Максимилиан глухим голосом.

– Да, сын мой, есть одно, священное.

– Говорите, отец.

– Банкирский дом «Томсон и Френч» – единственный, который из человеколюбия или, быть может, из эгоизма, – не мне читать в людских сердцах, – сжалился надо мною. Его поверенный, который через десять минут придет сюда получать деньги по векселю в двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков, не предоставил, а сам предложил мне три месяца отсрочки. Пусть эта фирма первой получит то, что ей следует, сын мой, пусть этот человек будет для тебя священен.

– Да, отец, – сказал Максимилиан.

– А теперь еще раз прости, – сказал Моррель. – Ступай, ступай, мне нужно побыть одному; мое завещание ты найдешь в ящике стола в моей спальне.

Максимилиан стоял неподвижно; он хотел уйти, но не мог.

– Иди, Максимилиан, – сказал отец, – предположи, что я солдат, как и ты, что я получил приказ занять редут, и ты знаешь, что я буду убит; неужели ты не сказал бы мне, как сказал сейчас: «Идите, отец, иначе вас ждет бесчестье, лучше смерть, чем позор!»

– Да, – сказал Максимилиан, – да.

Он судорожно сжал старика в объятиях.

– Идите, отец, – сказал он.

И выбежал из кабинета.

Моррель, оставшись один, некоторое время стоял неподвижно, глядя на закрывшуюся за сыном дверь; потом протянул руку, нашел шнурок от звонка и позвонил.

Вошел Коклес. За эти три дня он стал неузнаваем. Мысль, что фирма «Моррель» прекратит платежи, состарила его на двадцать лет.

– Коклес, друг мой, – сказал Моррель, – ты побудешь в передней. Когда придет этот господин, который был здесь три месяца тому назад, – ты знаешь, поверенный фирмы «Томсон и Френч», – ты доложишь о нем.

Коклес, ничего не ответив, кивнул головой, вышел в переднюю и сел на стул.

Моррель упал в кресло. Он взглянул на стенные часы: оставалось семь минут. Стрелка бежала с невероятной быстротой; ему казалось, что он видит, как она подвигается.

Что происходило в эти последние минуты в душе несчастного, который, повинувшись убеждению, быть может ложному, но казавшемуся ему правильным, готовился в цвете лет к вечной разлуке со всем, что он любил, и расставался с жизнью, дарившей ему все радости семейного счастья, – этого не выразить словами. Чтобы понять это, надо было бы видеть его чело, покрытое каплями пота, но выражавшее покорность судьбе, его глаза, полные слез, но поднятые к небу.

Стрелка часов бежала; пистолеты были заряжены; он протянул руку, взял один из них и прошептал имя дочери.

Потом опять положил смертоносное оружие, взял перо и написал несколько слов. Ему казалось, что он недостаточно нежно простился со своей любимицей.

Потом он опять повернулся к часам; теперь он считал уж не минуты, а секунды.

Он снова взял в руки оружие, полуоткрыл рот и вперил глаза в часовую стрелку; он взвел курок и невольно вздрогнул, услышав щелканье затвора.

В этот миг пот ручьями заструился по его лицу, смертная тоска сжала ему сердце: внизу лестницы скрипнула дверь.

Потом отворилась дверь кабинета.

Стрелка часов приближалась к одиннадцати.

Моррель не обернулся; он ждал, что Коклес сейчас доложит ему: «Поверенный фирмы «Томсон и Френч».

И он поднес пистолет ко рту...

За его спиной раздался громкий крик; то был голос его дочери. Он обернулся и увидел Жюли; пистолет выпал у него из рук.

– Отец! – закричала она, едва дыша от усталости и счастья. – Вы спасены! Спасены!

И она бросилась в его объятия, подымая в руке красный шелковый кошелек.

– Спасен, дитя мое? – воскликнул Моррель. – Кем или чем?

– Да, спасены! Вот, смотрите, смотрите! – кричала Жюли.

Моррель взял кошелек и вздрогнул: он смутно припомнил, что этот кошелек когда-то принадлежал ему.

В одном из его углов лежал вексель на двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков. Вексель был погашен.

В другом – алмаз величиною с орех со следующей надписью, сделанной на клочке пергамента:

Приданое Жюли.

Моррель провел рукой по лбу: ему казалось, что он грезит.

Часы начали бить одиннадцать.

Каждый удар отзывался в нем так, как если бы стальной молоточек стучал по его собственному сердцу.

– Постой, дитя мое, – сказал он, – объясни мне, что произошло. Где ты нашла этот кошелек?

– В доме номер пятнадцать, в Мельянских аллеях, на камине, в убогой каморке на пятом этаже.

– Но этот кошелек принадлежит не тебе! – воскликнул Моррель.

Жюли подала отцу письмо, полученное ею утром.

– И ты ходила туда одна? – спросил Моррель, прочитав письмо.

– Меня провожал Эмманюэль. Он обещал подождать меня на углу Музейной улицы; но странно, когда я вышла, его уже не было.

– Господин Моррель! – раздалось на лестнице. – Господин Моррель!

– Это он! – сказала Жюли.

В ту же минуту вбежал Эмманюэль, не помня себя от радости и волнения.

– «Фараон»! – крикнул он. – «Фараон»!

– Как «Фараон»? Вы не в своем уме, Эмманюэль? Вы же знаете, что он погиб.

– «Фараон», господин Моррель! Отдан сигнал, «Фараон» входит в порт.

Моррель упал в кресло; силы изменили ему; ум отказывался воспринять эти невероятные, неслыханные, баснословные вести.

Но дверь отворилась, и в комнату вошел Максимилиан.

– Отец, – сказал он, – как же вы говорили, что «Фараон» затонул? Со сторожевой башни дан сигнал, что он входит в порт.

– Друзья мои, – сказал Моррель, – если это так, то это божье чудо! Но это невозможно, невозможно!

Однако то, что он держал в руках, было не менее невероятно: кошелек с погашенным векселем и сверкающим алмазом.

– Господин Моррель, – сказал явившийся в свою очередь Коклес, – что это значит? «Фараон»!

– Пойдем, друзья мои, – сказал Моррель, вставая, – пойдем посмотрим; и да сжалится над нами бог, если это ложная весть.

Они вышли и на лестнице встретили г-жу Моррель. Несчастливая женщина не смела подняться наверх.

Через несколько минут они уже были на улице Каннебьер.

На пристани толпился народ.

Толпа расступилась перед Моррелем.

– «Фараон»! «Фараон»! – кричали все.

В самом деле, на глазах у толпы совершалось неслыханное чудо: против башни Св. Иоанна корабль, на корме которого белыми буквами было написано «Фараон» («Моррель и Сын», Марсель), в точности такой же, как прежний «Фараон», и так же груженный кошенилью и индиго, бросал якорь и убирал паруса. На палубе распоряжался капитан Гомар, а Пенелон делал знаки г-ну Моррелю. Сомнений больше не было: Моррель, его семья, его служащие видели это своими глазами, и то же видели глаза десяти тысяч человек.

Когда Моррель и его сын обнялись тут же на молу, под радостные клики всего города, незаметный свидетель этого чуда, с лицом, до половины закрытым черной бородой, умиленно смотревший из-за караульной будки на эту сцену, прошептал:

– Будь счастлив, благородный человек; будь благословен за все то добро, которое ты сделал и которое еще сделаешь; и пусть моя благодарность останется в тайне, как и твои благодеяния.

Со счастливой, растроганной улыбкой на устах он покинул свое убежище и, не привлекая ничьего внимания, ибо все были поглощены событием дня, спустился по одной из лесенок причала и три раза крикнул:

– Джакопо! Джакопо! Джакопо!

К нему подошла шлюпка, взяла его на борт и подвезла к богато оснащенной яхте, на которую он взобрался с легкостью моряка; отсюда он еще раз взглянул на Морреля, который со слезами радости дружески пожимал протянутые со всех сторон руки и затуманенным взором благодарил невидимого благодетеля, которого словно искал на небесах.

– А теперь, – сказал незнакомец, – прощай человеколюбие, благодарность... Прощайте все чувства, утешающие сердце!.. Я заменил провидение, вознаграждая добрых... Теперь пусть бог мщения уступит мне место, чтобы я покарал злых!

С этими словами он подал знак, и яхта, которая, видимо, только этого и дожидалась, тотчас же вышла в море.

Х. Италия. Синдбад-Мореход

В начале 1838 года во Флоренции жили двое молодых людей, принадлежавших к лучшему парижскому обществу: виконт Альбер де Морсер и барон Франц д'Эпине. Они условились провести карнавал в Риме, где Франц, живший в Италии уже четвертый год, должен был служить Альберу в качестве чичероне.

Провести карнавал в Риме дело нешуточное, особенно если не хочешь ночевать под открытым небом на Пьяцца-дель-Пополо или на Кампо-Ваччино, а потому они написали маэстро Пастрини, хозяину гостиницы «Лондон» на Пьяцца-ди-Спанья, чтобы он оставил для них хороший номер.

Маэстро Пастрини ответил, что может предоставить им только две спальни и приемную *al secondo piano*¹⁷, каковые и предлагает за умеренную мзду, по луидору в день. Молодые люди выразили согласие; Альбер, чтобы не терять времени, оставшегося до карнавала, отправился в Неаполь, а Франц остался во Флоренции.

Насладившись жизнью города прославленных Медичи, нагулявшись в раю, который зовут Кашина, узнав гостеприимство могущественных вельмож, хозяев Флоренции, он, уже зная Корсику, колыбель Бонапарта, задумал посетить перепутье Наполеона – остров Эльба.

И вот однажды вечером он велел отвязать парусную лодку от железного кольца, приковавшего ее к ливорнской пристани, лег на дно, закутавшись в плащ, и сказал матросам только три слова: «На остров Эльба». Лодка, словно морская птица, вылетающая из гнезда, вынеслась в открытое море и на другой день высадила Франца в Порто-Феррайо.

Франц пересек остров императора, идя по следам, запечатленным поступью гиганта, и в Марчане снова пустился в море.

Два часа спустя он опять сошел на берег на острове Пианоза, где, как ему обещали, его ждали тучи красных куропаток. Охота оказалась неудачной. Франц с трудом настрелял несколько тощих птиц и, как всякий охотник, даром потративший время и силы, сел в лодку в довольно дурном расположении духа.

– Если бы ваша милость пожелала, – сказал хозяин лодки, – то можно бы неплохо поохотиться.

– Где же это?

– Видите этот остров? – продолжал хозяин, указывая на юг, на коническую громаду, встающую из темно-синего моря.

– Что это за остров? – спросил Франц.

– Остров Монте-Кристо, – отвечал хозяин.

– Но у меня нет разрешения охотиться на этом острове.

– Разрешения не требуется, остров необитаем.

– Вот так штука! – сказал Франц. – Необитаемый остров в Средиземном море! Это любопытно.

– Ничего удивительного, ваша милость. Весь остров сплошной камень, и клочка плодородной земли не сыщешь.

– А кому он принадлежит?

– Тоскане.

– Какая же там дичь?

– Пропасть диких коз.

– Которые питаются тем, что лижут камни, – сказал Франц с недоверчивой улыбкой.

– Нет, они обгладывают вереск, миртовые и мастиковые деревца, растущие в расщелинах.

– А где же я буду спать?

– В пещерах на острове или в лодке, закутавшись в плащ. Впрочем, если ваша милость пожелает, мы можем отчалить сразу после охоты; как изволите знать, мы ходим под парусом и ночью и днем, а в случае чего можем идти и на веслах.

Так как у Франца было еще достаточно времени до назначенной встречи со своим приятелем, а пристанище в Риме было приготовлено, он принял предложение и решил вознаградить себя за неудачную охоту.

Когда он выразил согласие, матросы начали шептаться между собой.

– О чем это вы? – спросил он. – Есть препятствия?

– Никаких, – отвечал хозяин, – но мы должны предупредить вашу милость, что остров под надзором.

¹⁷ В третьем этаже (*итал.*).

– Что это значит?

– А то, что Монте-Кристо необитаем и там случается укрываться контрабандистам и пиратам с Корсики, Сардинии и из Африки, и, если узнают, что мы там побывали, нас в Ливорно шесть дней выдержат в карантине.

– Черт возьми! Это меняет дело. Шесть дней! Ровно столько, сколько понадобилось господу богу, чтобы сотворить мир. Это многовато, друзья мои.

– Да кто же скажет, что ваша милость была на Монте-Кристо?

– Уж, во всяком случае, не я! – воскликнул Франц.

– И не мы, – сказали матросы.

– Ну, так едем на Монте-Кристо!

Хозяин отдал команду. Взяв курс на Монте-Кристо, лодка понеслась стремглав.

Франц подождал, пока сделали поворот, и, когда уже пошли по новому направлению, когда ветер надул парус и все четыре матроса заняли свои места – трое на баке и один на руле, – он возобновил разговор.

– Любезный Гаэтано, – обратился он к хозяину барки, – вы как будто сказали мне, что остров Монте-Кристо служит убежищем для пиратов, а это дичь совсем другого сорта, чем дикие козы.

– Да, ваша милость, так оно и есть.

– Я знал, что существуют контрабандисты, но думал, что со времени взятия Алжира и падения берберийского Регентства пираты бывают только в романах Купера и капитана Марриэты.

– Ваша милость ошибается; с пиратами то же, что с разбойниками, которых папа Лев XII якобы истребил и которые тем не менее ежедневно грабят путешественников у самых застав Рима. Разве вы не слышали, что полгода тому назад французского поверенного в делах при святейшем престоле ограбили в пятистах шагах от Веллетри?

– Я слышал об этом.

– Если бы ваша милость жили, как мы, в Ливорно, то часто слышали бы, что какое-нибудь судно с товарами или нарядная английская яхта, которую ждали в Бастии, в Порто-Феррайо или в Чивита-Веккии, пропала без вести и что она, по всей вероятности, разбилась об утес. А утес-то – просто низенькая, узкая барка, с шестью или восемью людьми, которые захватили и ограбили ее в темную бурную ночь у какого-нибудь пустынного островка, точь-в-точь как разбойники останавливают и грабят почтовую карету у лесной опушки.

– Однако, – сказал Франц, кутаясь в свой плащ, – почему ограбленные не жалуются? Почему они не призывают на этих пиратов мщения французского, или сардинского, или тосканского правительства?

– Почему? – с улыбкой спросил Гаэтано.

– Да, почему?

– А потому, что прежде всего с судна или с яхты все добро переносят на барку; потом экипажу связывают руки и ноги, на шею каждому привязывают двадцатичетырехфунтовое ядро, в киле захваченного судна пробивают дыру величиной с бочонок, возвращаются на палубу, закрывают все люки и переходят на барку. Через десять минут судно начинает всхлипывать, стонать и мало-помалу погружается в воду, сначала одним боком, потом другим. Оно поднимается, потом снова опускается и все глубже и глубже погружается в воду. Вдруг раздается как бы пушечный выстрел – это воздух разбивает палубу. Судно бьется, как утопающий, слабея с каждым движением. Вскорости вода, не находящая себе выхода в переборках судна, вырывается из отверстий, словно какой-нибудь гигантский кашалот пускает из ноздрей водяной фонтан. Наконец судно испускает предсмертный хрип, еще раз переворачивается и окончательно погружается в пучину, образуя огромную воронку; сперва еще видны круги, потом поверхность

выравнивается, и все исчезает; минут пять спустя только божие око может найти на дне моря исчезнувшее судно.

Теперь вы понимаете, – прибавил хозяин с улыбкой, – почему судно не возвращается в порт и почему экипаж не подает жалобы.

Если бы Гаэтано рассказал все это прежде, чем предложить поохотиться на Монте-Кристо, Франц, вероятно, еще подумал бы, стоит ли пускаться на такую прогулку; но они уже были в пути, и он решил, что идти на попятный значило бы проявить трусость. Это был один из тех людей, которые сами не ищут опасности, но если столкнутся с нею, то смотрят ей в глаза с невозмутимым хладнокровием; это был один из тех людей с твердой волей, для которых опасность не что иное, как противник на дуэли: они предугадывают его движения, измеряют его силы, медлят ровно столько, сколько нужно, чтобы отдышаться и вместе с тем не показаться трусом, и, умея одним взглядом оценить все свои преимущества, убивают с одного удара.

– Я проехал всю Сицилию и Калабрию, – сказал он, – дважды плавал по архипелагу и ни разу не встречал даже тени разбойника или пирата.

– Да я не затем рассказал все это вашей милости, – отвечал Гаэтано, – чтобы вас отговорить, вы изволили спросить меня, и я ответил, только и всего.

– Верно, милейший Гаэтано, и разговор с вами меня очень занимает; мне хочется еще послушать вас, а потому едем на Монте-Кристо.

Между тем они быстро подвигались к цели своего путешествия; ветер был свежий, и лодка шла со скоростью шести или семи миль в час. По мере того как она приближалась к острову, он, казалось, вырастал из моря; в сиянии заката четко вырисовывались, словно ядра в арсенале, нагроможденные друг на друга камни, а в расщелинах утесов краснел вереск и зеленели деревья. Матросы, хотя и не выказывали тревоги, явно были настороже и зорко присматривались к зеркальной глади, по которой они скользили, и озирали горизонт, где мелькали лишь белые паруса рыбачьих лодок, похожие на чаек, качающихся на гребнях волн.

До Монте-Кристо оставалось не больше пятнадцати миль, когда солнце начало спускаться за Корсику, горы которой высились справа, вздымая к небу свои мрачные зубцы; эта каменная громада, подобная гиганту Адамастору, угрожающе вырастала перед лодкой, постепенно заслоняя солнце; мало-помалу сумерки подымались над морем, гоня перед собой прозрачный свет угасающего дня; последние лучи, достигнув вершины скалистого конуса, задержались на мгновение и вспыхнули, как огненный плюмаж вулкана. Наконец тьма, подымаясь все выше, поглотила вершину, как прежде поглотила подножие, и остров обратился в быстро чернеющую серую глыбу. Полчаса спустя наступила непроглядная тьма.

К счастью, гребцам этот путь был знаком, они вдоль и поперек знали тосканский архипелаг; иначе Франц не без тревоги взирает бы на глубокий мрак, обволакивающий лодку. Корсика исчезла; даже остров Монте-Кристо стал незрим, но матросы видели в темноте, как рыси, и кормчий, сидевший у руля, вел лодку уверенно и твердо.

Прошло около часа после захода солнца, как вдруг Франц заметил налево, в расстоянии четверти мили, какую-то темную грудку; но очертания ее были так неясны, что он побоялся насмешить матросов, приняв облако за твердую землю, и предпочел хранить молчание. Вдруг на берегу показался яркий свет; земля могла походить на облако, но огонь, несомненно, не был метеором.

– Что это за огонь? – спросил Франц.

– Тише! – прошептал хозяин лодки. – Это костер.

– А вы говорили, что остров необитаем!

– Я говорил, что на нем нет постоянных жителей, но я вам сказал, что он служит убежищем для контрабандистов.

– И для пиратов!

– И для пиратов, – повторил Гаэтано, – поэтому я и велел проехать мимо: как видите, костер позади нас.

– Но мне кажется, – сказал Франц, – что костер скорее должен успокоить нас, чем вселить тревогу; если бы люди боялись, что их увидят, то они не развели бы костер.

– Это ничего не значит, – сказал Гаэтано. – Вы в темноте не можете разглядеть положение острова, а то бы вы заметили, что костер нельзя увидеть ни с берега, ни с Пианозы, а только с открытого моря.

– Так, по-вашему, этот костер предвещает нам дурное общество?

– А вот мы узнаем, – отвечал Гаэтано, не спуская глаз с этого земного светила.

– А как вы это узнаете?

– Сейчас увидите.

Гаэтано начал шептаться со своими товарищами, и после пятиминутного совещания лодка бесшумно легла на другой галс и снова пошла в обратном направлении; спустя несколько секунд огонь исчез, скрытый какой-то возвышенностью.

Тогда кормчий повернул руль, и маленькое суденышко заметно приблизилось к острову; вскоре оно очутилось от него в каких-нибудь пятидесяти шагах.

Гаэтано спустил парус, и лодка остановилась.

Все это было проделано в полном молчании; впрочем, с той минуты, как лодка повернула, никто не проронил ни слова.

Гаэтано, предложивший эту прогулку, взял всю ответственность на себя. Четверо матросов не сводили с него глаз, держа наготове весла, чтобы в случае чего приналечь и скрыться, воспользовавшись темнотой.

Что касается Франца, то он с известным нам уже хладнокровием осматривал свое оружие: у него было два дуствольных ружья и карабин; он зарядил их, проверил курки и стал ждать.

Тем временем Гаэтано скинул бушлат и рубашку, стянул потуже шаровары, а так как он был босиком, то разуваться ему не пришлось. В таком наряде, или, вернее, без оно, он бросился в воду, предварительно приложив палец к губам, и поплыл к берегу так осторожно, что не было слышно ни малейшего всплеска. Только по светящейся полосе, остававшейся за ним на воде, можно было следить за ним. Скоро и полоса исчезла. Очевидно, Гаэтано доплыл до берега.

Целых полчаса никто на лодке не шевелился; потом от берега протянулась та же светящаяся полоса и стала приближаться. Через минуту, плывя саженками, Гаэтано достиг лодки.

– Ну что? – спросили в один голос Франц и матросы.

– А то, что это испанские контрабандисты; с ними только двое корсиканских разбойников.

– А как эти корсиканские разбойники очутились с испанскими контрабандистами?

– Эх, ваша милость, – сказал Гаэтано тоном истинно христианского милосердия, – надо же помогать друг другу! Разбойникам иногда плохо приходится на суше от жандармов и карабинеров; ну, они и находят на берегу лодку, а в лодке – добрых людей вроде нас. Они просят приюта в наших плавучих домах. Можно ли отказать в помощи бедняге, которого преследуют? Мы его принимаем и для пущей верности выходим в море. Это нам ничего не стоит, а ближнему сохраняет жизнь или, во всяком случае, свободу; когда-нибудь он отплатит нам за услугу, укажет укромное местечко, где можно выгрузить товары в сторонке от любопытных глаз.

– Вот как, друг Гаэтано! – сказал Франц. – Так и вы занимаетесь контрабандой?

– Что поделаешь, ваша милость? – сказал Гаэтано с не поддающейся описанию улыбкой. – Занимаешься всем понемножку; надо же чем-нибудь жить.

– Так эти люди на Монте-Кристо для вас не чужие?

– Пожалуй, что так; мы, моряки, что масоны, – узнаем друг друга по знакам.

– И вы думаете, что мы можем спокойно сойти на берег?

- Уверен; контрабандисты не воры.
 - А корсиканские разбойники? – спросил Франц, заранее предусматривая все возможные опасности.
 - Не по своей вине они стали разбойниками, – сказал Гаэтано, – в этом виноваты власти.
 - Почему?
 - А то как же? Их ловят за какое-нибудь мокрое дело, только и всего; как будто корсиканец может не мстить.
 - Что вы разумеете под мокрым делом? Убить человека? – спросил Франц.
 - Уничтожить врага, – отвечал хозяин, – это совсем другое дело.
 - Ну, что же, – сказал Франц. – Пойдем просить гостеприимства у контрабандистов и разбойников. А примут они нас?
 - Разумеется.
 - Сколько их?
 - Четверо, ваша милость, и два разбойника; всего шестеро.
 - И нас столько же. Если бы эти господа оказались плохо настроены, то силы у нас равные, и, значит, мы можем с ними справиться. Итак, вопрос решен, едем на Монте-Кристо.
 - Хорошо, ваша милость, но вы разрешите нам принять еще кое-какие меры предосторожности?
 - Разумеется, дорогой мой! Будьте мудры, как Нестор, и хитроумны, как Улисс. Я не только разрешаю вам, я вас об этом очень прошу.
 - Хорошо. В таком случае молчание! – сказал Гаэтано.
- Все смолкли.

Для человека, как Франц, всегда трезво смотрящего на вещи, положение представлялось если и не опасным, то, во всяком случае, довольно рискованным. Он находился в открытом море в полной тьме с незнакомыми моряками, которые не имели никаких причин быть ему преданными, отлично знали, что у него в поясе несколько тысяч франков, и раз десять, если не с завистью, то с любопытством, принимались разглядывать его превосходное оружие. Мало того: в сопровождении этих людей он причаливал к острову, который обладал весьма благочестивым названием, но ввиду присутствия контрабандистов и разбойников не обещал ему иного гостеприимства, чем то, которое ждало Христа на Голгофе; к тому же рассказ о потопленных судах, днем показавшийся ему преувеличенным, теперь, ночью, казался более правдоподобным. Находясь, таким образом, в двойной опасности, быть может и воображаемой, он пристально следил за матросами и не выпускал ружья из рук.

Между тем моряки снова поставили паруса и пошли по пути, уже дважды ими проделанному. Франц, успевший несколько привыкнуть к темноте, различал во мраке гранитную громаду, вдоль которой неслышно шла лодка; наконец, когда лодка обогнула угол какого-то утеса, он увидел костер, горевший еще ярче, чем раньше, и несколько человек, сидевших вокруг него.

Отблеск огня стлался шагов на сто по морю. Гаэтано прошел мимо освещенного пространства, стараясь все же, чтобы лодка не попала в полосу света; потом, когда она очутилась как раз напротив костра, он повернул ее прямо на огонь и смело вошел в освещенный круг, затянув рыбачью песню, припев которой хором подхватили матросы.

При первом звуке песни люди, сидевшие у костра, встали, подошли к причалу и начали всматриваться в лодку, по-видимому, стараясь распознать ее размеры и угадать ее намерения. Вскоре они, очевидно, удовлетворились осмотром, и все, за исключением одного, оставшегося на берегу, вернулись к костру, на котором жарился целый козленок.

Когда лодка подошла к берегу на расстояние двадцати шагов, человек, стоявший на берегу, вскинул ружье, как часовой при встрече с патрулем, и крикнул на сардском наречии:

– Кто идет?

Франц хладнокровно взвел оба курка.

Гаэтано обменялся с человеком несколькими словами, из которых Франц ничего не понял, хотя речь, по-видимому, шла о нем.

– Вашей милости угодно назвать себя или вы желаете скрыть свое имя? – спросил Гаэтано.

– Мое имя никому ничего не скажет, – отвечал Франц. – Объясните им просто, что я француз и путешествую для своего удовольствия.

Когда Гаэтано передал его ответ, часовой отдал какое-то приказание одному из сидевших у костра, и тот немедленно встал и исчез между утесами.

Все молчали. Каждый, по-видимому, интересовался только своим делом; Франц – высадкой на остров, матросы – парусами, контрабандисты – козленком; но при этой наружной беспечности все исподтишка наблюдали друг за другом.

Ушедший вернулся, но со стороны, противоположной той, в которую он ушел; он кивнул часовому, тот обернулся к лодке и произнес одно слово:

– S'accomodi.

Итальянское s'accomodi непереводимо. Оно означает в одно и то же время: «Пожалуйста, войдите, милости просим, будьте как дома, вы здесь хозяин». Это похоже на турецкую фразу Мольера, которая так сильно удивляла мещанина во дворянстве множеством содержащихся в ней понятий.

Матросы не заставили просить себя дважды; в четыре взмаха весел лодка коснулась берега. Гаэтано соскочил на землю, обменялся вполголоса еще несколькими словами с часовым; матросы сошли один за другим; наконец пришел черед Франца.

Одно свое ружье он повесил через плечо, другое было у Гаэтано; матрос нес карабин. Одет он был с изысканностью щеголя, смешанной с небрежностью художника, что не возбудило в хозяевах никаких подозрений, а стало быть, и опасений.

Лодку привязали к берегу и пошли на поиски удобного бивака; но, по-видимому, взятое ими направление не понравилось контрабандисту, наблюдавшему за высадкой, потому что он крикнул Гаэтано:

– Нет, не туда!

Гаэтано пробормотал извинение и, не споря, пошел в противоположную сторону; между тем два матроса зажгли факелы от пламени костра.

Пройдя шагов тридцать, они остановились на площадке, вокруг которой в скалах было вырублено нечто вроде сидений, напоминающих будочки, где можно было караулить сидя. Кругом на узких полосах плодородной земли росли карликовые дубы и густые заросли миртов. Франц опустил факел и, увидев кучки золы, понял, что не он первый оценил удобство этого места и что оно, по-видимому, служило обычным пристанищем для кочующих посетителей острова Монте-Кристо.

Каких-либо необычайных событий он уже не ожидал; как только он ступил на берег и убедился если не в дружеском, то, во всяком случае, равнодушном настроении своих хозяев, его беспокойство рассеялось, и запах козленка, жарившегося на костре, напомнил ему о том, что он голоден.

Он сказал об этом Гаэтано, и тот ответил, что ужин – это самое простое дело, ибо в лодке у них есть хлеб, вино, шесть куропаток, а огонь под рукою.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.